ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БОРАТЫНСКИЙ

ТОМ 3 ПРОЗА, СТАТЬИ, ПИСЬМА



Уважаемые читатели!

Третим томом Полного собрания сочинений Евгения Боратынского мы заканчиваем публикацию всего наследия великого поэта России (за рамками издания остались переводы Боратынского из "Гения Христианства" Шатобриана, текст которых нам не доступен). Впервые не только в интернете, но и в печатном виде Вы получили возможность ознакомиться с письмами поэта в одном томе в хронологическом порядке, тексты которых мы печатаем по книге "Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского", Москва, НЛО, 1998, составленой Алексеем Михайловичем ПЕСКОВЫМ. "Летопись" — явление в истории литературы — итог многолетней архивной работы автора и группы единомышленников. Цель настоящего издания — дать читателю полный текст писем, прочитав которые можно лучше узнать Боратынского-человека. Мы оставили только самый необходимый комментарий, включенный в тексты писем в <> скобках. Письма, написанные Боратынским на французском языке печатаются в переводе (имя автора перевода не оговаривается) — они имеют непосредственно перед текстом указание: Перевод: ... Весь текст, напечатанный в кавычках, принадлежит Боратынскому, как правило не датировавшему свои послания — даты заимствованы нами также из "Летописи", без обоснования датировки, так же не являющейся, по нашему мнению, необходимостью, как и дальнейший комментарий.

Приятного Вам чтения.

Андрей Никитин-Перенский

В интернете: http://www.imwerden.de

Email: info@imwerden.de

СОДЕРЖАНИЕ

І. ПРОЗА И СТАТЬИ

1. О заблуждениях и истине 1820	10
2. История кокетства 1821	13
3. <Предисловие к поэме "Эда"> 1825	15
4. Таврида (рецензия на сборник стихов А.Н.Муравьёва) 1827	16
5. Перстень 1830	
6. <Предисловие к поэме "Наложница"> 1831	27
7. Антикритика 1832	32
ІІ. ПИСЬМА	
1. А. Ф. и А. А. Боратынским. 1806, ноябрь, 5. Вяжля	38
2. Родителям и тетушке Е. Ф. Черепановой. 1806, ноябрь. Вяжля	38
3. Родителям и тетушке Е. Ф. Черепановой. 1806, ноябрь. Вяжля	38
4. Маменьке. 1806, ноябрь-декабрь. Вяжля	
5. Маменьке. 1807, январь. Вяжля	38
6. Е. А. Боратынской. 1807, вторая половина года. Мара	38
7. Е. А. Боратынской. 1807 (или 1809-1810), ноябрь. Мара (или Москва)	39
8. Б. А. Боратынскому. 1811, май-июнь. Мара	
9. Е. А. Боратынской. 1811, май-июнь. Мара	
10. Маменьке. 1812, май. Петербург	
11. Маменьке. 1812, май, 30. Петербург	
12. Ираклию, Льву, Софии и Александрине. 1812, май, 30. Петербург	40
13. Маменьке. 1812, июнь. Петербург	40
14. Маменьке. 1812, август. Петербург	41
15. Маменьке. 1812, декабрь. Петербург	
16. Маменьке. 1813, февраль, 23. Петербург	
17. Маменьке. 1813, апрель, до 13. Петербург	
18. Маменьке. 1814 (?), июль (?). Петербург	
19. Маменьке. 1814, август (?). Петербург	
20. Маменьке. 1814, сентябрь-октябрь. Петербург	
21. Маменьке. 1814, ноябрь (?). Петербург	
22. Дядюшке и тетушкам. 1814, декабрь. Петербург	
23. Маменьке. 1815, апрель-май. Петербург	
24. Маменьке. 1815, май-июнь. Петербург	45

25.	. Дядюшкам Б. А. и И. А. 1815, сентябрь. Петербург	46
26.	. Маменьке. 1816, март. Петербург	46
27.	. Дядюшке Петру Андреевичу. 1816, август-октябрь. Подвойское	46
28.	. «Философическое письмо» маменьке. 1816, август-октябрь. Подвойское	47
29.	. Маменьке. 1816, август-октябрь. Подвойское	48
30.	. Дядюшкам Б. А. и И. А. 1817, апрель-июнь. Мара (или: 1819, Петербург)	49
	. Маменьке. 1817, сентябрь. Тамбов	
32.	. Маменьке. 1817, сентябрь. Подвойское	49
	. Маменьке. 1817, сентябрь. Подвойское	
34.	. Маменьке. 1817, декабрь, 4. Подвойское	51
	. Е. А. Боратынской (приписка к письму № 34). 1817, декабрь, 4. Подвойское	
	. Маменьке. 1818, январь. Подвойское	
	. Маменьке. 1818, август, 6. Подвойское	
	. Маменьке. 1818, ноябрь. Петербург	
	. Маменьке. 1818, ноябрь-декабрь. Петербург	
	. Маменьке. 1819, апрель. Петербург	
	. С. С. Уварову. 1821, март, 12. Фридрихсгам(?)	
	. A. A. Никитину. 1821, апрель. Фридрихсгам	
	. Н. И. Гнедичу. 1822, февраль-март. Петербург	
	. Маменьке. 1822, июль 21-22. Петербург	
	. Маменьке. 1823, апрель. Роченсальм	
	. А. А. Бестужеву и К. Ф. Рылееву. 1823, октябрь-декабрь. Роченсальм	
	. В. А. Жуковскому. 1823, декабрь. Роченсальм	
	. В. А. Жуковскому. 1824, январь. Роченсальм	
	. В. А. Жуковскому. 1824, март, 5. Роченсальм	
	. Н. В. Путяте. 1824, май, 24-25. Вильманстранд	
51.	. Маменьке. 1824, сентябрь. Роченсальм	59
52.	. Н. М. Коншину. 1824, сентябрь-октябрь. Роченсальм	60
53.	. H. B. Путяте. 1824, октябрь, 11. Роченсальм	60
54.	. А. И. Тургеневу. 1824, октябрь, 31. Гельсингфорс	61
55.	. М. Е. Лобанову. 1824, ноябрь-декабрь. Гельсингфорс	61
56.	. В. К. Кюхельбекеру. 1825, январь. Гельсингфорс	61
	. А. И. Тургеневу. 1825, январь, 25. Гельсингфорс	
58.	. Маменьке. 1825, февраль, 10. Кюмень	62
59.	. Н. В. Путяте. 1825, февраль. Кюмень	63
60.	. Н. М. Коншину. 1825, февраль, 26. Кюмень	63
61.	. И. И. Қозлову. 1825, март-апрель. Қюмень	64
62.	. Н. В. Путяте. 1825, апрель. Кюмень	65
63.	. Н. В. Путяте. 1825, апрель. Кюмень	66
64.	. А. А. Муханову. 1825, май. Қюмень	66
65.	. А. И. Тургеневу. 1825, май, 9. Кюмень	67
66.	. Н. В. Путяте.1825, май, 15. Қюмень	67
67.	. Н. В. Путяте. 1825, август. Петербург	67
68.	. Маменьке. 1825, август, 16. Выборг	68
69.	. Н. В. Путяте. 1825, ноябрь. Москва	68
70.	. C. A. Соболевскому. 1825, ноябрь-август 1826. Москва	69
71.	. А. С. Пушкину. 1825, декабрь. Москва	69
72.	. П. А. Вяземскому. 1825, декабрь. Москва	70
73.	. 3. А. Волконской. 1826-1828. Москва	70
74.	. С. Д. Полторацкому. 18261829 (?). Москва	71

75. Н. В. Путяте. 1826, январь-февраль (?). Москва	71
76. Н. В. Путяте. 1826, январь. Москва	71
77. А. С. Пушкину. 1826, январь. Москва	71
78. Н. В. Путяте. 1826, январь. Москва	
79. Невесте Н. Л. Энгельгардт. 1826, февраль-май. Москва	73
80. А. А. Муханову. 1826, октябрь. Москва	73
81. Н. В. Путяте. 1826, ноябрь. Москва	73
82. Н. М. Коншину. 1826, декабрь, 14. Москва	74
83. В. В. Измайлову. 1826, декабрь. В Москве	74
84. С. Л. Энгельгардт. 18271836 (?). Мара (?)	74
85. С. Л. Энгельгардт. 18271836 (?). Мара (?)	74
86. С. Л. Энгельгардт. 18271836 (?). Мара (?)	75
87. С. Л. Энгельгардт. 18271836 (?). Мара (?)	75
88. В. А. Жуковскому и А. И. Тургеневу. 1827, февраль-март. Москва	75
89. Н. А. Полевому. 1827, ноябрь. Мара	
90. К. К. Яниш. 1828 (?). Москва	76
91. А. С. Пушкину. 1828, февраль. Москва	76
92. П. А. Вяземскому. 1828, февраль. В Москве	
93. С. П. Шевыреву. 1828, февраль-июнь. Москва	
94. П. А. Вяземскому. 1828, апрель, начало месяца. Москва	
95. Н. В. Путяте. 1828, апрель (?). Москва	
95-а. А. Ф. Тернбергу. 1828, апрель, 13. В Москве	
96. А. А. Дельвигу. 1828, декабрь. Москва	
97. И. В. Киреевскому. 1829-1833. Москва	
98. И. В. Киреевскому. 1829-1833. Москва	
99. И. В. Киреевскому. 1829-1833. Москва	80
100. А. А. Елагину. 1829-1833, март, 1. Москва	80
101. П. А. Вяземскому. 1829, апрель. Москва	80
102. П. А. Вяземскому. 1829, май. Москва	81
103. П. А. Вяземскому. 1829, май. Москва	81
104. П. А. Вяземскому. 1829, май-июнь. Мураново	
105. Жене. 1829, июнь. Москва	82
106. П. А. Вяземскому. 1829, июнь-июль. Москва или Мураново	83
107. М. П. Погодину. 1829, сентябрь. Москва. (вставка в письмо И. В. Киреевского)	83
108. Н. М. Коншину. 1829, сентябрь. Москва	84
109. И. В. Киреевскому. 1829, октябрь. Мара	84
110. И. В. Киреевскому. 1829, октябрь-ноябрь. Мара	85
111. А. П. Елагиной. 1829, октябрь-ноябрь. Мара	85
112. М. П. Погодину. 1829, октябрь-ноябрь. Мара	86
113. Н. М. Коншину. 1829, октябрь. Мара	86
114. И. В. Киреевскому. 1829, ноябрь. Мара	
115. М. П. Погодину. 1829, ноябрь. Мара	
116. П. А. Вяземскому. 1829, декабрь. Мара	
116-а. В. А. Рачинской. 1830-е годы. Приписки к письмам Н. Л. Боратынской	87
117. С. Л. Энгельгардт. 1830, январь. Мара	
118. Н. В. Путяте. 1830, январь-август. Мара (?)	
119. П. А. Вяземскому. 1830, январь. Мара	88
120. Маменьке. 1830, ноябрь. Москва	
121. П. А. Вяземскому. 1830, ноябрь. Москва	
122. П. А. Вяземскому. 1830, ноябрь. Москва	89

123. Д. Н. Свербееву. 1830, декабрь. Москва	90
124. И. В. Киреевскому. 1830, декабрь-январь 1831. Москва	91
125. П. А. Вяземскому. 1830, декабрь-январь 1831. Москва	91
126. И. В. Киреевскому. 1831, январь-февраль. Москва	91
127. С. Т. Аксакову. 1831, март. Москва	91
128. И. В. Киреевскому. 1831, апрель. Москва	91
129. И. В. Киреевскому. 1831, апрель. Москва	
130. П. А. Плетневу. 1831, апрель-май. Москва	
131. М. Д. Деларю. 1831, апрель-май. Москва	
132. А. А. Закревскому. 1831, апрель-май. Москва	
133. И. В. Киреевскому. 1831, май-нюнь. Мураново	
134. И. В. Киреевскому. 1831, май-июнь. Мураново	
135. И. В. Киреевскому. 1831, май-июнь. Мураново	
136. И. В. Киреевскому. 1831, май-июнь. Мураново	
137. И. В. Киреевскому. 1831, июнь. Мураново	
138. И. В. Киреевскому. 1831, июнь-июль. Казань	
139. Н. В. Путяте. 1831, июнь-июль. Казань	
140. П. А. Плетневу. 1831, июль. Каймары	
141. П. А. Вяземскому. 1831, август-сентябрь. Каймары (?)	
142. И. В. Киреевскому. 1831, август. Каймары	
143. И. В. Киреевскому. 1831, август. Каймары	
144. И. В. Киреевскому. 1831, август. Каймары	
145. С. Боратынскому и С. Дельвиг. 1831, сентябрь-октябрь. Каймары	
146. С. М. Боратынской. после 1831 г.	
147. И. В. Киреевскому. 1831, сентябрь. Каймары	
148. Н. М. Языкову. 1831, сентябрь. Каймары	
149. И. В. Киреевскому. 1831, сентябрь. Каймары	
150. И. В. Киреевскому. 1831, октябрь. Каймары	
151. И. В. Киреевскому. 1831, октябрь. Каймары	
152. И. В. Киреевскому. 1831, октябрь. Каймары	
153. И. В. Киреевскому. 1831, ноябрь. Каймары	103
154. Н. М. Языкову. 1831, ноябрь. Қаймары	
155. И. В. Киреевскому. 1831, ноябрь, 29. Каймары	105
156. И. В. Киреевскому. 1831, декабрь. Каймары	106
157. И. В. Киреевскому. 1831, декабрь. Казань	106
158. И. В. Киреевскому. 1831, декабрь. Казань	107
159. И. В. Киреевскому. 1832, январь. Казань	107
160. Н. М. Языкову. 1832, январь. Казань	108
161. И. В. Киреевскому. 1832, январь. Казань	109
162. А. П. Елагиной. 1832, январь. Казань	109
163. И. В. Киреевскому. 1832, январь. Казань	110
164. И. В. Киреевскому. 1832, январь-февраль. Казань	110
165. И. В. Киреевскому. 1832, февраль. Казань	111
166. И. В. Киреевскому. 1832, февраль. Казань	111
167. И. В. Киреевскому. 1832, февраль. Казань	
168. И. М. Симонову. 1832, март (?). Қаймары	
169. И. М. Симонову. 1832, март (?). Қаймары	
170. И. В. Киреевскому. 1832, март. Қаймары	
171. И. В. Киреевскому. 1832, март. Каймары	
172. И. М. Симонову. 1832, апрель, 7. Каймары	

173. И. В. Киреевскому. 1832, апрель. Каймары	114
174. И. В. Киреевскому. 1832, апрель-май. Қаймары	114
175. И. В. Киреевскому. 1832, май. Каймары	115
176. И. В. Киреевскому. 1832, май, до 30. Каймары	115
177. С. Л. Энгельгардт. 1832, май-июнь	116
178. С. Л. Энгельгардт. 1832, май-июнь	
179. С. Л. Энгельгардт. 1832, май-июнь. Князь-Камаево	116
180. И. В. Киреевскому. 1832, июнь. Казань	
181. И. В. Киреевскому. 1832, июнь, 13. Казань	
182. С. Л. Энгельгардт. 1832, июнь, до 19. Казань	
183. И. В. Киреевскому. 1832, июнь, до 19. Казань	
184. И. В. Киреевскому. 1832, июль-август. Мураново	
185. И. В. Киреевскому. 1832, июль апрель 1833 (?). Москва	
186. П. А. Вяземскому. 1832, август. Мураново	
187. П. А. Вяземскому. 1832, декабрь — 1833, январь. Москва	
188. П. А. Вяземскому. 1833, февраль. Москва	
189. С. Л. Энгельгардт. 1833, май-июнь. Приписка к письму Настасьи Львовны	
190. С. Л. Энгельгардт. 1833, май-июнь. Приписка к письму Настасьи Львовны	
191. С. Л. Энгельгардт. 1833, июнь. Тамбов (?)	
192. С. Л. Энгельгардт. 1833, июнь. Мара.	
193. С. Л. Энгельгардт. 1833, июнь. Мара	
194. С. Л. Энгельгардт. 1833, июнь. Мара	
195. С. Л. Энгельгардт. 1833, июль-август. Мара	
196. И. В. Киреевскому. 1833, август. Мара	
197. И. В. Киреевскому. 1833, октябрь. Мара	
198. С. Л. Энгельгардт. 1833, октябрь-ноябрь. Мара	
199. И. В. Киреевскому. 1833, ноябрь. Мара	
200. И. В. Киреевскому. 1833, декабрь. Мара	
200. И. В. Киреевскому. 1833, декаорв. Мара	
202. И. В. Киреевскому. 1834, февраль (?). Мара	
203. Д. В. Давыдову. 1834, февраль. Мара. (Фрагмент)	
204. Маменьке. 1834 (?), апрель. Москва	
205. Е. Ф. Кривцовой. 1834 (?), май (?). Москва	
206. С. Л. Энгельгардт. 1834, ноябрь. Мара или Қазань	
207. С. А. Соболевскому. 1835, май-июнь. Москва	
208. М. П. Погодину. 1835, май, 4. Москва	
209. Маменьке. 1835, июнь-август. Москва или Мураново	
210. С. А. Соболевскому, 1835, июнь, 8. Москва	
211. С. А. Соболевскому, 1835, июнь, 13 (?). Москва	
212. С. А. Боратынскому и С. М. Боратынской (Дельвиг). 1835, ноябрь	
213. Жене. 1836, июнь, около 9. Москва	
214. А. И. Тургеневу. 1836, ноябрь, 10-11. Москва	
215. П. А. Вяземскому. 1837, февраль, 5. Москва	
216. П. А. Вяземскому. 1837, март. Москва	
217. Жене. 1837, май, 11. Подольск	
218. Жене. 1837, май, 11. Тула	
219. Жене. 1837, май, 13. Скуратове	.128
220. Жене. 1837, май, 15. Тамбов	.128
221. Жене. 1837, май. Мара	.129
222. Жене. 1837, июнь	.129

223.	Маменьке. 1837, июнь. Петровское	129
224.	Н. В. Чичерину. 1837-1838. Москва	129
	Н. И. Кривцову. 1837, июль. Москва	
226.	Н. В. Путяте. 1838, февраль. Москва	130
	Маменьке. 1838 (?), май-июнь. Москва	
	Маменьке. 1838 (?), июнь-июль (?). Москва	
	Н. В. Путяте. 1838, август. Москва	
	Маменьке. 1838, сентябрь. Москва	
	Маменьке. 1838 (?), ноябрь. Москва	
232.	Н. В. Путяте. 1838 (?), декабрь. Москва	132
	Н. В. Путяте. 1839, февраль-март. Москва	
	П. А. Плетневу. 1839, февраль-март. Москва	
	Маменьке. 1839, август-сентябрь	
	Маменьке. 1839 (?), сентябрь-октябрь. Москва	
	Н. В. Путяте. 1839, ноябрь-декабрь (?). Москва	
	Маменьке. 1839, декабрь. Москва	
	Н. В. Путяте. 1840-1843 (?), Москва, Мураново или Артемово	
	Н. В. Путяте. 1840-1843 (?), Москва, Мураново или Артемово	
	Маменьке. 1840, январь. Москва	
	Жене. 1840, февраль, 3. Петербург	
	Жене. 1840, февраль, 4. Петербург	
	Жене. 1840, февраль, 5. Петербург	
	Жене. 1840, февраль, 6. Петербург	
	Жене. 1840, февраль, 7. Петербург	
	Жене. 1840, февраль, 8. Петербург	
	Жене. 1840, февраль, 9. Петербург	
	Жене. 1840, февраль, 10. Петербург	
	Жене. 1840, февраль, 12. Петербург	
	Жене. 1840, февраль, 13. Петербург	
	Маменьке. 1840, февраль. Москва	
	Н. А. Марковичу. 1840 (?), февраль-март. Москва	
	Н. А. Марковичу. 1840 (?), февраль-март. Москва	
	Маменьке. 1840, апрель. Москва	
	Жене. 1840, май, 10. Москва	
	Жене. 1840, май, 10-11. Москва	
	Жене. 1840, май, 13. Москва	
	П. А. Плетневу. 1840, июнь. Москва	
	Маменьке. 1840, июль (?). Мураново	
	С. А. Соболевскому. 1840, август. Москва	
	С. А. Соболевскому. 1840, август. Мара	
	Н. В. Путяте. 1840, август. Мара	
	Маменьке. 1841, май (?). Мураново	
	Маменьке. 1841, июль. Мураново	
	Н. В. Путяте. 1841, июль-сентябрь (?). Мураново	
	Н. В. Путяте. 1841, сентябрь-ноябрь. Мураново	
	Н. А. Боратынской. 1841, октябрь-ноябрь. Артемово	
	Маменьке. 1841, ноябрь-декабрь. Артемово	
	Маменьке. 1841, декабрь-январь 1842. Артемово	
	С. Л. Путята. 1841, декабрь-январь (?). 1842. Артемово	
	Маменьке. 1842, февраль (?). Артемово	

273. Н. В. Путяте. 1842, февраль. Артемово	149
274. Н. В. Путяте. 1842, март, 8. Артемово	
275. Н. В. Путяте. 1842, март-апрель. Артемово	152
276. Н. В. и С. Л. Путятам. 1842, апрель. Артемово	152
277. Н. А. Боратынской. 1842, апрель. Артемово	153
278. Н. В. Путяте. 1842, май. Артемово	153
279. П. А. Плетневу. 1842, май. Москва	153
280. Н. В. и С. Л. Путятам. 1842, май. Артемово или Москва	153
281. П. А. Вяземскому. 1842, май-июль. Москва	154
282. Маменьке. 1842, июль (?). Артемово	154
283. Н. В. Путяте. 1842, июль. Москва	
284. Маменьке. 1842, август. Артемово или Москва	
285. П. А. Плетневу. 1842, август, 10. Москва или Артемово	
286. Н. В. и С. Л. Путятам. 1842, август. Москва	
287. Маменьке. 1842, декабрь. Мураново	
288. Н. В. Путяте. 1842, декабрь. Мураново	
289. Н. В. и С. Л. Путятам. 1843, январь. Мураново	
290. Маменьке. 1843, январь (?). Мураново	
291. Маменьке. 1843, апрель. Мураново	
292. Нат. Абр. Боратынской. 1843, апрель. Москва или Мураново	
293. Маменьке. 1843, июнь (?). Мураново	
294. П. А. Вяземскому. 1843, сентябрь, 10. Петербург	
295. Маменьке. 1843, октябрь. Дрезден	
296. Н. В. и С. Л. Путятам. 1843, октябрь. Лейпциг	
297. Н. В. и С. Л. Путятам. 1843, ноябрь. Париж	
298. Маменьке. 1843, декабрь. Париж	
299. Н. В. и С. Л. Путятам. 1843, декабрь. Париж	
300. Н. М. Сатину или Н. П. Огареву. 1843-44. Париж	
301. Н. В. и С. Л. Путятам. 1843, декабрь. Париж	
302. Н. В. и С. Л. Путятам. 1844, январь. Париж	
303. Н. В. и С. Л. Путятам. 1844, апрель-март. Париж	
304. Маменьке. 1844, апрель. Марсель	
305. Н. В. и С. Л. Путятам. 1844, апрель-май. Неаполь	
306. Н. В. и С. Л. Путятам. 1844, май-июнь. Неаполь	
307. Н. В. и С. Л. Путятам. 1844, май-июнь. Неаполь	168
III. ДЕЛОВЫЕ ПИСЬМА	
1. Императору Николаю Павловичу, 1825, декабрь, 27	
2. Б. А. Гермесу, 1831, июль, 10	169

І. ПРОЗА И СТАТЬИ

1. О ЗАБЛУЖДЕНИЯХ И ИСТИНЕ

Что называем мы заблуждением? Что называем мы истиной? Я не говорю об истинах исторических, математических и нравственных; нет, я говорю о минутных соображениях разума, основанных на каких-либо мнениях, почитаемых нами за истинные, вследствие которых мы так или иначе принимаем впечатления окружающих нас предметов. Я спрашиваю: почему одни впечатления или родившиеся от них мысли мы называем истинными, а другие ложными?

Ежели в прекрасный вечер, смотря на заходящее солнце, последними лучами озлащающее зелёные холмы, полный тихим спокойствием засыпающей природы, я воскликну в минуту восторга: величественно, как прекрасно творение! — никто не подумает назвать заблуждением чувство, которое заставило меня изъясниться таким образом. Дитя ловит бабочку и, поймав её, восклицает: как прекрасна бабочка! как я рад, что поймал её! Мы говорим с чувством собственного превосходства: прелестный возраст! бабочка составляет твоё счастие; но придёт время, и заблуждение исчезнет!

Почему заблуждение? потому ли, что оно проходчиво. Но что же в мире не проходчиво? Природа в целом не существует для дитяти; в ней существует для него только бабочка. Нас восхищает природа, но бабочка уже для нас не существует. Много ли мы выиграли в обмане? и кто поручится, что мы теперь видим яснее, нежели видели прежде?

Молодость называют временем слепоты и заблуждений; самовластная старость умела определить её таким образом. "Юноши, — говорит нам ворчунья, — страсти ослепляют вас, мечты ваши украшают все предметы, воображение устилает цветами бездну, готовую расступиться под стопами вашими, но поживите с моё, и вы увидите истину без покрова".

- Бабушка, я бы отвечал ей, твои уроки мне бы досадили в другое время, но сегодня я не расположен сердиться и тебе советую отвыкнуть от твоего брюзгливого ворчанья. Но послушай: глаза твои слабеют, а ты хочешь лучше меня видеть! чувства твои завяли, а ты хочешь лучше меня чувствовать! Как? потому что годы, лишив тебя зрения, накинули мрачное покрывало на окружающие тебя предметы, я должен верить, что они в самом деле одеты туманом! Как? потому что твоё воображение угасло, я назову мечтательными цветы, которые вижу при свете своего собственного воображения! Я не могу сомневаться в их существовании потому, что их вижу; а вижу потому, что имею хорошее зрение. Ты лишена и глаз и чувства; займи их у меня, моя милая, и ты почувствуешь всю ветреность твоих заключений.
- Я думала, как ты, в твои лета, мне отвечает старушка. Опыт разрушил мои воздушные замки; годы отнимают глаза, но делают зорким рассудок.
- Я не знаю, что ты понимаешь под словом рассудок. Я думаю, что это не что иное, как то чувство, которое вследствие приобретённых мною понятий, через различные впечатления, заставляет меня видеть предметы в том порядке, в каком я в сию минуту их вижу. И могу ли я их видеть иначе? Могу ли отделять от себя мечты и страсти, составляющие необходимую часть самого меня? Ты мне говоришь об опыте; но я не знаю ещё, что такое опыт. Он или прибавит что-нибудь к существу моему или уничтожит некоторую часть его: в обоих случаях я перестану быть самим собою я переменюсь один, предметы не переменятся. И зачем мне променять мечты свои на твой рассудок? Ты сказала в какой-то книге: "Суди о человеке по его поступкам". Нельзя ли сказать тоже: "Суди о правилах по их последствиям"? Суди же, моя радость: ты печальна, а я весел; ты подозрительна, а я доверчив; ты сердишься и кашляешь, а я смеюсь и напеваю шутливую песню; я умнее потому, что счастливее.

- Но было время, когда ты строил карточные замки, забавлялся куклою, снаряжал бумажные корабли: игрушки для тебя уже стали игрушками; скоро и мечты для тебя будут мечтами.
- Не спорю! Но со временем я и сам умру; всему есть границы; но не замки из мраморных превратились в карточные, не корабли из деревянных превратились в бумажные; я один лишился чувства, которое или меня обманывало, или заставляло лучше видеть. По крайней мере, наслаждения были истинными.
- Ты нечаянно согласился, что есть предметы, существующие для одного только воображения; следственно, мечтательные.
- Мечтательные потому, что существуют для одного только воображения! Забавное заключение. Почему доверять одному чувству более, чем другому? Звуки существуют для одного только слуха; следственно, звуки не существуют! Неужели природа делает что-нибудь без цели? Воображение есть такое же свойство, как и другие свойства. Ты скажешь, что оно изменяет нам прежде, нежели другие способности; что опыт разрушает призраки его. Согласен; но мы несколько позже лишаемся зрения, слуха, иногда и разума! Не всё ли равно лишиться физически способности видеть или метафизически способности воображать? Ты говоришь, что меня обманывают мечты мои: я вправе сказать, что тебя обманывают твои умозрения. Послушай: детство забавляется мечтами, старость забавно важничает мнимою своею мудростью, и каждый играет свойственною ему игрушкою.

Я несколько отдалился от своего предмета; по крайней мере, вы видели, что невозможно заставить человека переменить свои мысли, не заставив его самого перемениться, т. е. чтонибудь потерять или что-нибудь приобрести. Остаётся определить: в каких точно случаях мы приобретаем и в каких лишаемся! Я ничего не утверждаю и потому сделаю только несколько вопросов.

Что вы почитаете вернейшим способом к отысканию истины? Рассудок и опыт. — Согласен. Но положим, что вы имели одни только горестные опыты; что в детстве вы зависели от своенравного наставника; что в юности вам изменила любовница, изменил друг, изменила надежда; что в старости вы остались одиноким и печальным. Как вы опишете жизнь? Детство для вас будет временем рабства и бессилия; юность временем мятежных снов и безумных желаний; старость — торжественным сроком, когда является истина и с насмешкой погашает свечу в китайском фонаре воображения.

Относительно к себе вы совершенно правы; напротив, в детстве я ничего не знал, кроме радостей: добрая мать была мне снисходительною наставницею. Теперь имею весёлых любящих друзей, всею душою мне преданных; быть может, буду ещё иметь подругу милую и верную; надеюсь, что старость моя согреется воспоминаниями о прежней разнообразной, полной жизни, что и в преклонных летах сохраню ещё любовь к прекрасному, хотя не так живо буду его чувствовать, что сквозь очки ещё с наслаждением буду смотреть на румяную молодость, а подчас и сам буду забавлять её рассказами про старое время.

Положим, что такова будет жизнь моя; не правда ли, что, подобно вам, руководствуясь рассудком и опытом, я сделаю заключение, совершенно противное вашему, и не будем ли здраво судить каждый в свою очередь?

Ежели ветреная молодость всё украшает, всё очаровывает своим воображением, брюзгливая старость не слишком ли всё очерняет своею холодною недоверчивостью, и есть ли минута в жизни, в которую мы совершенно чужды того или другого предубеждения?

В каком случае мы приобретаем и в каком лишаемся? Истина (ежели в самом деле есть какое-то отвлечённое благо, которое мы называем истиною) не должна ли быть некоторым верховным наслаждением, способным заменить нам все прочие мечтательные, или лучше сказать, недостаточные наслаждения? Но мы видим совершенно противное. Мы теряем, удостоверяясь в том, что привыкли называть истиною; мы уважаем аксиомы опыта и между тем часто сожалеем о прелестных заблуждениях, которые некогда составляли наше счастие.

Старость имеет только то преимущество перед молодостию, что приходит после; она ко всему равнодушна, потому что не имеет страстей; она видит вчерне все предметы, потому что неспособна их видеть иначе; она из всего выводит печальные заключения, потому что сама печальна и, не быв ещё лишена способности мыслить, должна присвоить себе какие-либо мнения. Но кто поручится за их беспристрастие?

Мы называем старость временем благоразумия и мудрости. Но положим, что она же со своею опытностию будет первым периодом нашей жизни; что за нею последует мужество, юность и наконецдетство. Старец, чувствуя новую жизнь, проливающуюся в его сердце, новые ясные мысли, которые мало-помалу освежают его голову и разглаживают морщины на челе его, — не заключит ли довольно правдоподобно, что существо его начинает усовершенствоваться? Он слышит голос славы и честолюбия, летит на поле брани, спешит в совет к согражданам; он снова знакомится с прежними мечтами и думает: я опровергал рассудком то, что теперь ясно понимаю посредством страстей и воображения; я заблуждался, но время открывает истину. Приходит и пора любви: он видит прекрасную женщину и удивляется, что до сих пор не примечал, что существуют женщины; он во многих предметах усматривает то, чего не усматривал до сей минуты. Он вспоминает прежние свои предубеждения и думает: Безумец! Я хотел понять холодным разумом то, что можно только понять сердцем и чувством: ясно вижу своё заблуждение. Наконец в детстве, пуская мыльные пузыри, он скажет, увидя за книгою старика, нового жителя мира: посмотри, это гораздо полезнее твоей книги.

В заключениях чудака, переходящего от старости к детству, вы найдете почти более логики, нежели в заключениях отрока, переходящего от детства к старости.

Поэтому нет истины? Кто вам говорит что-нибудь подобное? Но истина, не есть ли она до крайности относительная? Каждый возраст, каждая минута нашей жизни не имеет ли собственные, ей одной свойственные истины? Предметы, нас окружающие, не так же ли относятся к нашему рассудку, как солнечные лучи ко внутреннему расположению наших глаз? Не безумно ли отречься от приятного чувства потому только, что другие называют его заблуждением? Не безумно ли называть человека безрассудным потому только, что поступки его нам кажутся безрассудными? Не странно ли писать рассуждение об истине, когда доказываешь, что каждый из нас имеет собственные свои истины?

2. ИСТОРИЯ КОКЕТСТВА

Венера почитается матерью богини кокетства. Отцом её называют и Меркурия, и Аполлона, и Марса, и даже Вулкана. Говорят, что перед её рождением, непостоянная Киприда была в равно короткой связи со всеми ими и, разрешившись от бремени, каждого поздравила на ухо счастливым отцом новорожденной богини.

Малютка, в самом деле, с каждым имела сходство. Вообще была она подобием своей матери; но в глазах её, несмотря на их нежность и томность, было что-то лукавое, принадлежащее Меркурию. Тонким вкусом и живым воображением казалась она обязанною Аполлону. Марсу нравились её свободные движения, доказывающие, по словам его, что отец её был человек военный; добрый же Вулкан не обнаруживал своих замечаний, но ласкал малютку с истинно-родительской нежностью. Все они имели одинакое право принимать некоторое участие в будущей судьбе новой богини, с равным усердием старались о её воспитании. Жители Олимпа удивлялись быстрым её успехам и превозносили необыкновенные её дарования. Одна Паллада усмехалась им подозрительно, да иногда Амур поглядывал на молодую богиню с видом беспокойства и недоверчивости. Многие недостатки были в ней заметны, особенно непомерное тщеславие. Она более любила высказывать свои знания, нежели любила самые науки; в угодительном её обхождении с богами было более желания казаться любезною, нежели истинного благонравия. Ко всему она имела некоторое расположение, ни к чему настоящей склонности, и потому никем и ничем не могла заниматься долго. Непостоянство её, может быть, происходило от её генеалогии, но усовершенствовалось своевольным её воспитанием. "Наставники её недальновидны,говорила иногда Паллада (которая кстати и не кстати любила-таки похвастать своим глубокомыслием и мерною прозою произносить торжественные изречения),- наставники её недальновидны: поверхностное обо всём понятие составит удивительный хаос в голове её. Они стараются усовершенствовать её дарования, образовать вкус и развить воображение, но некому просветить её разума и наставить сердце. По-моему, она не доставит особенной чести Олимпу".

Давно уже достигнув совершеннолетия, пресытясь однообразными похвалами богов её остроумию, красоте и любезности, может быть, несколько завидуя Грациям, помрачённым ею сначала, но которым мало-помалу стали отдавать справедливость, новая богиня упала к ногам Юпитера и выпросила себе дозволение переселиться на землю.

В последний день её пребывания на Олимпе пригласила она богов на прощальное пиршество. Приветливость её при угощении, соединённая с некоторою задумчивостью, тронула бессмертных; все оставили её с некоторою грустию; правда, каждому из них дала она почувствовать, что одна разлука с ним заставляет её жалеть об Олимпе.

Богиня сначала поселилась в Греции, однако ж не имела в ней храмов. Народы, принявшие её за любезность, поздно заметили свою ошибку и стали подозревать существование новой богини. В обхождении некоторых прелестниц, в блестящих, но неосновательных сочинениях многих софистов ощутительно стало её влияние. Раздоры, возгоревшиеся между наследниками Александра Македонского, раздоры, наполнявшие Грецию ужасом и кровью, отвлекли их внимание, и самую богиню принудили искать другого убежища; она переселилась в Рим.

Худо её приняли в Риме. Изнеженность её нрава и слишком вольное обращение не полюбилось строгим республиканцам. При триумвирах было ей лучше, но немногим: буйный разврат столь же противоречил её свойству, сколько чрезмерно строгие обычаи. Дикие племена, завоевавшие Рим, изгнали её из сей столицы вселенной. Здесь история её становится тёмною: иные говорят, что, до самого её возвращения в Европу, странствовала она по Азии и Африке; другие, что она провела это время в уединении, придумывая способы для будущего своего величия.

Как бы то ни было, но в XVIII веке торжественно явилась она в Италии и во Франции с молодою, прелестною дочерью, не уступающею своей матери в непостоянстве, своенравии и проворстве; дочь сия была Мода. Подобно Юпитеру, отцу Паллады, богиня зачала её в голове своей и также счастливо разрешилась от бремени. Народы приняли её с восторгом. Воздвиглися храмы, и воскурились жертвы. Обрадованная усердием галлов, богиня основала своё пребывание между ними. На берегах Сены, посреди великолепного сада, возвышается столичный храм её. Витые золотые колонны поддерживают его купол. На барельефах изображены разные двусмысленные аллегории, поныне ещё неразгаданные, например: в одном месте представлена она подающею руку Амуру, вместо дурачества, которому грозит пальцем, чтобы оно молчало; в другом - побеждающею богиню красоты; в третьем - наряжающею Граций и проч. Многие приняли сии аллегории в выгодном значении для богини, другие совершенно напротив. Кто весть, говорили они, какой путеводитель выгоднее для Амура: дурачество увлекало его силою, кокетство завлекает обманом. Что лучше? Искусство превышает природу! Жаль, ежели это правда! Наряжённые Грации похожи на прелестниц, и тому подобное. Внутри храма, в зеркальной, освещённой кенкетами зале таится непонятная богиня. Мечты блестящие, но почти не имеющие образа (так быстро они переходят из одного в другой), вьются, волнуются перед нею. Мусикийские орудия, отличительные знаки всех искусств, разные игрушки, выдуманные прихотью, небрежно около её разбросаны. Тут-то проводит она время, примеряя наряды, вымышленные её дочерью, и приучая лицо своё к разного рода выражениям. В известные дни принимает она своих обожателей и издаёт свои прорицания; ласковость её обхождения привлекает каждого; разнообразные дарования, полученные ею от Олимпийских её наставников, заслужили ей уважение людей всякого состояния, всяких понятий, всякого нрава: даже два великие, хотя разнородные, гения последнего времени, Фридрих III и Вольтер, не пренебрегали её советами. Не говорю уже о женщинах: кокетство можно назвать политикою прекрасного пола. По прошествии некоторого времени, богиня заметила однако ж разительное охлаждение в мужской половине своих поклонников. Ужас объял её сердце; но ум её, богатый вымыслами, скоро внушил ей способ оживить их усердие. Она удвоила свою приветливость, даже казалась нежною наедине со многими. Нового рода надежда закралась в их сердце и совершенно его взволновала, когда в приёмной зале богини увидели посетители несколько новых картин довольно замечательного содержания. На них изображены были некоторые приключения жителей Олимпа, где они являлись довольно благосклонными к бедным смертным: Диана, посещающая Эндимиона; Киприда, ласкающая Адониса, и пр. Внизу надписано было: Для любви не существует разницы между смертными и богами. Хитрость сия удалась богине: охлаждённые поклонники превратились в пламенных искателей; и хотя никому ещё не сдержала она нежного своего обещания, но все надеются, что она сдержит его некогда, и храм её никогда не бывает празден. Учёный антикварий, собравший материалы для сей достоверной истории, собрал их прежде Французской революции и, сделавшись жертвою её, не мог продолжать занимательного труда своего. Если верить слухам, то ужасы возмущения сильно и благодетельно подействовали на сердце богини; говорят, что она отреклась от божества своего и даже сама сделалась набожною. Живёт уединённо, читает полезные книги и вздыхает о прежних своих заблуждениях. Время покажет, справедливы ли сии слухи, и чистосердечно ли её обращение.

3. <ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ ПОЭМЫ «ЭДА»>

Сочинитель предполагает действие небольшой своей повести в 1807 году, перед самым открытием нашей последней войны в Финляндии.

Страна сия имеет некоторые права на внимание наших соотечественников любопытною природою, совершенно отличною от русской. Обильная историческими воспоминаниями, страна сия была воспета Батюшковым, и камни её звучали под конем Давыдова, певца-наездника, именем которого справедливо гордятся поэты и воины.

Жители отличаются простотою нравов, соединённою с некоторым просвещением, подобным просвещению германских провинций. Каждый поселянин читает Библию и выписывает календарик, нарочно издаваемый в Або для земледельцев.

Сочинитель чувствует недостатки своего стихотворного опыта. Может быть, повесть его была бы занимательнее, ежели б действие её было в России, ежели б ход её не был столько обыкновенен, одним словом, ежели б она в себе заключала более поэзии и менее мелочных подробностей. Но долгие годы, проведённые сочинителем в Финляндии, и природа финляндская, и нравы её жителей глубоко напечатлелись в его воображении. Что же касается до остального, то сочинитель мог ошибиться; но ему казалося, что в поэзии две противоположные дороги приводят почти к той же цели: очень необыкновенное и совершенно простое, равно поражая ум и равно занимая воображение. Он не принял лирического тона в своей повести, не осмеливаясь вступить в состязание с певцом «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана». Поэмы Пушкина не кажутся ему безделками. Несколько лет занимаясь поэзиею, он заметил, что подобные безделки принадлежат великому дарованию, и следовать за Пушкиным ему показалось труднее и отважнее, нежели идти новою собственною дорогою.

4. ТАВРИДА А. Муравьёва. М. 1827 г., in 12, 148 стр.

Полезна критика строгая, а не едкая. Тот не любит искусство, кто разбирает произведение с эпиграмматическим остроумием. Более или менее отзываясь недоброжелательством, оно заставляет подозревать критика в пристрастии и удаляет его от настоящей его цели: уверить читателя в справедливости своего мнения. Ещё замечу, что, разбирая сочинение, не одной публике, но и автору (разумеется, ежели он имеет дарование) нужно показать его недостатки, а этого никогда не достигнешь, ежели будешь расточать более насмешки, нежели доказательства, более будешь стараться пристыдить, нежели убедить сочинителя.

Ежели строго разбирать стихотворения г-на Муравьёва, конечно, многое и очень многое найдешь достойным осуждения; но в то же время увидишь красоты, ручающиеся за истинное дарование. Г-н Муравьёв поэт неопытный, но Поэт — и это главное. Во всех его пьесах небрежность слога доведена до крайности; но почти во всех ощутительно возвышенное вдохновение. Он ещё не написал ничего истинно хорошего, но подаёт прекрасные надежды.

Книга г-на Муравьёва заключает в себе описательную поэму под названием Таврида и несколько мелких стихотворений.

Таврида — произведение совершенно ученическое. Создание её бедно или, лучше сказать, в ней нет никакого создания. Это риторическое распространение двух стихов Пушкина в Бахчисарайском фонтане:

Где скрылись ханы? где гарем? Кругом всё пусто, всё уныло...

Ежели мы прибавим, что в поэме г-на Муравьёва нет ни одной строфы, сначала до конца написанной истинно хорошими стихами, достоинство её будет весьма не велико. Таврида, кажется, первый опыт г-на Муравьёва; но ежели в ней ещё не видно искусства, то видны уже силы. Таврида писана небрежно, но не вяло. Неточные её описания иногда ярки и необработанные стихи иногда дышат каким-то беспокойством, похожим на вдохновение. Не привожу примеров, ибо сказанное мною чувствительнее в целом сочинении, нежели в его частностях.

В мелких стихотворениях дарование г-на Муравьёва гораздо зрелее. Каждая пьеса уже заключает в себе более или менее полное создание, и от времени до времени встречаются прекрасные стихи. Приведём отрывок из стихотворения «Ермак», которое одно из хороших в разбираемой нами книге. Остяк рассказывает путнику о завоевании Сибири по тёмным преданиям, сохранившимся в его племени.

Вот видишь, путник: много, много Прошло холодных, бурных зим. С тех пор как бранною тревогой Иртыш великий был грозим. Отколь? зачем? я не открою; Но бурной вьюгой притекли

Сюда, к убийственному бою, Другого племя остяки: Они друг друга убивали, Везде лишь кровь текла одна; Снега с полей уж не смывали Войны багрового пятна. И вот однажды ночь застала Здесь, на Иртышских берегах, Пришельцев. Всё меж ними спало, Забыв о мстительных врагах. Они ж стрелами разбудили И смертью отогнали сон! Но челноки пришельцев плыли Среди кипящих, грозных волн. Их вождь был скован из железа, И нашей смерти чужд он был! В Иртыш, добыча мрачной грезы, Прыгнул, проснулся п поплыл, И близок был к ладьям союзным; Быть может, их бы досягнул, Иртышу показался грузным: Иртыш взревел, — он потонул.

Другого племя остяки, И нашей смерти чужд он был, Иртышу показался грузным. Прекрасно! Но сколько недостатков в этом отрывке! Я не открою — нужно я не знаю; они друг друга убивали, т. е. воины Ермака друг друга убивали, по смыслу стихов; это ли хотел сказать сочинитель? Снега с полей уж не смывали войны багрового пятна, слишком изысканно для остяка. Забыв о мстительных врагах: мстительных ненужный эпитет. Они ж стрелами разбудили... Кого? Всё четверостишие дурно. В Иртыш, добыча мрачной грезы?.. Почему знает остяк, что Ермаку в это время что-нибудь грезилось? Лучше было сказать: полусонный. Надобно заметить, что я разбираю хорошее у г-на Муравьёва.

Не буду говорить особо о каждом стихотворении r-на Mуравьёва, — это бы заняло слишком много времени. Не могу, однако ж, оставить без внимания стихотворение его Cmuxuu, которое мне кажется лучшим из всего собрания как по созданию, так и по исполнению. Я приведу его в новое доказательство и прекрасного дарования r-на M<уравьёва> и великих его недостатков.

Я с духом беседовал диких пустынь!
Пред юношей, с мрачного трона,
Клубящимся вихрем восстал исполин;
Земли расступилося лоно!
Он эхом раздался, он ветром завыл
И юношу тучею праха покрыл.

Строфа сия звучна и живописна; но где же логика? К чему: *земли расступилося лоно*? Г-н Муравьёв изобразил уже своего духа, восставшего с мрачного трона, следовательно, трон этот ему видим, следовательно, он не в глубине земли; а ежели не так, то прежде, нежели явится дух, земля должна расступиться. Сколько несообразностей! Последние два стиха прекрасны.

Я с духом беседовал бурных валов!
Завыли широкие волны;
Он с пиршества шёл поглощённых судов,
Усопших отчаяньем полный!
И много о тайнах бездонных ревел,
И юноша пеной его поседел.

Завыли широкие волны... вставка. Следующие три стиха красоты превосходной. Ежели б г-н Муравьёв всегда облекал в подобные стихи картины своенравного воображения, мы бы уже поздравили себя с великим Поэтом. И Юноша пеной его поседел: дурно, потому что изысканно. Надобно было сказать: И юноша пеной своею покрыл. Лирическая поэзия любит простоту выражений.

Я с духом беседовал горных зыбей, С лазурным владыкой эфира! И он, улыбаясь во звуке речей, Открыл мне все прелести мира; Меня облаками, смеясь, одевал, И юноша свежесть эфира вдыхал!

В этой строфе хорош один только стих: Меня облаками, смеясь, одевал. Что такое значит: во звуке речей открыть все прелести мира? Прочтите кому угодно эти два стиха: каждый будет их толковать по-своему и, может быть, никто не угадает настоящей мысли автора. К тому же дух эфира должен говорить только о своей области, а не о целом мире; а не то г-ну Муравьёву не для чего беседовать особо с каждым стихийным духом: довольно поговорить с воздушным, который всеведущ.

Я с духом беседовал вечных огней Гул дальнего грома раздался! Не мог усидеть он на туче своей, Палящий, клубами свивался, И с треском следил свой убийственный путь, И юноше бросил он молнию в грудь!

Отчего дух огня не мог *усидеть* на своей туче (не говорю уже о низком выражении: *усидеть*)? Чего же он испугался? Можно ли писать таким образом и никогда не поверять воображения рассудком? Для пользы искусства почти досадно, что г-н Муравьёв человек с дарованием.

Я духом напитан ревущих стихий. Они и с младенцем играли; Вокруг колыбели моей возлегли И бурной рукою качали; Я помню их дикую песнь надо мной, Но как предадим её звук громовой?

Эта строфа с начала до конца прекрасна, кроме рифм: *стихии* и *возлегли*, которые чересчур не точны. Ещё: *И бурной рукою качали* — кого, что? Должно подразумевать колыбель, но это не сказано: местоимение здесь необходимо.

Скажем вообще о г-не Мурвьёве, что, богатому жаром и красками, ему недостаёт обдуманности и слога, следовательно — очень многого. Истинные поэты потому именно редки, что им должно обладать в то же время свойствами, совершенно противоречащими друг другу: пламенем воображения творческого и холодом ума поверяющего. Что касается до слога, надобно помнить, что мы для того пишем, чтобы передавать друг другу свои мысли; если мы выражаемся неточно, нас понимают ошибочно или вовсе не понимают: для чего ж писать? Надеемся, что г-н Муравьёв в будущих сочинениях исполнит наши ожидания и порадует нас красотами, не затемнёнными столькими недостатками.

5. ПЕРСТЕНЬ

В деревушке, состоящей не более как из десяти дворов (не нужно знать, какой губернии и уезда), некогда жил небогатый дворянин Дубровин. Умеренностью, хозяйством он заменял в быту своем недостаток роскоши. Сводил расходы с приходами, любил жену и ежегодно умножающееся семейство, - словом, был счастлив; но судьба позавидовала его счастью. Пошли неурожаи за неурожаями. Не получая почти никакого дохода и почитая долгом помогать своим крестьянам, он вошёл в большие долги. Часть его деревушки была заложена одному скупому помещику, другую оттягивал у него беспокойный сосед, известный ябедник. Скупому не был он в состоянии заплатить своего долга; против дельца не мог поддержать своего права, - конечно, бесспорного, но скудного наличными доказательствами. Заимодавец протестовал вексель, проситель с жаром преследовал дело, и бедному Дубровину приходило дозареза.

Всего нужнее было заплатить долг; но где найти деньги? Не питая никакой надежды, Дубровин решился однакож испытать все способы к спасению. Он бросился по соседям, просил, умолял; но везде слышал тот же учтивый, а иногда и неучтивый отказ. Он возвратился домой с раздавленным сердцем.

Утопающий хватается за соломинку. Несмотря на своё отчаяние, Дубровин вспомнил, что между соседями не посетил одного, - правда, ему незнакомого, но весьма богатого помещика. Он у него не был, и тому причиною было не одно незнакомство. Опальский (помещик, о котором идёт дело) был человек отменно странный. Имея около полутора тысяч душ, огромный дом, великолепный сад, имея доступ ко всем наслаждениям жизни, он ничем не пользовался. Пятнадцать лет тому назад он приехал в своё поместье, но не заглянул в свой богатый дом, не прошёл по своему прекрасному саду, ни о чём не расспрашивал своего управителя. Вдали от всякого жилья, среди обширного дикого леса, он поселился в хижине, построенной для лесного сторожа. Управитель, без его приказания и почти насильно, пристроил к ней две комнаты, которые с третьею, прежде существовавшею, составили его жилище. В соседстве были о нём разные толки и слухи. Многие приписывали уединённую жизнь его скупости. В самом деле, Опальский не проживал и тридцатой части своего годового дохода, питался самою грубою пищею и пил одну воду; но в то же время он вовсе не занимался хозяйством, никогда не являлся на деревенские работы, никогда не поверял своего управителя, - к счастию, отменно честного человека. Другие довольно остроумно заключили, что, отличаясь образом жизни, он отличается и образом мыслей и подозревали его дерзким философом, вольнодумным естествоиспытателем, тем более что, по слухам, не занимаясь лечением, он то и дело варил неведомые травы и коренья, что в доме его было два скелета и страшный жёлтый череп лежал на его столе. Мнению их противоречила его набожность: Опальский не пропускал ни одной церковной службы и молился с особенным благоговением. Некоторые люди, и в том числе Дубровин, думали, однакож, что какая-нибудь горестная утрата, а может быть, и угрызения совести были причиною странной жизни Опальского.

Как-бы то ни было, Дубровин решился к нему ехать. "Прощай, Саша! — сказал он со вздохом жене своей, — ещё раз попробую счастья", — обнял её и сел в телегу, запряжённую тройкою.

Поместье Опальского было верстах в пятнадцати от деревушки Дубровина; часа через полтора он уже ехал лесом, в котором жил Опальский. Дорога была узкая и усеяна кочками и

пнями. Во многих местах не проходила его тройка, и Дубровин был принуждён отпрягать лошадей. Вообще нельзя было ехать иначе, как шагом. Наконец он увидел отшельническую обитель Опальского.

Дубровин вошёл. В первой комнате не было никого. Он окинул её глазами и удостоверился, что слухи о странном помещике частью были справедливы. В углах стояли известные скелеты, стены были обвешаны пуками сушёных трав и кореньев, на окнах стояли бутыли и банки с разными настоями. Некому было о нём доложить: он решился войти в другую комнату, отворил двери и увидел пожилого человека в изношенном халате, сидящего к нему задом и глубоко занятого каким-то математическим вычислением.

Дубровин догадался, что это был сам хозяин. Молча стоял он у дверей, ожидая, чтобы Опальский кончил или оставил свою работу; но время проходило, Опальский не прерывал её. Дубровин нарочно закашлял, но кашель его не был примечен. Он шаркал ногами, - Опальский не слышал его шарканья. Бедность застенчива. Дубровин находился в самом тяжёлом положении. Он думал, думал и, ни на что не решаясь, вертел на руке своей перстень; наконец уронил его, хотел подхватить на лету, но только подбил, и перстень, перелетев через голову Опальского, упал на стол перед самым его носом.

Опальский вздрогнул и вскочил с своих кресел. Он глядел то на перстень, то на Дубровина и не говорил ни слова. Он взял со стола перстень, с судорожным движением прижал его к своей груди, остановив на Дубровине взор, выражавший попеременно торжество и опасение. Дубровин глядел на него с замешательством и любопытством. Он был высокого роста; редкие волосы покрывали его голову, коей обнажённое темя лоснилось; живой румянец покрывал его щёки; он в одно и то же время казался моложав и старообразен. Прошло ещё несколько мгновений. Опальский опустил голову и казался погружённым в размышление; наконец сложил руки, поднял глаза к небу; лицо его выразило глубокое смирение, беспредельную покорность. "Господи, да будет воля Твоя!" — сказал он. "Это ваш перстень, — продолжал Опальский, обращаясь к Дубровину, — и я вам его возвращаю... Я мог бы не возвратить его... что прикажете?"

Дубровин не знал, что думать: но, собравшись с духом, объяснил ему свою нужду, прибавя, что в нём его единственная надежда.

"Вам надобно десять тысяч, — сказал Опальский, — завтра же я вам их доставлю; что вы ещё требуете?"

"Помилуйте, — вскричал восхищённый Дубровин, — что я могу ещё требовать? — Вы возвращаете мне жизнь неожиданным вашим благодеянием. Как мало людей вам подобных! Жена, дети опять с хлебом; я, она до гробовой доски будем помнить…"

"Вы ничем мне не обязаны, — прервал Опальский. — Я не могу отказать вам ни в какой просьбе. Этот перстень... (тут лицо его снова омрачилось) этот перстень даёт вам беспредельную власть надо мною... Давно не видал я этого перстня... Он был моим... но что до этого? Ежели я вам более не нужен, позвольте мне докончить мою работу: завтра я к вашим услугам".

Едучи домой, Дубровин был в неописанном волненьи. Неожиданная удача, удача, спасающая его от неизбежной гибели, конечно, его радовала, но некоторые слова Опальского смутили его сердце. "Что это за перстень? — думал он. — Некогда принадлежал он Опальскому; мне подарила его жена моя. Какие сношения были между нею и моим благодетелем? Она его знает! Зачем же всегда таила от меня это знакомство? Когда она с ним познакомилась?" Чем он более думал, тем он становился беспокойнее; всё казалось странным и загадочным Дубровину.

"Опять отказ? — сказала бедная Александра Павловна, видя мужа своего, входящего с лицом озабоченным и пасмурным. - Боже! что с нами будет!" Но, не желая умножить его горести: "утешься, — прибавила она голосом более мирным, — Бог милостив, может быть, мы получим помощь, откуда не чаем".

"Мы счастливее, нежели ты думаешь, — сказал Дубровин. — Опальский даёт десять тысяч... Всё слава Богу".

- "Слава Богу? отчего же ты так печален?"
- "Так, ничего... Ты знаешь этого Опальского?"
- "Знаю, как ты, по слухам... но ради Бога..."
- "По слухам... только по слухам. Скажи, как достался тебе этот перстень?"

"Что за вопросы! Мне подарила его моя приятельница Анна Петровна Кузмина, которую ты знаешь: что тут удивительного?"

Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности своего свидания с Опальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного, с ним помирилась. Между тем она сгорала любопытством. "Непременно напишу к Анне Петровне, — сказала она. — Какая скрытная! никогда не говорила мне об Опальском. Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны".

На другой день, рано поутру, Опальский сам явился к Дубровину, вручил ему обещанные десять тысяч и на все выражения его благодарности отвечал вопросом: "Что ещё прикажете?"

С этих пор Опальский каждое утро приезжал к Дубровину, и "что прикажете" было всегда его первым словом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему, наконец привык к этой странности и не обращал на неё внимания. Однакож он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одною пустою поговоркою. Дубровин рассказал ему о своем деле, и на другой же день явился к нему стряпчий и подробно осведомился о его тяжбе, сказав, что Опальский велел ему хлопотать о ней. В самом деле, она в скором времени была решена в пользу Дубровина.

Дубровин прогуливался однажды с женою и Опальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревни, по ней рассыпанные, на зелёный луг, расстилающийся перед нею на необъятное пространство, был прекрасен. "Здесь бы, понастоящему, должно было построить дом, — сказал Дубровин, — я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи, кровля течёт, надо строить новые, и где же лучше?" — На другое утро крестьяне Опальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным, и вскоре поднялся красивый, светлый домик, в который Дубровин перешёл с своим семейством.

Не буду рассказывать, по какому именно поводу Опальский помог ему развести сад, запастись тем и другим: дело в том, что каждое желание Дубровина было тот же час исполнено.

Опальский был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и учёным человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку облагодетельствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навёртывались на глаза его слезы: "Благодарю вас, вы ко мне очень снисходительны!"

Анна Петровна отвечала на письмо Александры Павловны. Она не понимала её намеков, уверяла, что и во сне не видывала никакого Опальского, что перстень был подарен ей одною из её знакомок, которой принёс его дворовый мальчик, нашедший его на дороге. Таким образом, любопытство Дубровиных осталось неудовлетворенным.

Дубровин расспрашивал об Опальском в его поместье. Никому не было известно, где и как он провел свою молодость; знали только, что он родился в Петербурге, был в военной службе, наконец, лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. Единственный крепостной служитель, находившийся при нём, скоропостижно умер дорогою, а наёмный слуга, с ним приехавший и которого он тотчас отпустил, ничего об нём не ведал.

Народные слухи были занимательнее. Покойный приходский дьячок рассказывал жене своей, что однажды, исповедуясь в алтаре, Опальский говорил так громко, что каждое слово до него доходило. Опальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве; признавался, что ему от роду 450 лет, что долгая эта жизнь дана ему в наказание, и неизвестно, когда придёт минута его успокоения. Многие другие были россказни, одни других замысловатее и нелепее; но ничто не объясняло таинственного перстня.

Беспрестанно навещаемый Опальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома (Опальский собирал травы в окрестности), он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла его внимание. Она содержала в себе следующую повесть:

«Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши; жизнь могла для него быть одним долгим праздником... Две страсти — любопытство и любовь — довели его до погибели.

Несмотря на набожность, в которой его воспитывали, на ужас, внушаемый инквизицией (это было при Филиппе II), рано предался он преступным изысканиям: тайно беседовал с учёными жидами, рылся в кабалистических книгах долго, безуспешно; наконец край завесы начал перед ним приподыматься.

Тут увидел он в первый раз донну Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию её взоров. Она заметила любовь его и сначала казалась благосклонною, но мало-помалу стала холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно дон Педро де-ла-Савина владел её сердцем. С бешенством упрекал он Марию в её перемене. Она отвечала одними шутками; он удалился, но не оставил надежды обладать ею.

Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его, наконец, увенчалось несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое, он испытывал новую магическую фигуру. Работа приходила к концу; он провёл уже последнюю линию: напрасно! .. фигура была недействительна. Сердце его кипело досадою. С горькою внутреннею усмешкою он увенчал фигуру свою бессмысленным своенравным знаком. Этого знака недоставало... Покой его наполнился странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза... Лёгкий прозрачный дух стоял перед ним, вперив на него тусклые, но пронзительные свои очи.

"Чего ты хочешь?" — сказал он ему голосом тихим и тонким, но от которого кровь застыла в его сердце и волосы стали у него дыбом. Антонио колебался, но Мария предстала ему со всеми своими прелестями, с лицом приветливым, с глазами, полными любовию... Он призвал всю свою смелость. «Хочу быть любим Мариею», — отвечал он голосом твердым.

"Можешь, но с условием".

Антонио задумался. "Согласен! — сказал он, наконец, — но для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу власти и знания: тайна природы будет мне открыта?"

"Будет, — отвечал дух. — Следуй за своею тенью". Дух исчез. Антонио встал. Тень его чернела у дверей. Двери отворились: тень пошла, — Антонио за нею.

Антонио шёл, как безумный, повинуясь безмолвной своей путеводительнице. Она привела его в глубокую уединённую долину и внезапно слилась с её мраком. Всё было тихо, ничто не шевелилось... Наконец земля под ним вздрогнула... Яркие огни стали вылетать из неё одни за другими; вскоре наполнился ими воздух: они метались около Антонио, метались миллионами; но свет их не разогнал тьмы, его окружающей. Вдруг пришли они в порядок и бессчисленными правильными рядами окружили его на воздухе. "Готов ли ты?" — вопросил его голос, выходящий из-под земли. "Готов", — отвечал Антонио.

Огненная купель пред ним возникла. За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии. По правую свою руку он увидел огромную ведьму, по левую такого же демона.

Как описать ужасный обряд, совершённый над Антонио, эту уродливую насмешку над священнейшим из обрядов! Ведьма и демон занимали место кумы и кума, отрекаясь за неофита Антонио от Бога, добра и спасения; адский хохот раздавался по временам вместо пения; страшны были знакомые слова спасения, превращённые в заклятия гибели. Голова кружилась у Антонио; наконец прежний свист раздался; всё исчезло. Антонио упал в обморок, утро возвратило ему память, он взглянул на Божий мир — глазами демона: так он постигнул тайну природы, ужасную,

бесполезную тайну; он чувствовал, что всё ему ведомо и подвластно, и это чувство было адским мучением. Он старался заглушить его, думая о Марии.

Он увидел Марию. Глаза её обращались к нему с любовию; шли дни, и скорый брак должен был их соединить навеки.

Лаская Марию, Антонио не оставлял свои кабалистические занятия; он трудился над составлением талисмана, которым хотел укрепить своё владычество над жизнью и природой: он хотел поделиться с Марией выгодами, за которые заплатил душевным спасением, и вылил этот перстень, впоследствии послуживший ему наказанием, быть может лёгким в сравнении с его преступлениями.

Антонио подарил его Марии; он ей открыл тайную его силу. "Отныне нахожусь я в совершенном твоём подданстве, — сказал он ей: — как всё земное, я сам подвластен этому перстню; не употребляй во зло моей доверенности; люби, о люби меня, моя Мария".

Напрасно. На другой же день он нашел её сидящею рядом с его соперником. На руке его был магический перстень. "Что, проклятый чернокнижник, — закричал дон Педро, увидя входящего Антонио: — ты хотел разлучить меня с Марией, но попал в собственные сети. Вон отсюда! жди меня в передней!"

Антонио должен был повиноваться. Каким унижениям подвергнул его дон-Педро! Он исполнял у него самые тяжёлые рабские службы. Мария стала супругою его повелителя. Одно горестное утешение оставалось Антонио: видеть Марию, которую любил, несмотря на ужасную её измену. Дон Педро это заметил. "Ты слишком заглядываешься на жену мою, — сказал он. — Присутствие твоё мне надоело: я тебя отпускаю". Удаляясь, Антонио остановился у порога, чтобы ещё раз взглянуть на Марию. «Ты ещё здесь? — закричал дон Педро: — ступай, ступай, не останавливайся!"

Роковые слова! Антонио пошёл, но не мог уже остановиться; двадцать раз в продолжение ста пятидесяти лет обошел он землю. Грудь его давила усталость; голод грыз его внутренность. Антонио призывал смерть, но она была глуха к его молениям; Антонио не умирал, и ноги его всё шагали. "Постой!" — закричал ему, наконец, какой-то голос. Антонио остановился, к нему подошёл молодой путешественник. "Куда ведёт эта дорога?" — спросил он его, указывая направо рукой, на которой Антонио увидел свой перстень. "Туда-то..." — отвечал Антонио. "Благодарю", — сказал учтиво путешественник и оставил его. Антонио отдыхал от полуторавекового похода, но скоро заметил, что положение его не было лучше прежнего: он не мог ступить с места, на котором остановился. Вяла трава, обнажались деревья, стыли воды, зимние снега падали на его голову, морозы сжимали воздух, — Антонио стоял неподвижно. Природа оживлялась, у ног его таял снег, цвели луга, жаркое солнце палило его темя... Он стоял, мучился адскою жаждою, и смерть не прерывала его мучения. Пятьдесят лет провёл он таким образом. Случай освобождал его от одной казни, чтобы подвергнуть другой, тягчайшей. Наконец...»

Здесь прерывалась рукопись. Всего страннее было сходство некоторых её подробностей с народными слухами об Опальском. Дубровин нисколько не верил колдовству. Он терялся в догадках. "Как я глуп, — подумал он напоследок: — это перевод какой-нибудь из этих модных повестей, в которых чепуху выдают за гениальное своенравие".

Он остался при этой мысли; прошло несколько месяцев. Наконец Опальский, являвшийся ежедневно к Дубровину, не приехал в обыкновенное свое время. Дубровин послал его проведать. Опальский был очень болен.

Дубровин готовился ехать к своему благодетелю, но в ту же минуту остановилась у крыльца его повозка.

"Марья Петровна, вы ли это? — вскричала Александра Павловна, обнимая вошедшую, довольно пожилую женщину. — Какими судьбами?"

"Еду в Москву, моя милая, и, хотя ты 70 верст в стороне, заехала с тобой повидаться. Вот тебе дочь моя, Дашенька, — прибавила она, указывая на пригожую девицу, вошедшую вместе

с нею. — Не узнаешь? ты оставила ее почти ребенком. Здравствуйте, Владимир Иванович, привёл Бог ещё раз увидеться!"

Марья Петровна была давняя дорогая приятельница Дубровиных. Хозяева и гости сели. Стали вспоминать старину; мало-помалу дошли и до настоящего. "Какой у вас прекрасный дом, — сказала Марья Петровна, — вы живете господами". — "Слава Богу! — отвечала Александра Павловна, — а чуть было не пошли по миру. Спасибо этому доброму Опальскому". — "И моему перстню», — прибавил Владимир Иванович. "Какому Опальскому? какому перстню? — вскричала Марья Петровна. — Я знала одного Опальского; помню и перстень... Да нельзя ли мне его видеть?"

Дубровин подал ей перстень. "Тот самый, — продолжала Марья Петровна: — перстень этот мой, я потеряла его тому назадлет восемь... О, этот перстень напоминает мне много проказ! Да что за чудеса были с вами?" Дубровин глядел на неё с удивлением, но передал ей свою повесть в том виде, в каком мы представляем её нашим читателям. Марья Петровна помирала со смеху.

Всё объяснилось. Марья Петровна была донна Мария, а сам Опальский, превращённый из Антона в Антонио, страдальцем таинственной повести. Вот как было дело: полк, в котором служил Опальский, стоял некогда в их околотке. Марья Петровна была то время молодой прекрасной девицей. Опальский, который тогда уже был несколько слаб головою, увидел её в первый раз на святках одетою испанкой, влюбился в неё и даже начинал ей нравиться, когда она заметила, что мысли его были не совершенно здравы: разговор о таинствах природы, сочинения Эккартсгаузена навели Опальского на предмет его помешательства, которого до той поры не подозревали самые его товарищи. Это открытие было для него пагубно. Всеобщие шутки развили несчастную наклонность его воображения; но он совершенно лишился ума, когда заметил, что Марья Петровна благосклонно слушает одного из его сослуживцев, Петра Ивановича Савина (дон Педро де-ла-Савина), за которого она потом и вышла замуж. Он решительно предался магии. Офицеры и некоторые из соседственных дворян выдумали непростительную шутку, описанную в рукописи: дворовый мальчик явился духом, Опальский до известного места в самом деле следовал за своею тенью. На это употребили очень простой способ: сзади его несли фонарь. Марья Петровна в то время была довольно ветрена и рада случаю посмеяться. Она согласилась притвориться в него влюбленною. Он подарил ей свой таинственный перстень; посредством его разным образом издевались над бедным чародеем: то посылали его верст за двадцать пешком с каким-нибудь поручением, то заставляли простоять целый день на морозе; всего рассказывать не нужно: читатель догадается, как он пересоздал все эти случаи своим воображением и как тяжёлые минуты казались ему годами. Наконец Марья Петровна над ним сжалилась, приказала ему выйти в отставку, ехать в деревню и в ней жить как можно уединеннее.

"Возьмите же ваш перстень, — сказал Дубровин: — с чужого коня и среди грязи долой". — "И, батюшка, что мне в нём?" — отвечала Марья Петровна. "Не шутите им, — прервала Александра Павловна, — он принёс нам много счастья: может быть, и с вами будет то же". — "Я колдовству не верю, моя милая, а ежели уже на то пошло, отдайте его Дашеньке: её беде одно чудо поможет".

Дубровины знали, в чём было дело: Дашенька была влюблена в одного молодого человека, тоже страстно в неё влюбленного, но Дашенька была небогатая дворяночка, а родные его не хотели слышать об этой свадьбе; оба равно тосковали, а делать было нечего.

Тут прискакал посланный от Опальского и сказал Дубровину, что его барин желает как можно скорее его видеть. "Каков Антон Исаич?" — спросил Дубровин. — "Слава Богу, — отвечал слуга: — вчера вечером и даже сегодня утром было очень дурно, но теперь он здоров и спокоен".

Дубровин оставил своих гостей и поехал к Опальскому. Он нашел его лежащего в постели. Лицо его выражало страдание, но взор был ясен. Он с чувством пожал руку Дубровина:

"Любезный Дубровин, — сказал он ему, — кончина моя приближается: мне предвещает её внезапная ясность моих мыслей. От какого ужасного сна я проснулся!.. Вы, верно, заметили расстройство моего воображения... Благодарю вас: вы не употребили его во зло, как другие, — вы утешили вашею дружбою бедного безумца! .."

Он остановился, и заметно было, что долгая речь его утомила: "Преступления мои велики, — продолжал он после долгого молчания. — Так! хотя воображение моё было расстроено, я ведал, что я делаю: я знаю, что я продал вечное блаженство за временное... Но и мечтательные страдания мои были велики! Их возложит на весы свои Бог милосердый и праведный".

Вошёл священник, за которым было послано в то же время, как и за Дубровиным. Дубровин оставил его наедине с Опальским.

"Он скончался, — сказал священник, выходя из комнаты, — но успел совершить обязанность христианина. Господи, приими дух его с миром!"

Опальский умер. По истечении законного срока пересмотрели его бумаги и нашли завещание. Не имея наследников, он отдал имение своё Дубровину, то называя его по имени, то означая его владетелем такого-то перстня; словом, завещание было написано таким образом, что Дубровин и владетель перстня могли иметь бесконечную тяжбу.

Дубровины и Дашенька, тогдашняя владетельница перстня, между собою не ссорились и разделили поровну неожиданное богатство. Дашенька вышла замуж по выбору сердца и поселилась в соседстве Дубровиных. Оба семейства не забывают Опальского, ежегодно совершают по нем панихиду и молят Бога помиловать душу их благодетеля.

6. <ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ ПОЭМЫ «НАЛОЖНИЦА» 1>

Сочинение, представляемое теперь публике, одно из тех, которое журналисты наши обыкновенно называют безнравственными, хотя обвинение в безнравственности довольно странно в государстве, имеющем цензуру и где *печатать позволяется*, являющееся на первом листе книги, уже ручается за безвредность её содержания.

Странно также, что г-да журналисты, позволяя себе столь неприличные обвинения, называя развратными произведения: «Руслана», «Онегина», «Цыган», «Нулина», «Эду», «Бал» и потому имея полное право поместить в тот же разряд и «Наложницу», до сих пор не определили, в чём, по их мнению, состоит нравственность или безнравственность литературных произведений.

Постараемся решить вопрос, равно важный для писателей и для читателей.

Журналисты наши выразили некоторые положительные требования. Воспевайте добродетели, а не пороки, говорили они; изображайте лица, достойные подражания; пишите для назидательной нравственной цели, не замечая, что каждое из сих требований противоречит другому.

Изобразить какую-либо добродетель — значит заставить её действовать, следственно, подвергнуть испытаниям, искушениям, т.е. окружить её пороками. Где нет борьбы, там нет и заслуги. Следственно, лицо, достойное подражания, не может выказываться иначе, как между лицами, ему противуположными.

Что такое нравственная цель литературного произведения? В чём состоит она? Есть люди, называющие нравственными произведениями только те, в которых наказывается порок и награждается добродетель. Мнение это некоторым образом противно нравственности, истине и религии. Ежели бы добродетель всегда торжествовала, в чём было бы её достоинство? Этого не хотело провидение, и здешний мир есть мир испытаний, где большею частию добродетель страждет, а порок блаженствует. Из этого наружного беспорядка в видимом мире и феологи и философы выводят необходимость другой жизни, необходимость загробных наград и наказаний, обещаемых нам откровением.

Нравственное сочинение не состоит ли в выводе какой-нибудь философической мысли, вообще полезной человечеству? Но чтобы в самом деле быть полезною, мысль должна быть истинною, следственно, извлеченною из общего, а не из частного. Как же, изображая только добродетель, играющую довольно второстепенную роль в свете, и минуя торжествующий порок, я достигну этого вывода? Я скажу мысль блестящую, но необходимо ложную, следственно, вредную.

Нет, скажуг наши противники, мы не требуем, чтобы вы изображали одну добродетель: изображайте и порок, но первую привлекательною, второй отвратительным.

Мы погрешим против истины: не все пороки имеют вид решительно гнусный. По большей части наши добрые и злые начала так смежны, что нельзя провести разделяющей линии между ними. В этом случае отменно истинны шуточные стихи Панара:

Trop de froideur est indolence, Trop d'activité turbulence,

_

¹ Название поэмы «Цыганка» в первой редакции. — Ред.

Trop de rigueur est dureté, Trop de finesse est artifice, Trop d'économie avarice, Trop d'audace témérité, Trop de complaisance est bassesse, Trop de bonté devient faiblesse, Trop de fierté devient hauteur, etc.²

Вот естественная причина той привлекательности, которую имеют иные пороки: мы обмануты сходством их со смежными им добродетелями, но должно заметить, что в самом увлечении нашем мы поклоняемся доброму началу, а не злому.

Нет человека совершенно добродетельного, т. е. чуждого всякой слабости, ни совершенно порочного, т. е. чуждого всякого доброго побуждения. Жалеть об этом нечего: один был добродетелен по необходимости, другой порочен по той же причине; в одном не было бы заслуги, в другом вины; следственно, ни в том, ни в другом ничего нравственного.

Характеры смешанные, именно те, которые так не любы г-дам журналистам, одни естественны, одни нравственны: их двойственность и составляет их нравственность. Одно и то же лицо является нам попеременно добродетельным и порочным, попеременно ужасает нас и привлекает. Федра, оплакивающая незаконную страсть свою, и Федра, ей уступающая, — две противуположные Федры; мы любим добродетельную, ненавидим порочную, и здесь мы не можем ошибиться, не можем принять добродетель за порок и порок за добродетель. Действия не смешаны, как характеры; действие добродетельное совершенно прекрасно, действие порочное совершенно безобразно, и нравственный вывод, о котором так хлопочут г-да журналисты, хлопочут до того, что ради оного предлагают нам удаляться от истины, изображая лица неестественные, — этот нравственный вывод внушает нам без всяких посторонних соображений всякое лицо, верно снятое с природы.

Но не безнравственно ли, скажут они, то участие, которое возбуждает в нас герой трагедии, романа, поэмы даже в ту минуту, когда он уступает преступному побуждению? Не говорит ли нам наше сердце, что и мы охотно совершили бы то же преступление, надеясь возбудить то же участие? Если означенное лицо без борьбы уступает искушению, оно не возбуждает участия, не возбуждает его и тогда, когда мы чувствуем, что оно не употребило всего могущества воли своей на победу преступной наклонности и позволило побороть себя, а не пало под силою обстоятельств, превышающих нравственную его силу. Побеждённые трояне возбуждают наше участие потому, что они защищались до последней крайности; побеждённые, они не ниже победителей; расчётливая сдача какой-нибудь крепости не восхищает нас, подобно падшей Трое, и никто не сравнивает её коменданта с божественным Гектором.

Должно прибавить, что творения, развивающие чувствительность, в то же время просвещают совесть. Ежели они располагают нас к лишнему числу искушений, они развивают в нас лишние способы противустоять им.

Рассматривая литературные произведения по правилам наших журналистов, всякую книгу найдём мы безнравственною. Что, например, хуже Квинта Курция? Он изображает привлекательно неистового честолюбца, жадного битв и побед, стоящих так дорого роду человеческому; кровь его не ужасает; чем больше её прольёт, тем он будет счастливее; чем дальше прострёт он опустошение, тем он будет славнее, а эту книгу будут читать юные властители! Что хуже Гомера? В первом стихе «Илиады» он уже показывает безнравственную цель свою, намерение воспевать порок:

 $^{^2}$ Избыток холодности — это равнодушие, избыток деятельности — суетность, избыток суровости — черствость, избыток тонкости — лукавство, избыток бережливости — скупость, избыток храбрости — безрассудство, избыток услужливости — низость, избыток доброты становится слабостью, избыток гордости становится высокомерием и т. д. (фр.). — Ped.

Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына!

Раскроем даже «Ивана Выжигина», творение г. Булгарина, писателя, который всех настоятельнее требует нравственной цели от современных сочинений. Найдёныш воспитывается в доме белорусского помещика, который кормит его и одевает довольно скудно, но и это благодеяние для подкидыша. Он за это платит ему неблагодарностью, помогает какомуто удальцу увезти дочь своего благодетеля и сам за нею следует. Потом ведёт жизнь бродяги, негоден и порядочен, смотря по обстоятельствам; получает толчок от одного офицера, за который не сердится; присваивает себе чужое имя; наконец, наследует два миллиона денег, женится по любви и живёт в совершенном благополучии. Что заключите вы из подобного романа? Какую нравственную мысль вы из него извлечёте, если даже узнаете, что он отменно хорошо раскупился? Ничто не придёт вам на ум, кроме старой русской пословицы: не родись ни хорош, ни умён, а родись счастлив; но что в ней назидательного?

Читатель видит, что подобным образом можно неопровержимо доказать вредное влияние всякого сочинения и из следствия в следствие заключить с логическою основательностью, что в благоустроенном государстве должно запретить литературу.

В таком случае должно запретить и человека. Но природа одарила его разумом не для невежества, одарила словом не для молчания. Какой незваный критик решится воспретить ему дозволенное провидением и тем явно противоречить его цели? Запретить человеку пользоваться его разумом — значит унизить его до животных, его лишённых.

Сами г-да журналисты, вероятно, на это не согласятся: их постигла бы общая участь человечества.

Чем согласиться критику на уничтожение литературы, следственно, на уничтожение человека, не благоразумнее ли взглянуть на неё с другой точки зрения: не требовать от неё положительных нравственных поучений, видеть в ней науку, подобную другим наукам, искать в ней *сведений*, а ничего иного?

Знаю, что можно искать в ней и прекрасного, но прекрасное не для всех: оно непонятно даже людям умным, но не одарённым особенною чувствительностью; не всякий может читать с чувством, каждый с любопытством. Читайте же роман, трагедию, поэму, как вы читаете путешествие. Странствователь описывает вам и весёлый юг, и суровый север, и горы, покрытые вечными льдами, и смеющиеся долины, и реки прозрачные, и болота, поросшие тиною, и целебные, и ядовитые растения. Романисты, поэты изображают добродетели и пороки, ими замеченные, злые и добрые побуждения, управляющие человеческими действиями. Ищите в них того же, чего в путешественниках, географах: известий о любопытных вам предметах; требуйте от них того же, чего от ученых: истины показаний.

Читайте землеописателей, и, не выходя из вашего дома, вы будете иметь понятие об отдалённых, разнообразных краях, которых вам, может быть, не случится увидеть собственными глазами. Читайте романистов, поэтов, и вы узнаете страсти, вами или не вполне, или совсем не испытанные; нравы, выражения которых, может быть, вы бы сами не заметили; узнаете положения, в которых вы не находились; обогатитесь мыслями, впечатлениями, которых вы без того бы не имели; приобщите к опытам вашим опыты всех прочтённых вами писателей и бытием их пополните ваше.

Ежели показания их верны, впечатление, вами полученное, будет непременно нравственно, ибо зрелище действительной жизни, развитие прекрасных и безобразных страстей, дозволенное в ней провидением, конечно, не развратительно и мир действительный никого ещё не заставил воскликнуть: как прекрасен порок! как отвратительна добродетель!

Из этого следует, что нравственная критика литературного произведения ограничивается простым исследованием: справедливы или несправедливы его показания?

Критика может жаловаться также на неполноту их, ибо самое полное описание предмета есть в то же время и самое верное. Можно сказать недостаточную правду. Есть истины относительные, которых отдельное выражение внушает ложное понятие.

Иностранные литературы имеют книги, по счастию неизвестные в нашей: это подробные откровения всех своенравий чувственности, подробные хроники развращения. Несмотря на то, что все их показания справедливы, книги сии, конечно, развратительны, но это потому, что их показания не полны. В действительной жизни за часами развратного упоения следуют часы тяжёлой усталости; какое отвращение возбуждают тогда в развратнике воспоминания нечистых его наслаждений! Выразите так же полно чувство последующее, как полно выразили предыдущее, и картина ваша не будет безнравственною: одно впечатление уравновесит другое. Ежели вы изобразили первые шаги разврата, изобразите и последние. Описав любострастие. злоупотребляющее силами юности, опишите и следствия злоупотребления. Представьте нам раннюю, болезненную старость сластолюбца, раннюю неспособность его не только к тем наслаждениям, которых несет он наказание, но и к обыкновенным, позволенным; ранний упадок умственных его способностей. Что будет поучительнее изображения преждевременно поседевшего разврата, в страданиях благоприобретённого недуга, смешащего не природным, но заслуженным тупоумием? И в этом изображении не будет ничего насильственного.

Невоздержность телесная приемлет мзду свою ещё в здешней жизни; временное тело обретает её во времени, между тем как неумирающий дух находит её только в вечности.

С творениями, о которых мы говорили, не должно смешивать эротические стихотворения, вакхические и застольные песни. Не упоминая уже о том, что из похвал красоте не следует позволительности разврата, в эротической поэзии чувственность обыкновенно уравновешивается чувством, и большая разница — живописать красоту, обладание которой может быть беспорочным, и живописать своенравия разврата, которые нельзя удовлетворить без преступления. Славить вино и обеды не значит проповедывать пьянство и обжорство. Каждый это разумеет. Державин, воспевающий иногда красоту и пиршества, Дмитриев, говорящий иногда о вине и поцелуях, Богданович, который

Киприду иногда являл без покрывала,

Батюшков, Пушкин, написавшие несколько эротических элегий и вакхических песней, конечно, не безнравственные писатели. Не говоря уже о том, что сии писатели не ограничивались выражением одного чувства: что подражатель Анакреона в то же время певец «Фелицы», певец «Бога»; что автор стихотворения «Счёт поцелуев» в то же время творец «Ермака» и преложитель высоких песней Давида; что «Душенька» изобилует не одними сладострастными картинами; что между шаловливыми стихотворениями Батюшкова есть и унылые, есть и высокие; что автор «Руслана» в то же время автор «Годунова» и что никто не принуждает читателя в целой книге стихотворений твердить одно для него соблазнительное, когда, перевернув страницу, он найдёт другое, впечатление которого исправит впечатление первого: вообще несправедливо быть строже к писателю, нежели к человеку; и ежели действие не вредит доброй славе одного, ещё менее его описание может вредить доброй славе другого.

Тем менее, что выбор предмета не столько зависит от самого писателя, сколько от свойства его дарований; что упрекать в разврате эротического поэта так же несправедливо, как упрекать в жестокости поэта трагического. Неужели вы думаете, что Анакреон не желал быть Гомером, Пропорций — Вергилием, Шолье — Расином и т. д.? Чем обширнее гений писателя, тем он полнее и разнообразнее в своих творениях, тем он вернее отражает действительность и тем он нравственнее. Но только Гомеры, Шекспиры являют нам полный мир в своих творениях. Дарования односторонние обрекают других на изображение частностей. Произведение одного имеет нужду быть пояснённым, пополненным произведением другого, и писатели сего рода только в своей совокупности доставляют нам то нравственное впечатление, которое производит один многообразный писатель.

Или не читайте, или читайте всё: иначе вы будете всегда в заблуждении. Читать одного автора с частным дарованием всё равно, что читать одну страницу в писателе многообъемлющем.

Раскройте Шекспира на монологе злодея, искусными софизмами ободряющего себя к преступлению, остановитесь на нём — и Шекспир будет для вас проповедником злодеяния; но прочтите всё творение, прочтите всего Шекспира, и самая эта страница будет наставительна; так и книга односторонняя занимает не лишнее место в библиотеке.

Журналисты наши говорят часто о юных читателях и юных читательницах, которым может быть вредно такое-то и такое-то произведение. Кто с этим спорит? Но нянька не позволяет ребенку играть ножом. Благоразумные наставники не дают своим воспитанникам книги, несообразные с их летами. Когда ж мы уже вышли из-под надзора, вступили в свет и можем всё видеть и всё слышать, мы можем и всё читать; и как не мир, а мы сами виновны, когда злоупотребляем жизнию, так не писатели, а мы сами виноваты, когда злоупотребляем чтением.

До сих пор мы говорили о книгах, преимущественно посвящённых изображению лиц и нравов, выражению страстей, чувств и впечатлений, но не говорили о книгах, писанных для доказательства того или другого мнения, книгах, писанных с положительною нравственною целью.

Книги сего рода подлежат тому же исследованию, что и первые. Мнение тогда только полезно и нравственно, когда оно справедливо, но всякий чувствует (не говоря уже о вреде, наносимом совершенно ложным нравственным понятием и который нельзя сравнивать со вредом, причиняемым неверным изображением характера, страсти или картины), всякий чувствует, что в подобных книгах развитие односторонней истины может иметь особенно пагубное влияние. Сколько преступлений, сколько бедствий народных произошло от превратных нравственных мнений, от частных истин, принятых за общие! Не буду исчислять их. Скажу только, что мало истин не относительных, следственно, мало книг, писанных с нравственною целью, т. е. посвящённых выражению одной избранной мысли, которых исключительное чтение не было бы вредно и влияние которых не было бы нужно уравновешивать чтением других, им противуречащих.

Заключим и надеемся, что заключит с нами и читатель, что в книге безнравственна только ложь, вредна только односторонность; но ни лжи, ни односторонности не существует там, где литература деятельна, где ложное показание тотчас рождает улику, где решение нравственного вопроса тотчас вызывает исследования и противуречия, где публика не осуждена на чтение одной указанной книги.

Просим читателя судить о нравственном достоинстве «Наложницы» по правилам, нами изложенным, а не по правилам, исповедуемым г-дами журналистами, по нашему мнению, довольно необдуманным.

7. АНТИКРИТИКА

В 10-м N Телескопа 1831 года помещён разбор Наложницы, на который, хотя поздно, мы позволим себе несколько замечаний.

Критик, порицая, во-первых, самое имя поэмы, старается доказать, что, хотя не в названии дело, название много значит. "Имя не безделица", — говорит он: — "по имени встречают, а по уму провожают; но для того, чтобы проводить, без сомнения надобно прежде встретить".

Автор назвал поэму свою *Наложницей*, потому что не нашёл названия точнее. Он не полагал его неблагопристойным, ибо его употребляют даже в учебных книгах. В любой из них прочтёте: Турецкий султан имеет столько-то жён и столько-то *наложниц*. Он не почитал его низким, ибо оно употребляется поэтами. В Борисе Годунове Марина говорит Самозванцу: вверяюся тебе

Не как раба желаний лёгких мужа, *Наложница* безмолвная твоя. —

Ежели не слово, то самый полный его смысл в ежедневном разговорном обращении. Все говорят, не краснея, о любовницах Людвига XIV. Должно заметить, что заменяют словом "любовница" другое, порицаемое критиком более в избежание педантизма, нежели неблагопристойности. Конечно, из двух однозначительных слов одно почитается пристойным, другое непристойным. Но кто немного подумает, тот увидит, что либо общество, которому они принадлежат преимущественно, либо нравы людей, у которых они чаще на языке, приобщают их к словам, не оскорбляющим стыдливости, или кладут на них печать отвержения; но слово "наложница", не принадлежащее языку разговорному, не употребительное нигде, слово книжное, может быть пристойным или непристойным только по существенному своему значению. Мы уже доказали, что светская утончённость не оскорбляется смыслом слова "наложница"; следовательно, автор поэмы под сим именем мог употребить его, не заслуживая порицания.

По имени встречают, говорит критик: это справедливо; но кому вредит автор, назвав поэму свою Наложницей, ежели в самом деле это название так ужасно? Одному себе. Многие, испугавшись имени, не прочтут сочинения и, что ещё хуже, не купят его; но в таком случае автор не подвергается осуждению моралиста, а только литературный делец может сердечно пожалеть о неловкости писателя, не умеющего сбывать с рук свои сочинения.

"Сам сочинитель, — говорит далее критик (стр. 223), — кажется, чувствовал, что впечатление, им производимое, не совсем может быть выгодным, ибо поспешил вооружиться предисловием, в котором, рассуждая о нравственности литературных произведений, старается укрепить её за новым своим произведением и тем обнаруживает желание предупредить соблазн, которого, очевидно, страшится". На странице же 238, изрекая окончательный суд поэме, критик объявляет её совершенно невинной.

Следственно, критик в отношении к нравственности порицает в Наложнице одно название; но автор не защищает его в своём предисловии, он даже о нём не упоминает; следственно, это предисловие писано не с тою целью, которую предполагает критик. Настоящая цель его очевидна: желание решить вопрос, — в чём состоит нравственность литературных произведений?

Критик, разбирая предисловие, укоряет автора в том, что он почитает литературу наукою, а не искусством, что он предлагает искать в ней истины, а не изящного (стр. 229-230). "В изящном зрелище действительности, — говорит критик, — эстетическая нравственность литературных произведений. Они должны быть изящны, и довольно" (стр. 232).

Автору принадлежит вопрос, в чём состоит нравственность литературных произведений? Он говорит о литературе только в отношении её к нравственности: он моралист, а не эстетик, и должен рассматривать литературу не как искусство, но как стихию, в одном случае вредоносную, в другом — благодетельную. Он не называет её наукой, а уподобляет науке. Таковые подобия весьма позволены, и мы увидим ниже, что сам критик на них не скупится. Сравнение это довольно точно, ибо литература весьма немногих занимает, как искусство, как способ творить изящное; всех же остальных занимает она, как представление жизни; как самая жизнь, ибо философия сознала тождество бытия и мысли. Жизнь есть наука в обширном её смысле, смысле, в котором принимает её автор предисловия.

Сочинитель, говоря о нравственности литературных произведений, не ищет её в их изяществе, потому что ищет условий нравственности для всех произведений словесности, а не для одних изящных. Изящное произведение всегда нравственно, положим; но оно может быть нравственным и не будучи изящным; что же в таком случае составляет его нравственность? Нельзя ли найти закона, обнимающего как изящные, так и неизящные творения? Автор видит его в истине показаний. С сим положением критик согласен, ежели оно относится к литературе вообще (стр. 232). Приходится ли оно к изящной? Посмотрим.

Что истинно, то нравственно, говорит автор предисловия. Нет, отвечает критик: что изящно, то нравственно; а в чём дело? В том, что в отношении к нравственности обе формулы однозначительны, с тою разницей, что одна объемлет всю литературу, а другая весьма немногие из её произведений, с тою разницей, что первая идёт прямо к делу, а другая требует объяснений. Критик и приводит оные, и, чтобы растолковать читателю, каким образом изящное всегда нравственно, он открывает ему — что бы вы думали? — что изящное всегда истинно. Вот слова его (стр. 232):

"Объяснимся подробнее. Какое существенное назначение всякого изящного творения? Воспроизведение действительной жизни по образцу изящества или, что то же, представление её в совершенном равенстве с собою. Мысль и действие разлагают элементы, из коих она слагается, порабощая их взаимно друг другу, но изящное произведение должно сдружать их в совершенную гармонию, точно так, как сдружены они рукою всехудожною в великом здании вселенной, которая есть образец высочайшего изящества".

Что говорит критик? — Что он признаёт мир действительный образцом высочайшего изящества; но, сказав выше, что нравственность литературных произведений в их изяществе, он признаё т его в то же время образцом высочайшей нравственности; из чего следует, что творение не может быть ни изящным, ни нравственным иначе, как верно отражая действительность, иначе, как будучи истинным.

"Неоспоримо, — продолжает критик, — что гармония, составляющая изящество великой вселенной, для нашего человеческого уха, постигающего её только в отдельных частях и дробных отрывках, звучит нередко яркими диссонансами: но сии диссонансы спасаются в всеобщей симфонии бесчисленных аккордов бытия, открывающейся иногда и нам в минуты превыше-земного одушевления".

Что это значит, ежели не то, что, творя изящное, мы угадываем истинное, и что чем изящнее творение, тем оно истиннее? Ибо сам критик говорит, что в минуты превыше-земного одушевления, т. е. художественного творчества, нам открывается симфония бесчисленных аккордов бытия, т. е. что в эти минуты мы видим яснее настоящее устройство вселенной, следственно глядим на неё с точки зрения самой истинной?

Зачем же критик требует от сочинителя предисловия, чтобы он сказал: что изящно, то нравственно, а не что истинно, то нравственно, когда он сам первое положение доказывает

последним? когда из собственных слов его явствует, что одно положение заключено в другом; когда одна формула частная, а другая всеобъемлющая, что именно было нужно для его рассуждения?

Из собственных доводов критика следует, что творение не может быть изящным иначе, как будучи истинным; но он объявил уже, что ежели оно изящно, оно нравственно; следовательно, ежели оно истинно, то тоже нравственно. Это рассуждение имеет всю ясность и всю силу математического доказательства и забавно напоминает аксиому: два количества, равные одному третьему, равны между собою. Это не вредит автору предисловия и доказывает ясно, что формула, им употребляемая, приходится литературе вообще и литературе изящной в особенности; следовательно, он употребил ту самую формулу, которую надлежало, ибо определено ею, в чём состоит нравственность литературных произведений как изящных, так и неизяшных.

"Автор, — говорит далее критик (стр. 234), — горько жалуется на журналистов, которые требуют от поэтов, чтобы они воспевали добродетели, а не пороки, изображали лица, достойные подражания. Не можем не подивиться добродушию автора предисловия, который считает достойными опровержения такие нелепые требования. Но более следовало уделить внимания людям, называющим нравственными произведениями только те, в которых наказывается порок и награждается добродетель, ежели ещё таковые люди существуют в наше время".

Предоставляем судить публике, существуют или нет предрассудки, которые опровергает автор предисловия; а ежели существуют, — чем предрассудок нелепее, тем он достойнее опровержения. Но когда бы сии предрассудки принадлежали даже и немногим, можно ли оставлять их без внимания в сочинении умозрительном? Что бы сказал критик о сочинителе курса математики, который пропустил бы в нем начальные теоремы, оправдываясь тем, что решение их довольно известно?

"Напрасно автор предисловия уверяет, что не все пороки имеют вид решительно гнусный. Шуточные стихи Панара, которыми он старается подкрепить мысль свою, ничего не доказывают. Ежели некоторые пороки кажутся нам иногда привлекательными, то это не почему иному, как потому, что представляются нам не в истинном виде. Сократ говаривал, что если бы добродетель могла явиться в человеческом образе, то нельзя бы было не полюбить её всем сердцем; противное должно сказать о пороке: это положительное безобразие!"

Автор доказывает своё положение не одними стихами Панара, которые он выписывает не в довод, а в объяснение своей мысли. Наши добрые и злые качества так смежны, говорит он, что нельзя провести разделяющей линии между ними. В этом случае отменно истинны стихи Панара:

Trop de froideur est indolence, Trop d'activite turbulence, Trop de rigueur est durete etc.

Вот естественная причина той привлекательности, которую имеют иные пороки: мы обмануты сходством их со смежными им добродетелями; но должно заметить, что в самом увлечении нашем мы поклоняемся доброму началу, а не злому.

Автор показывает ясно, о каких пороках он говорит: о пороках, смежных с добродетелями, о пороках, могущих нас обмануть сходством своим с ними. Сколько есть людей, готовых принять в себе и в других расточительность за щедрость, упрямство за твердость, гордость за самочувствие и т. д. Кто сомневается в том, что пороки всегда остаются пороками и чем-нибудь да отличаются от добродетелей? Но ежели в действительном их присутствии мы можем обмануться, нас по необходимости может подвергнуть тому же заблуждению и их искусственное изображение. Отчего? — Оттого, что они не имеют вида решительно гнусного; оттого (поневоле повторяем фразу автора), что они сходствуют с добродетелями, к которым примыкают.

Желание Сократа не опровергает, а подтверждает замечания автора. Он говорит: добродетель прекрасна; но, желая, чтобы она приняла видимый образ и тем покорила сердца людские, он ясней показывает, что в действительности она, по его мнению, никогда не предстаёт нам в полной своей красоте, из чего (следуя примеру критика) мы можем заключить, что, по мнению Сократа, и порок никогда не предстаёт нам в полном своём безобразии. Одно из двух: либо Сократ сетует, что ни добродетель, ни порок не являются нам: без примеси, либо он находит, что любовь к добродетели, отвращение от порока, т. е. законы нравственности, не довольно ясно истекают из воззрения на действительность; сии оба смысла в пользу автора предисловия и доказывают только, что во многих случаях не от сочинителя такого-то и такогото произведения должно требовать больше осмотрительности, а от судей его больше справедливости или внимания.

"Хладнокровный отчёт, передающий официальные извлечения из архивов соблазна и преступлений, сколько бы ни был справедлив и полон, есть произведение безобразное и безнравственное, или лучше: тем безобразнее и безнравственнее, чем справедливее и полнее".

В государствах, где судопроизводство публично, печатают уголовные процессы со всеми их подробностями; кажется, это в точном смысле извлечения из архивов соблазна и преступления. Никто, однакож, не подозревал до сих пор, что собрание уголовных процессов может иметь безнравственное влияние. Одни любострастные повести могут вредить нравственности; но автор сказал в своём предисловии, почему показания их неполны. Мы отвечали на все замечания критика касательно предисловия; доказали, что критик или не понял, или не хотел понять его, ибо он беспрестанно отклоняется от настоящего вопроса и говорит о законах изящного, когда дело идёт о законах нравственности. Он не опровергает ни в чём автора предисловия и повторяет другими словами его мысли. Чтобы опровергнуть предисловие, следовало опровергнуть основную мысль его: что истинно, то нравственно. Не только он не опровергает оную, но и сам на неё опирается, как на неоспоримую аксиому. Он упрекает автора в смешении понятий, в том, что он не умеет отличить литературы изящной от литературы вообще. Этот упрек принадлежит ему с большой справедливостью, и мы произносим его не самопроизвольно, но основываясь на неоспоримых доказательствах. Читатель чувствует, что критика, заключающая в себе столько противоречий, такое отсутствие всякой последовательности в мыслях и доводах, с одной стороны подвергаясь нещадным уликам анализа, с другой может повеселить охотника до шуток; но орудие шутки сделалось в наше время слишком обыкновенным. Кто не смеётся? Взгляните на наших полемиков! У всех на устах ядовитая улыбка Вольтера, у всех под пером его ирония. Мы приводили одни доказательства; нам это показалось убедительнее и новее.

Далее, в нескольких словах, критик отдаёт отчёт в самой поэме и, пользуясь тем, что автор в своем предисловии полагает, что нравственность литературных произведений состоит в истине и полноте показания, он не находит в поэме ни полноты, ни истины, из чего заключает, что поэма безнравственна, однако безвредна, потому что ничтожна. Зачем было автору видеть нравственность в истине? Критик поражает его собственным его орудием. — Не легче ли было бы ему, если б он находил её в изяществе, как то требует его критика? Поэма, сказал бы он, весьма неизящна, следственно, по собственному сознанию автора, весьма безнравственна; но утешим его: она безвредна, потому что ничтожна.

Выписываем то, что может почесться положительным обвинением и просим читателя заглянуть в 10 N Телескопа, дабы увериться, что мы нисколько не ослабляем замечаний критика и, когда можно, пользуемся собственными его словами.

Вся поэма кажется ему самопроизвольным сцеплением случаев, следственно неестественной, потому что:

- 1-е. Елецкой, оледеневший в распутстве до хвастовства развратом, не мог воспламениться к Вере идеальною любовию.
- 2-е. Елецкой не мог обратить на себя внимания Веры только тем, что подал ей на бульваре уроненную перчатку.

- 3-е. Дядя Веры не мог сесть ошибкою в карету, подосланную Елецким, ибо знал в лицо своего лакея.
- 4-е. Вера не могла согласиться так скоро на побег с Елецким, оглашённым развратником, которого смуглая однодомка была её знакомкой.
 - 5-е. Приворотное питьё обратилось в яд неведомо каким образом.

Поэма ничтожна, потому что, кроме Сары, все лица без физиогномии; а Елецкой не что иное, как тёмный силуэт Онегина.

- 1-е. Хвастовство развратом нисколько не показывает оледенелости в распутстве. Хвастливость эта в особенности свойственна самой пылкой, самой неопытной молодости. Желание первенствовать между повесами не есть ещё любовь к разврату; это не что иное, как дурно направленное славолюбие. Сей последний недостаток и выставлен в Елецком. Из него не следует сердечного охлаждения; напротив, он свидетельствует особенную способность к увлечению. Следственно, Елецкой весьма мог возгореться к Вере любовью, свойственною пылкому молодому человеку.
- 2-е. На это не нужно отвечать. Кто пересмотрит поэму, тот увидит, что не одна поданная перчатка обращает внимание Веры на Елецкого и что половины случаев, действующих на её воображение, достаточно, чтобы вскружить голову даже и неромантической девушке.
- 3-е. Сесть в чужую карету, в чужие сани, заехать к незнакомым вместо знакомых, обманувшись лёгким сходством домов, случаи весьма обыкновенные. В обществе ежедневно рассказывают анекдоты этого рода, и это случается без приготовления, среди белого дня, на всевозможном просторе; удивительно ли, что дядя Веры вдался в обман, когда всё было придумано для удобности этого обмана, в тесноте театрального разъезда, в торопливости, с которою обыкновенно садятся в поданную карету, боясь, чтобы её не отогнали? До того ли тут, чтобы подозрительно разглядывать физиогномию своего лакея? И зачем её разглядывать? Из боязни романтического происшествия? Но в это время повесть Елецкого ещё не была обнародована. Ныне, когда она напечатана, можно в подобном случае винить почтенных родственников в преступной неосмотрительности; но дядя Веры очень простителен.
- 4-е. Вера совсем не скоро соглашается на побег с Елецким: это согласие приготовлено всею повестью. Всякий беспристрастный читатель видит, что Вере не мудрено было влюбиться в Елецкого, а ежели она могла влюбиться, она могла и действовать, как влюбленная. Елецкой не развратник в глазах Веры; он в одном из разговоров с нею внушает ей понятие довольно выгодное о своём характере: он ей истолковывает, что его отступления происходили более от незрелости ума, нежели от испорченного сердца. Вера, уже к нему привязанная (ибо знакомство с Сарой не могло хладить любви её к Елецкому, напротив подстрекнуть её, возбудив в ней ревность), — Вера охотно слушает его извинения, охотно верит в совершенную его перемену, ибо приписывает её любви, любви к ней, что довольно приятно женскому самолюбию. Елецкой оправдан её сердцем, но для света, но для дяди он остаётся оглашённым развратником, и это самое заставляет Веру бежать с Елецким, ибо она чувствует, что никогда не вымолит у своего дяди согласия на их соединение. Как ей не довершить начатое? Как не дать ему счастие, которое она уже безмолвно обещала, слушая влюблённые его признания? и когда Елецкой при первом её отказе, вынужденном стыдливостью, а не сердечным убеждением, укоряет её в кокетстве, она должна показать любовь свою на деле. Не одно красноречие Елецкого в разговоре 7-й главы убеждает её к побегу, но все прежние, собственные её неосторожности; это общая история всех увлечений, и нужно объяснить её!
- 5-е. Правда, что автор поэмы не истолковывает, каким образом приворотное питьё обратилось в яд. Ему показалось это ненужным. Столько рассказов о несчастных следствиях невежества, прибегающего к этим колдовским настоям, часто составленным из самых вредных растений! Самому автору внушена развязка его поэмы подобным рассказом. Он не хотел обременять своей повести лишними подробностями, полагаясь на проницательность читателя. Ежели это недостаток, его легко исправить. При втором издании автор сделает выноску, в которой разрешит это недоумение.

На общие суждения поэмы отвечать нельзя: у всякого свой вкус, своё чувство, своё мнение; только сходство Елецкого с Онегиным кажется довольно странным. Онегин человек разочарованный, пресыщенный; Елецкой страстный, романтический. Онегин отжил, Елецкой только начинает жить. Онегин скучает от пустоты сердца; он думает, что ничто уже не может занять его; Елецкой скучает от недостатка сердечной пищи, а не от невозможности чувствовать: он ещё исполнен надежд, он ещё верит в счастье и его домогается. Онегин неподвижен, Елецкой действует. Какое же между ними сходство? И вот как у нас критикуют! Вся поэма кажется критику произвольным сцеплением случаев, а во всей поэме только одна случайность: смерть Елецкого; но она, во-первых, оправдана множеством истинных примеров, отнимающих у неё особенную необычайность; во-вторых, она есть некоторым образом следствие главной ошибки Елецкого, уповавшего найти счастие в неровном союзе. Унизившись до товарищества с невежеством, он, так или иначе, всё был бы его жертвою. Но просим критика найти роман, указать драму, где не было бы ничего случайного! И дельно ли требовать от сочинителя такого насилия? Случай в природе, как и характер. Поэма, вся основанная на случайностях, и поэма вовсе без случайностей — произведения равно неестественные, равно подлежащие осуждению. Перчатка, уроненная Верой, обстоятельство такое же обыкновенное, как обед, как ужин, и в нём мудрено видеть особенную игру судьбы. Всё же остальное в поэме; разговор в маскараде, подосланная карета, свидание на балах — всё следствие любви и характера Елецкого: он действует и создаёт обстоятельства. Просим читателя заметить, что каждое из сих обстоятельств довольно обыкновенно и что только в своей совокупности они составляют повесть, поражающую воображение. Спрашивается: в чём искусство романиста, ежели не в этом? И есть ли другой способ быть вместе естественным и занимательным?

Критик оканчивает свои замечания следующими словами: "Считаем не нужным заниматься наружною отделкою сочинения. Дозорчивая наблюдательность Московского Телеграфа выклевала уже по зернышку все типографические опечатки и другие буквальные недосмотры, следственно поживиться уже нечем... Желаем, чтобы муза поэта, уважаемого нами более многих других, после прошедших неудачных опытов, изменив ложные понятия об изящном, захотела быть не тем, что ныне, а... невестою истинно прекрасного!"

Первые строки мы охотно принимаем за иронию, за небрежную, следовательно, тонкую шутку над неблагонамеренною привязчивостию Московского Телеграфа. Не будем оспаривать чувства собственного преимущества, которое их внушило; заметим только, что они не на своём месте и что их могут принять за неосторожное признание. Отдадим справедливость критику: в пристрастном разборе его видно желание быть учтивым, и ежели встречаются выражения неприличия, в этом должно винить не критика, а неопытность его в слоге этого рода. Забавно только, что в единственном похвальном отзыве, которым он удостоил разбираемого им автора, виден тот же недостаток обдуманности, как и в его осуждениях: ежели все опыты сочинителя Наложницы были неудачны, за что же он его уважает?

II. ПИСЬМА

1. Родителям

1806, ноябрь, 5 (?), Вяжля

«Милая мая мамінька і папинка. Желаю вамъ всякаго здаровья и благополучія навсегда мы оченъ бы желали васъ скарее видить. а без васъ нам скушна: паприказанію вашему уведомляю васъ мы точно такъ, же играимъ как привасъ играли, сошичка ашичка вавычка и федичка мы все здоровы, изаочно цалуемъ вас нашы мілай: впрочем навсегда пребудемъ послушными: остаюсь покорный и послушнымъ вашъ сынъ евгеніи боратынскай».

<соблюдены орфография и пунктуация автографа>

2. Родителям

1806, ноябрь, 16 (?), Вяжля

«Любезьные мои папинька маминька и тіотінька, пакорнейше васъ благодарю за писание ваше цалую ваши ручку ожидаю нетерпеливо когда увижусъ съ вами, остаюсь ваш Евгеніи Боратынской».

3. Родителям

1806, ноябрь, Вяжля

«Любезный папинька и маминька — благодарим вас за игрушки мы желаем очень чтоб вы были здаровы. также скажу вам что мы славо богу здаровы и веселы — астаемся — покорные дети Евгений — Софья Ираклій — Боратынскіи».

4. Маменьке

1806, ноябрь — декабрь (?)

Перевод: «Любезная маменька. Я также счастлив узнать, что вы совершенно поправились. Ваш Евгений. Все братья благодаря Бога здоровы».

5. Маменьке

1807, январь, Вяжля

Перевод: «Милая маменька! Не могу выразить, как мы были приятно удивлены приездом любезной тетеньки, а особенно тем, что она подала нам надежду, что скоро мы будем иметь удовольствие видеть здесь вас и любезного папеньку, мы не могли бы получить более приятного известия, и мы все ждем этого счастливого дня, ваш послушнейший сын Евгений».

6. Тетушке Екатерине Андреевне

1807, Mapa

«Любезная тетинька желая вам быть здаровым благодарим вас за вашу милость и любовь мы очень желаем с вами видется все дети цалуют ручки ваши и любят вас, дедушке и обеим бабушкам цалую ручки. — Остаюсь Евгений Боратынский. — Ираклий. — Вава спит, Соша также».

7. Тетушке Екатерине Андреевне

1807, ноябрь, до 24, Мара

«Милая тетинька. — Поздравляем вас со днем вашего ангела и желаем вам всякого благополучия. Мы с Сонюшкою вышили для вас подвязки которые просим вас принять милостиво. Прошу засвидетельствовать глубочайшее наше почтение дедушке и дядиньке. Мы все целуем ваши ручки и любим вас от всего сердца. — Покорнейший ваш — племянник — Евгений Боратынской».

8. Богдану Андреевичу

1811, июнь, середина месяца (?), Мара

«Любезный Дядинька. — Мы очень были обрадованы узнавши от тетиньки что вам по лучше и что вы уже катались в ваших дрожках; тетинька также сказывала что у вас есть прекрасные две лошади, я думаю что вам очень весело на них кататься благодарю вас любезной дядинька что вы прислали сюда Клепера. Когда мы приехали в Вяжлю так нам показывали всех ваших лошадей но как я вам стал расказывать приключение приезда разкажу вам и отъезда как великий путишественник. Мы выехали из Москвы в 6 часов по полудни и разположились: маминька и тетинька в карете, я и Mosieur Bories в колязке а маленькие дети в другой карете в брычке и двух повозках ехали постели и говядина и так мы выехали из Москвы. В сей день с нами ничего важного не случилось что от пыли только мы все чихали. Но как приехали на станцию то от хорошаго куска курицы все позабыли и так мы дотащились щастливо до Коломны. Когда мы выехали из Коломны то колесо у колязки начало танцавать так что на всяком шагу боялись упасть, впротчем дорога была щастлива. И так мы приехали. Прощайте любезной дядинька будьте веселы и здоровы. Остаюсь покорнейший ваш племянник — Евгений Боратынский. Мопsieur Вогies просит меня засвидетельствовать его почьтение столько вам как и всем нашим родным».

9. Екатерине Андреевне

1811, июнь, середина месяца (?), Мара

«Любезная тетинька — Будьте здоровы и благополучны цалуем ваши ручки. Мы как только приехали так и прямо к вам в дом, где мы были приняты как гости и думали что в самом деле у вас в гостях; все нам обрадовались так как мы обрадуемся когда вы приедете. Остаюсь покорнейший ваш племяньник — Евгений Боратынский».

10. Маменьке

1812, май, Петербург

Перевод: «Любезная маменька. Я только что получил ваше письмо и благодарен вам за него, я благодаря Бога здоров. Ах, маменька, что за прелесть, Нева уже очистилась ото льда, сколько лодок и сколько парусников, сколько кораблей, но между тем, маменька, без вас все кажется мне бесцветным, ибо когда я уезжал, я еще не чувствовал всей печали, которую принесет наша разлука, я не познавал ее, но теперь, маменька, каково же различие. Петербург поразил меня красотой, все вокруг кажется мне блаженствующим, но у всех здесь свои матери; я надеялся, что смогу радоваться с товарищами, но нет, каждый играет с другим как с игрушкою, без дружбы, без привязанности! Какое различие с тем, когда я был вместе с вами! В последние дни, пред отъездом, несмотря на печаль и чувствуя еще наслаждение быть с вами вместе, я, откровенно говоря, думал, что мне будет много веселее со своими сверстниками, чем с маменькой, ибо она взрослая, но увы, маменька, как я ошибался; я надеялся обрести дружбу,

но не обрел ничего, кроме равнодушной и неискренней учтивости, кроме дружбы корыстной; когда у меня было яблоко или что другое, моими друзьями были все, но потом, потом все как пропадало, но, маменька, у меня более нет времени писать; прощайте, будьте здоровы. Обнимаю всех. — Евгений».

11. К маменьке

1812, май, 30, Петербург

Перевод: «Любезная маменька. Прошу вашего прощения за беспокойство, которое я вам доставил своим молчанием. Я не был болен. Иван Иванович по-прежнему в Москве. Вот почему я не повидал его: на следующий день после нашего приезда в Москву я попросил у тетушки разрешения повидать своего кузена; лишь только я вышел, тетушка отправилась повидать Анну Николаевну и Катерину Николаевну, и поскольку у нее не было времени меня ждать, она уехала одна. По возвращении она сказала, что Иван Иванович будет у нас в понедельник. Но он не появился, а во вторник мы уехали. Вот, собственно, и все. — Уже две недели, любезная маменька, как я в пансионе. В первую неделю, в субботу, у нас был экзамен. Дядюшка на нем присутствовал. На следующей неделе в четверг после уроков у нас был бал, и было много барышень, и когда стали танцевать экосез, у одной вдруг оборвались бусы и рассыпались по всему полу, и еще лопнула струна у контрабаса. Если бы вы видели, как все бросились подбирать раскатившиеся бусинки и больше их пораздавили, чем подобрали. Я очень доволен, что Аш носит мои шпоры, и был бы еще больше доволен, если бы он носил мой мундир. Посылаю ему с тетушкой кораблик, Ваве — шлем, а Софи и Саше — модные туфли; скажите им, чтобы они сделали побольше кукол — катать на корабликах. — Обнимаю их всех; прощайте, любезная маменька, будьте здоровы так же, как я, и главное — не переживайте слишком. — Евгений. <...> и благодарю ее за письмо, дядюшке и тетушкам целую ручки. Поклон г. Борье. Скажите Варваре Николаевне, что я напишу ей со следующей почтой, сейчас же у меня нет времени. — Ваш Евгений».

12. К младшим братьям и сестрам

1812, май, 30, Петербург

Перевод: «Любезные братья и сестры. У меня нет времени много писать, но кое-что скажу. Я вас очень люблю и не забываю. Разучите хорошенько нашу комедию к приезду тетушки, чтобы доставить ей удовольствие. Любезные Софи и Александрина, носите туфли, которые я вам посылаю. Надеюсь, любезный Аш, ты носишь мои шпоры. Прощайте, любезные друзья, братья и сестры, вспоминайте басню о крестьянине и его детях и обо мне — Евгений».

13. Маменьке

1812, июнь, Петербург

Перевод: «Любезная маменька. Благодарю вас за письмо, я, слава Богу, здоров, только немного кашляю: это, впрочем, не мешает мне проводить весело каникулы. Вы пишете мне, что игрушки, посланные братьям и сестрам, в их вкусе. Очень этому рад, досадно только, что вскоре после того, как я послал Ашу кораблик с такими плохо сделанными снастями, однажды, идя с дядюшкой из пансиона, я увидел матроса, продающего кораблик в два раза больше и несравненно лучше, чем тот, что я отправил, и всего на рубль дороже, но, впрочем, это неважно — наши столяры сделают еще лучше, лишь бы у них был образец, только нужно его покрасить.

Пожалуйста, напишите мне, хорошо ли плавает посланный кораблик? Скажите Ашу, чтобы он не боялся пускать кораблик по воде, только надо прикреплять грузик к днищу, чтобы он не опрокинулся. Напишите мне, пожалуйста, есть ли смородина в нашем саду, как растут деревья, как за ними ухаживают, приведены ли в порядок дорожки? Прощайте, любезная маменька, желаю вам чувствовать себя так хорошо, как я вам этого желаю. Целую Софи, Александрину, Наташу, Вариньку. Ах маменька, у меня теперь есть братец, а у вас племянник: тетушка родила сына. Как он прелестен! Зовут его Иван. Поздравляю вас, маменька, равно как тетушек и дядюшку Целую Аша и Ваву. — Евгений». Приписка Екатерине Федоровне Черепановой: «Любезная тетинька. — Благодарю вас за письмо. Поздравляю вас с приездом с племянником: у тетиньки Софье Ивановне <так!> родился сын. Прощайте, любезная тетинка, будьте здоровы. — Евгений».

14. Маменьке

1812, август, Петербург

«Любезная маминька. Вы мне говорите, чтоб я вам писал обо всем, что я учусь. Хорошо, я вам обо всем етом напишу. В географии теперь я скоро Европу кончу, а после каникулов начну Азию. Я все хорошо отвечал на те земли, которые я учил, и начал продолжение того, чего я учил у вас, но как у нас очень сокращено, то в 3 месяца я ее успел окончить. Мы екст<р>акт учим наизусть, а что касается до подробностей, то мы их читаем. В истории я начал с пунических войн, а по-немецки я могу кой-что переводить и начинаю говорить немного. По-французски я делаю переводы и сочинения на какой-либо предмет так же как по-русски, рисую же я головки и я стану рисовать в каникулы что-нибудь и вам пошлю, а в каникулы стану я учить геометрию и на скрыпке. С Вашинькой и Алексашей я вижусь всякое воскресенье, а в каникулы станем вместе гулять. Прощайте, любезная маминька, будьте здоровы. Целую Ашичку, Вавычку, Сошичку, Сашиньку, Наташу и Вариньку. Дядиньке Богдану Андреевичу и тетиньке Катерине Федоровне и Катерине Андреевне целую ручки, также и Варваре Николаевне, Александре Николаевне, Авдотье Николаевне свидетельствую мое почтение и благодарю усердно за письмо. Кланяюсь М. Вопез. — Евгений».

15. Маменьке

1812, декабрь (?), Петербург

«Любезная маминька. — Мне очень прискорбно слышать, что я имел нещастие вас огорчить, но впредь я буду исправнее. Я теперь уже два месяца в пажеском корпусе. Меня екзаменовали и поместили в 4-й класс, в отделение же г-на Василия Осиповича Кристофовича. Ах, маминька, какой это добрый офицер, притом же он знаком дядиньке. Лишь только я определился, позвал он меня к себе, рассказал все, что касается до корпуса, даже и с какими из пажей могу я быть другом. Я к нему хожу всякой вечер с другими пажами, которые к нему ходят. Он только зовет к себе тех, которые хорошо себя ведут. Я очень удивлен тем, что вы не получили от меня известие об отъезде дядиныси Петра Андреевича в Свеабург, ибо я вам писал об том два раза. Географию я начал сызнова, перевожу с французского на русский и с русского на французский и с немецкого на русский. Российскую историю также теперь учу и прошел три периода, а учу 4-ой царствование великого князя Юрия 2-го Всеволодовича, также начал я геометрию. Встаем мы в 5 часов, в $\frac{1}{2}$ 6-го на молитву до 6-ти, потом к чаю до $\frac{1}{2}$ 7-го, в классы в 7 до одиннадцати, в 12 обедать, а потом в классы от 2-х до 4-х, в 7 часов и в 8 часов ложимся спать. Посылаю к вам реестр издержек при вступлении моем в корпус. Прощайте, любезная маминька, будьте здоровы. Целую братцев и сестриц. Остаюсь вас много любящий сын Евгений Боратынский».

1813, февраль, 23, Петербург

Перевод: «Любезная маменька. Не могу описать вам удовольствие, которое ощутил я, читая ваше письмо. Любезная маменька приедет летом повидаться со мной — больше мне нечего желать! Ах, любезная маменька, я жду с таким нетерпением, что срок этот кажется мне очень долгим. До лета еще три месяца — это так много, но придется смириться. Ныне у нахожусь у дядюшки Ильи Андреевича, Петр Андреевич еще не приехал, но мы ждем его вот-вот. Прошу вас сказать Вариньке, что братья ее чувствуют себя хорошо, лишь старший немного болен, но это пройдет; вчера мы провели весь день вместе. Дядя получил 700 рублей, о которых вы пишете, и очень удивлен, что вам это неизвестно, ибо с тех пор он дважды писал вам об этом. Вы пишете мне, что мне нечего тревожиться о матери, но разве есть для меня в мире кто-нибудь дороже матери, да еще такой доброй и нежной, как вы? Ах, маменька, сын, который не тревожится о своей матери, — не сын. Федот чувствует себя хорошо, дядя заказал ему сюртук, но белья и панталонов у него не осталось. Прощайте, любезная маменька, будьте здоровы. Обнимаю дорогих братьев и сестер, дядю, тетушек и благодарю Александру Николаевну за письмо. — Дорогой господин Борье, благодарю вас от всей души за письмо; оно доставило мне большое удовольствие. Но оставьте, прошу вас, эти гадкие слова о «смиреннейшем слуге», ничто я так не ненавижу как нелепую церемонность. Я хочу, чтобы вы употребляли имя друга, ведь мы расстались с вами друзьями. Прощайте, мой старый друг, будьте здоровы. — Евгений».

17. Маменьке

1813, апрель, до 13, Петербург

Перевод: «Любезная маменька. Спешу ответить на ваше письмо и поздравить вас с Пасхой. Нынче я у дяди. Надеюсь, после праздников меня переведут в 3-й класс. У нас 25 человек выпущены офицерами, и это уже третий раз в этом году; ученики последних классов, еще не выучившие четырех арифметических действий, могут стать офицерами, лишь бы им уже исполнилось 17 лет. Вы спрашиваете меня о моем слуге: он здоров, денег, что вы ему послали, ему хватает на одежду — так он говорит; ведет он себя очень хорошо. Пожалуйста, любезная маменька, пришлите мне историю России, которую вы мне подарили, маленького Грандиссона, Сендфорда и Мертона и идиллии; прощайте, любезная маменька, будьте здоровы. Целую ручку любезному дядюшке и тетушкам. Обнимаю братцев и сестриц, передайте, прошу вас, Вареньке, что братья ее здоровы, мы вместе играем. Иван Иванович приехал. — Евгений».

18. Маменьке

1814, июль (?), Петербург (?)

Перевод: «Любезная маменька. — С глубочайшей печалью мы узнали о смерти нашей бабушки. Я не имел счастья знать ее, но если она была похожа на вас, как бы я должен был ее любить! Я понимаю вашу печаль, но, любезная маменька, подумайте, что это закон природы. Мы рождаемся, чтобы умереть, и часом раньше или позже, но все равно надлежит покинуть навсегда этот крохотный атом, состоящий из праха и называемый землей. Будем надеяться, что в ином мире мы сможем увидеть всех, кто был нам дорог здесь. Бог нас любит и, вероятно, не захочет ввергнуть нас после жизни, подверженной стольким ударам судьбы, в печальную вечность страданий. Мы отдали сегодня последний долг памяти нашей бабушки. Церковные церемонии полезны прежде всего для утешения сердца. Быть может, это заблуждение, но я верен этому заблуждению, ибо оно утешает меня в печалях. Прощайте, любезная маменька, желаю, чтобы эта потеря не слишком вас огорчала, но я не осмеливаюсь просить вас забыть ее, ибо знаю, как такие удары поражают чувствительное сердце. — Е. Боратынский».

1814, август(?), Петербург

Перевод: «Любезнейшая маменька. Итак, дядюшка уезжает в деревню, я останусь здесь один. С нетерпением жду приезда Петра Андреевича с моим братом. Какое удовольствие я получу от его рассказов обо всем, чем вы занимались в мое отсутствие, он беспрестанно будет рассказывать мне о вас, о братьях, о сестрах, обо всем драгоценнейшем, что только есть у меня в мире. — Почтеннейший Николай Антонович позволяет ему остановиться у него, и я буду иметь удовольствие постоянно его видеть. Из всех даров, коими нас наградил Всевышний, ничто не вселяет в мою душу такую признательность, как воображение и надежда. Воображение поддерживает нас в несчастьях, в разлуке; надежда вскоре увидеть предмет наших желаний сокращает время, которое мы проводим вдали от него. Воображение переносит меня в ваши объятия, любезная маменька; мне даже кажется, что я говорю с вами. Желал бы я, чтоб какойнибудь добрый волшебник заколдовал меня, и мне вечно бы казалось, будто я нахожусь подле вас. Я был бы ему от всей души признателен за его деяние. Вы хотите, любезная маменька, прислать мне «Юных изгнанников», но это лишнее, ибо я уже читал их три, а может быть, даже четыре раза. Прощайте, любезная, добрая маменька, будьте так здоровы, как я вам этого желаю. Да ниспошлет мне милостивый Господь возможность увидеться с вами однажды. Целую ручки любезным дядюшкам и тетушке; обнимаю братьев и сестер. Сделайте милость, поклонитесь от меня г. Борье. Честь имею оставаться Вашим смиреннейшим и покорнейшим слугою и сыном — Евгений Боратынский».

20. Маменьке

1814, сентябрь-октябрь. Петербург

Перевод: «Любезнейшая маменька. Спешу написать вам до отъезда Аполлона Николаевича. Наш экзамен закончен. Я остался в том же классе. Я ужасно раздосадован тем, что не получил награждения, как в прошлом году, но вы знаете, что награждают отнюдь не всегда. Надеюсь, однако, отличиться в следующем году. Нынче же, в минуты отдохновения, я перевожу и сочиняю небольшие пиесы и, по правде говоря, ничто я не люблю так, как поэзию. Я очень желал бы стать автором. В следующий раз пришлю вам нечто вроде маленького романа, который я сейчас завершаю. Мне очень важно знать, что вы о нем скажете. Если вам покажется, что у меня есть хоть немного таланта, тогда я буду стремиться к совершенству, изучая правила. Истинно, маменька, но мне приходилось видеть напечатанные русские переводы, которые были выполнены столь плохо, что я не мог постичь, как автор решился вынести на суд публики такие глупости, да еще, торжествуя свое бесстыдство, выставил под ними свое имя. Без тщеславия уверяю вас, что я сумел бы перевести лучше. Чтобы дать вам о том понятие, скажу, что французское: Iljetait feu et flamme, он перевел: Огнем и пламенем рыкал. Что прекрасно по-французски, весьма дурно по-русски, а уж это выражение — самое нелепое, какое я когда-либо видел. Простите мое злословие в адрес этого несчастного, но мне хотелось бы, чтобы он услышал все, что о нем говорят, и чтобы у него пропала охота мучить наш слух истинно варварскими выражениями. Впрочем, как настоящий французский журналист, я пишу вам здесь целую сатиру на дурных авторов. Простите, любезная маменька, я знаю, что мне еще не пристало быть судьею в искусстве, где сам я пока новичок, но мне всегда казалось, что своей матери можно высказывать все, что думаешь, не опасаясь выглядеть нескромным. Прощайте, любезная маменька. Я здоров. Обнимаю моих сестер и брата. — Евгений Боратынский. Я вас очень прошу, сообщите мне, запечатанным или распечатанным вы получили это письмо».

1814, ноябрь (?), Петербург

Перевод: «Любезная маменька. Я только что получил ваше письмо и не могу передать вам всю свою радость, видя, что вы по-прежнему меня любите и прощаете мои проступки. Воистину ваше утешение было мне очень нужно. Оно примирило меня с собою самим более, чем какие-либо удовольствия рассеяния, — я чувствую это явственно. Каждый праздник я провожу у дядюшки, который по своей доброте нанял для меня учителя математики, и я уже преуспел в этой науке. Осмелюсь ли вновь повторить свою просьбу, до мореплавания относящуюся? Умоляю вас, любезная маменька, согласиться на эту милость. Мои блага, вам столь дорогие, как вы сами говорите, требуют этого неотменно. Я знаю, что должно выдержать вашему сердцу, видя меня на службе столь опасной. Но скажите мне, знаете ли вы место во вселенной, вне царства Океана, где жизнь человека не была бы подвержена тысяче опасностей, где смерть не похищала бы сына у матери, отца, сестру? всюду ничтожное дуновение способно сломать хрупкую пружину, которую мы называем бытием. Что бы вы ни говорили, любезная маменька, есть вещи, подвластные нам, а управление другими поручено Провидению. Наши действия, наши мысли зависят от нас самих, но я не могу поверить, что наша смерть зависит от выбора службы на земле или на море. Как? возможно ли, чтобы судьба, определившая исход моему поприщу, исполнила свой приговор на Каспийском море и не сумела бы настичь меня в Петербурге? Умоляю вас, любезная маменька, не приневоливать мою страсть. Я не мог бы служить в гвардейцах: их слишком щадят. Когда бывает война, они ничего не делают и пребывают в постыдной праздности. И вы называете это жизнью! Нет, ничем не смущаемый покой — это не жизнь. Поверьте, любезная маменька, можно привыкнуть ко всему, кроме покоя и скуки. Я бы избрал лучше полное несчастие, чем полный покой; по крайней мере, живое и глубокое чувство обняло бы целиком душу, по крайней мере, переживание бедствий напоминало бы о том, что я существую. И в самом деле, я чувствую, мне всегда требуется чтото опасное, всего меня захватывающее; без этого мне скучно. Вообразите, любезная маменька, неистовую бурю и меня, на верхней палубе, словно повелевающего разгневанным морем, доску между мною и смертью, чудищ морских, пораженных дивным орудием, созданием человеческого гения, властвующего над стихиями. А после... я буду писать к вам сколь возможно часто обо всем, что увижу прекрасного. Кроме того, подумайте, любезная маменька, если я вступлю в морскую службу, мы увидимся через два года, а не через 5. Через два года, любезная маменька, я обниму вас, увижу вас, буду говорить с вами! Любезная маменька, понимаете ли вы, в чем состоит мое счастье? неужели вы останетесь безучастны к нему? Не могу поверить этому. И даже если мне предназначено судьбой погибнуть на море через несколько лет, до этого я успел бы вас повидать и насладиться этим счастьем. Мгновения радости, счастья — не лучше ли это вереницы скучающих лет? Итак, любезная маменька, надеюсь, вы не откажете мне в милости. Вы говорите, что вас радует моя тяга к плодам ума человеческого, но признайтесь, что нет ничего смешнее юноши, изображающего собой педанта и возомнившего себя автором оттого, что перевел две-три страницы из «Эстеллы» Флориана, сделав тридцать орфографических ошибок, — перевел надутым слогом, который ему самому кажется живописным, — юноши, считающего себя вправе все бранить и не способного ни оценить, ни почувствовать красот, которыми восхищается, да и восхищается он потому только, что другие считают их превосходными. Он восторженно хвалит то, чего сам никогда не читал. Истинно так, любезная маменька, у меня именно этот порок, и я стараюсь избавляться от него. Часто я хвалил «Илиаду», хотя читал ее еще в Москве, и в столь нежном возрасте, что не умел не только почувствовать ее красоты, но даже понять содержание. Я слышу, что все хвалят ее, и вторю, как обезьяна. Я заметил, что многие люди, не обременяющие себя мыслями и имеющие обо всем лишь мнения, принятые в обществе, не выключая и мою персону, весьма похожи на болванчиков, приводимых в движение пружинами, скрытыми внутри их тел. Впрочем, письмо

мое слишком длинно, боюсь наскучить вам. — Прощайте, любезная маменька, да подарит нам Господь скорую встречу. Остаюсь вашим смиреннейшим и покорнейшим слугой по обычаю и вашим покорным, вашим нежным, признательным сыном по сердцу — Eugene de Boratinski. — Пожалуйста: пришлите мне полотенца, у меня их осталось только два».

22. Дядюшке и тетушкам

1814, декабрь, 20-е числа, Петербург

«Любезный дядинька и любезные тетиньки. — Спешу поздравить вас с наступающим новым годом и изъяснить вам все, что только возможно желать в сем случае. Дядинька не успевает к вам писать и препоручил мне вам изъяснить все щастие и блаженство, которое вам желает. Ашичка и Вавычка к вам не пишут оттого, что они сегодня в пенсионе <так!>. Прощайте, любезный дядинька и тетиньки. Желаю вам провести как можно веселее новый год и все возможное щастие. Остаюсь ваш покорнейший слуга и племянник — Евгений Боратынский».

23. Маменьке

1815, апрель-май, Петербург

Перевод: «Любезная маменька. — Я прошу у вас тысячу и тысячу раз прощения за то, что столь долго не писал к вам. Я постараюсь поправить свой проступок теперь и верю, что наша переписка никогда не прервется. Вот уже весна, уже все улицы в Петербурге сухи, и можно гулять сколько угодно. Право, великая радость — наблюдать, как весна неспешно украшает природу. Наслаждаешься с великой радостию, когда замечаешь несколько пробившихся травинок. Как бы мне хотелось сейчас быть с вами в деревне! О! как ваше присутствие приумножило бы мое счастье! Природа показалась бы мне милее, день — ярче. Ах! когда же настанет это благословенное мгновение? Неужели тщетно я ускориваю его своими желаниями? Зачем, любезная маменька, люди вымыслили законы приличия, нас разлучающие? Не лучше ли быть счастливым невеждою, чем ученым несчастливцем? Не ведая того благого, что есть в науках, я ведь не ведал бы и утонченностей порока? Я ничего бы не знал, любезная маменька, но зато до какой высокой степени я дошел бы в науке любви к вам? И не прекраснее ли эта наука всех прочих? Ах, мое сердце твердит мне: да, ибо это наука счастья; вероятно, любезная маменька, вы скажете, что мои чувства обманчивы, что невозможно быть счастливыми, глядя только друг на друга, что скоро соскучишься. Я верю этому и повторяю это себе, но во мне говорит сердце — а оно безрассудно, все это правда, но язык его так сладок... Это песнь Сирены. Прощайте, любезная маменька, будьте здоровы. Будьте так добры позвольте купить мне лексиконы. Целую моих маленьких сестриц и братца. — Евгений Боратынский. — Прошу вас, любезная маменька, пришлите мне полотенец и передайте мои поклоны г. Борье».

24. Маменьке

1815, май-июнь (?), Петербург

Перевод: «Любезная маменька. — Спешу поблагодарить вас за деньги, которые вы мне прислали. Право, любезная маменька, благодеяния, коими вы меня осыпаете, лишь живее заставляют меня почувствовать разлуку со столь доброй матерью. Ах! когда же я буду иметь счастие обнять вас! Зачем человек, созданный Предвечным для того, чтобы наслаждаться прелестями дружбы — этого небесного признака божественной сущности человека, единственного счастья, средоточия желаний и надежд, единственного блаженства нашей преисполненной скорбей жизни; зачем человек против воли своей удаляется от всего этого, движимый чувством противуположным? Почему жалкий разум, или скорее варварское предубеждение,

рожденное развращенностью века, требует от нас жертвы, противной сердцу и священному закону природы? Я чувствую, что заблуждаюсь, но как сладостно это заблуждение... оно рождается из моей любви к вам. Кто же способен устоять против его чарующего голоса? Ах, любезная маменька, если расстояния разделяют нас, то, как бы безмерны они ни были, сердце умеет их преодолевать; иллюзии, без сомнений, обманчивые, но драгоценные, всюду являют ему предмет его нежных чувств. Как сладок такой обман! Философы осуждают эти иллюзии, но чем был бы человек без этих благодетельных обманов? Как смог бы он усладить нынешние тяготы, если бы не утешался ожиданием счастья в будущем? Если мечтания так сладостны, какова-то окажется существенность? Будем надеяться, любезная маменька, что однажды мы соединимся, и да приблизит Господь этот счастливый день. — Прощайте, любезная маменька. Обнимаю вас от всего сердца, а равно братца и сестриц. Поклонитесь от меня, прошу вас, добрейшему господину Борье. — Евгений».

25. Б. А. и И. А. Боратынским

1815, сентябрь, начало месяца, Петербург

«Любезные дядиньки Богдан Андреевич и Илья Андреевич. Честь имею поздравить с прошедшим праздников <так!> Александрова дня так как и любезных тетушек Софью Ивановну и Марью Андреевну, которым свидетельствую свое почтение. Скажите, пожалуйста, моей крестной маминьке Марье Андреевне, что я ее всегда люблю и помню. Искренне жалею, что не могу вас видеть, но Бог даст, что некогда буду иметь сие щастие. Остаюсь ваш всепокорнейший слуга и племянник — Евгений Боратынский».

26. Маменьке

1816, март, Петербург

«Любезная маминька. Я не знаю, как изъяснить вам все, что я теперь чувствую. Могу ли надеяться когда-нибудь получить прощение в проступке, который я сделал. Не столько меня трогает наказание, которое я получил, как мысль, что я причинил столько вам горести. Ах, будьте уверены, что ваши слезы весьма мне дороги. Как могу я когда-нибудь достойно заплатить вам за всю вашу ко мне милость и любовь, вместо того, чтоб как-нибудь изъяснить вам мою признательность, я довольно неблагодарен, чтоб наполнить жизнь вашу горестями о моем худом поведении. Поверьте, милая маминька, что слезы ваши гораздо для меня более значат, чем все наказания. Теперь, слава Богу, я прощен, но только мысль, что вы все еще печалитесь и сердитесь, заставляет меня более тому печалиться, нежели радоваться. Я надеюсь будущим поведением загладить вину свою и опять быть достойным вашей любви. Простите меня, милая маминька, избавьте меня от мучения, которое терплю, думая о вашей горести. — Остаюсь ваш всепокорный и раскаивающийся сын — Евгений Боратынский».

27. Дядюшке П. А. Боратынскому

1816, август-октябрь, Подвойское-Голощапово

«Любезный дядинька Петр Андреевич. — Я не знаю, чем вам когда-нибудь доказать мою благодарность за все милости, коими я вам обязан! Вы все еще не забыли Евгения! Будьте уверены, любезный дядинька, что слова ваши никогда не изгладятся из моей памяти. Нужно быть более развращенным, или лучше сказать, совсем без души и сердца, чтобы не чувствовать всю цену ваших наставлений. Так они всегда будут за мною следовать, всегда будут мне напоминать мой долг, честь, добродетель, и когда жестокая совесть будет укорять меня, то примирят меня с собой. Любезной дядинька! Нет истинного щастия без добродетели, и если кто в сем не признается, то дух гордости ослепляет его, и я это хорошо знаю! Когда страсти,

пылкие страсти молодости перестанут ослеплять опытную старость, каким ужасным сном кажутся протекшие дни нашей жизни! Как смешны кажутся все предприятия радости и печали! Горе тому, кто может только вспоминать одни заблуждения! Извините меня, любезный дядинька, что я пишу вам это, что, может быть, несвойственно ни моей неопытности, ни летам, но я это живо чувствую, а чувствам своим повелевать не можно. Прощайте, любезной дядинька, будьте уверены, что я никогда не позабуду, что вы столько времени были мне отцом, наставником и учителем, и если я когда-нибудь изменю чувствам моим, то пусть Тот, Который все знает. Который наказывает злых и неблагодарных — накажет и меня вместе с ними — Е. Баратынский».

28. Маменьке

1816, август-октябрь, Подвойское-Голощапово

Перевод: «Любезная маменька. — Мы проводим здесь время очень приятно: танцы, пение, смех — все, кажется, так и дышит счастием и радостию. Единственное, от чего в моих глазах тускнеет все великолепие удовольствий — это мысль об их мимолетности: скоро мне придется отречься от наслаждений. Я чувствую, у меня совершенно несносный нрав, приносящий мне самому несчастье; я заранее предвижу все неприятности, которые могут выпасть на мою долю. А ведь было время, когда я о них не думал! Но время это пролетело, как сон, или как мгновения счастья, отмеренные человеку в жизни. Любезная маменька, люди много спорили о счастье: не подобны ли эти споры рассуждениям нищих о философском камне? — Иной человек, посреди всего, что, казалось бы, делает его счастливым, носит в себе утаенный яд, снедающий его и отнимающий способность чувствовать наслаждение. Болящий дух, полный тоски и печали (un esprit chagrin, un fond d'ennui et de tristesse), — вот что он носит в себе среди шумного веселья, и я слишком знаю этого человека. — Может быть, счастье — это только случайное сопряжение мыслей, не позволяющее нам думать ни о чем другом, кроме того, чем переполнено наше сердце, — не позволяющее осмыслить то, что чувствуешь? — Может быть, величайшее счастье — это только беззаботность! — Отчего душа бывает предрасположена к счастью? — от того, что всемогущий Творец, создатель всего сущего, желая воздать кому-то из крошечных атомов, позволяет им выдернуть несколько цветков из персти земной, нашей общей матери? — О атомы на один день! О мои спутники в бесконечном ничтожестве! Замечали ли вы когда-нибудь эту незримую руку, направляющую нас в муравейнике рода человеческого? Кто из нас мог анатомировать эти мгновения, такие короткие в человеческой жизни? — Что до меня, то я об этом никогда не думал.

Признаться надобно: жизнь наша — наважденье: Ведет нас от тоски к утехам наслажденья По жизненным стезям как будто домовой. Свободный человек, я не в ладах с собой, И пять телесных чувств — все, чем душа богата. Я знаю: человек пречудно сотворен; Мы станем духами бесплотными когда-то, Беспечны и вольны. Но здесь иной закон: Ученейший из нас, потомок Гераклита, Когда он телом бодр, когда удачлив он, Смеется и поет не хуже Демокрита.

Это строки того самого еретика, который, по мнению иных людей, всегда заблуждался, но чьи стихи часто исполнены правды и силы — я имею в виду Вольтера. Думаю, эти строки — лучшие из всех написанных за все время мистических умствований о счастье. Но, боюсь, я

скоро наскучу вам своим философствованием. Страсть к рассуждению (la passion de raisonner) — не самый худший мой порок, и я не собираюсь от него избавляться. — Заканчивая свой бред, замечу, что начинал я письмо с весьма плохим настроением, но в конце второй страницы прервался, чтобы выпить с тетушками кофий, и теперь вовсе не настроен говорить ни о физических недугах, ни о нравственных. — Я провел два дня у тетушки Марфы Александровны, обласкавшей меня, как родного сына. Мы посетили могилы наших предков, доблестных славянских рыцарей, погибших, защищая свои очаги во время войн с Литвой. Вероятно, вы не знаете этих краев. Так вот, узнайте же, что после деревушки Капреспино, на берегу Обши, струящей свои серебряные воды меж зеленых холмов, возле города Белый, на Петербургской дороге, в 5 верстах от Подвойского, чье имя само говорит о былых сражениях... Однако дядюшка прерывает меня и просит скорее дописывать письмо, очень жаль. Прощайте, любезная маменька, тетушка Катерина Андреевна хочет тоже написать вам несколько слов. — Тетушка хотела вам писать, но у нее нет сейчас времени. Она поручает мне передать вам поклоны. Обнимаю сестер и братцев. — Е. Боратынский».

29. Маменьке

1816, август-октябрь, Подвойское-Голощапово

Перевод: «Любезная маменька. — Неужели это правда? Итак, я увижу, обниму, буду говорить с вами, дышать тем же воздухом, что и вы! Добрая маменька, я не смею надеяться на такое счастье. Но ведь это не сон, я вас увижу, да, сердце мне говорит о том. Мне кажется, что я уже вижу коляску, запряженную четырьмя лошадьми и галопом въезжающую во двор. Пади, пади! Коляска останавливается, из нее выходит очень добрая дама, которая очень любит меня, — это маменька. А что это за прелестная барышня, выходящая следом из коляски? Боже мой, как нежно она смотрит на меня, несколько слезинок катится из ее прекрасных голубых глаз; смотрите, она бежит обнять меня! Ах, как ее не узнать? Это моя Софи, моя милая Софи! А этот маленький философ, который задумчиво смотрит на меня и боится подойти, не мой ли это маленький Серж? Он меня не знает. Подойди же ко мне, мой маленький братец, познакомимся. Я тебя очень люблю. А ты, ты ведь тоже будешь любить своего брата? Ведь брат, говорил Плутарх, это друг, которого дает нам природа. Разве не был он прав, добродетельный Плутарх? Я советую тебе прочесть его, мой милый братец, думаю, он есть в маменькиной библиотеке, а книга его создана для всех возрастов. Но вот еще две барышни с большими черными глазами. Как они хороши! «Конфетку! Конфетку!» — говорят они мне. Я обнимаю их, я ласкаю их. Они слегка краснеют, ибо не знают меня. Как нравится мне этот румянец! Это цвет невинности. Но вот все мы садимся, я целую ручки моей доброй матери, я смотрю на нее, и мы с нею плачем, это слезы радости. Боже мой! миг счастия заставляет забыть столько невзгод! Так путешественник, пересекший океан и сражавшийся с ветрами и бурями, возвращается в свою хижину, устраивается возле очага и с удовольствием рассказывает о пережитых кораблекрушениях, и улыбается, слыша вой вероломной стихии, несшей его по волнам. Смелее, г-н Евгений, все хорошо! Оставлю риторику, чтобы сказать вам, что все ждут вас с нетерпением. Все наши родственники будут здесь осенью. И дядюшка Петр Андреевич обещал к нам приехать. Боже мой, сколько счастия сразу! Я боюсь чрезмерно радоваться и, подобно римскому полководцу, просившему Юпитера послать ему какое-нибудь маленькое несчастие, дабы усмирить восторги своим триумфом, я хотел бы слегка заболеть, тогда мне было бы много покойнее. Впрочем, надеяться — всегда прекрасно, и, как говорит Вольтер, надежда

Обманывает нас, но дарит наслажденья.

Надо использовать даже то, что кажется неправильным в человеческой природе, Как много вещей, цель коих от нас сокрыта Провидением, а мы осмеливаемся за это роптать на Творца!

— Прощайте, маменька! Как я желал бы, чтобы это письмо стало последним, какое мне надо писать к вам. — Е. Боратынский».

30. Дядюшкам

1817, апрель-июнь. Мара (или: 1819, Петербург)

«Любезные дядиньки Богдан Андреевич и Илья Андреевич. — Я чрезвычайно виноват, что столько времени не засвидетельствовал вам своего почтения. Впрочем будьте уверены, что я вас всегда столько же люблю и почитаю. Мы все слава Богу здоровы и желаем вам от всего сердца быть столь же веселым. — Целую ручки любезных тетушек Софьи Ивановны, Марьи Андреевны и Катерины Андреевны. — Остаюсь ваш покорнейший слуга и племянник — Евгений Боратынский».

31. Маменьке

1817, сентябрь, около 4, Тамбов

Перевод: «Мы уезжаем через два часа, любезная маменька, и сейчас я скажу дважды прощай этому краю, столь мне любезному. Что бы ни говорили — но отнюдь не все равно, быть близко или вдали от тех, кого любишь: большие расстояния охлаждают и страшат сердце. Я покидаю Тамбов почти с тем же сожалением, что Мару. Пока мы оставались в этом городе, я не думал об отъезде. Но, любезная маменька, я не хочу усиливать вашу печаль своей. Прощайте, любезная маменька, будем надеяться, что скоро снова увидимся. Одно только ожидание позволяет мне выносить ваше отсутствие. Я хотел бы сказать вам еще тысячу вещей, но сердце мое так полно печалью, а мысли так унылы, что не осмеливаюсь изъяснять их вам. — Что моя любезная Софи? Конечно, она тоже печальна. Попросите ее не впадать в уныние, которое могло бы ухудшить ее здоровье. Она принадлежит мне, и я хочу, чтобы она себя берегла — для меня. — Я видел ее любезную подругу, я не разговаривал с нею, а только внимательно ее наблюдал. Какое прелестное создание! Она не прекрасна, но, увидев ее, невозможно не полюбить! Какая кротость в глазах! Какая скромность в движениях! Ее речь исполнена сердечного чувства, и неудивительно, что Софи так к ней привязана. Она того, конечно, достойна. Откланиваясь ее сестрам, я сказал, что Софи помнит о ней, что Софи мне говорила о ней, что Софи передает тысячу поклонов. Если бы вы видели ее лицо в то время, когда я это говорил. В первое мгновение она была удивлена, но тотчас отвечала, и хотя слова были самые обыкновенные, однако с каким жаром они были сказаны! с какой выразительностью! с какой грацией! Ее облик запечатлен в моей памяти. Я увожу его с собой. Мне кажется, что, уезжая из Мары, я расстался с дружбой, а уезжая из Тамбова — с любовью: смогу ли я, вернувшись сюда однажды, снова обрести два этих божества! Прощайте еще раз, любезная маменька. Я живу одной надеждой на встречу с вами. — Евгений Б.».

32. Маменьке

1817, сентябрь, середина месяца, Подвойское

Перевод: «С чего начать, любезная маменька, с приезда или с отъезда? Последнее весьма печально, и я скажу лишь о первом, ибо всегда лучше избирать предметы более приятные. Так вот, после недели безмятежнейшего пути добрались мы до Подвойского; замечательнее всего то, что давно ожидаемый генерал Панчулидзев приехал часом раньше. Представьте, сколь радостна была встреча. Вечер прошел в беззаботном веселье. Генерал — любезнейший человек, каких я только видел; в нем есть некая прямота, некая чистота помыслов, нечто от древнего рыцарства. Говорит он чрезвычайно громко, как будто желает, чтобы каждый мог знать, что у

него на сердце. — Как мало людей, имеющих такое желание! — Я назвал его рыцарем без страха и упрека, и что-то говорит мне, что он достоин этого имени. Не буду рассказывать, как я был принят здесь. Вы знаете эту несравненную дружбу и этих несравненных людей. Все, что они делают для меня, все, что я чувствую к ним, превосходит любое изъяснение. Полагаю, что подробно изъяснять столь сильные чувства — значит лишь рассеивать их. Кузина Машенька и кузен Аполлон обнимают меня, плача. О, любезная маменька, наслаждение такой любовью стоит всех наслаждений на свете. — Меня не ждали в этих краях так рано, и мое появление произвело всеобщее удивление. Меня беспрестанно расспрашивали о вас и о вашей поездке в Москву, — поездке, совершенно невыполнимой. Мы заезжали к Костылевым, сами они были в деревне, но я справился у торговцев. Все, от булавок до самых изысканных предметов, ужасно дорого. Дрова в пол-аршина стоят 20 рублей сажень. За квартиры требуют непомерные деньги, за 8 скверных комнат платят до трех тысяч рублей. Правительство очень строго следит за чистотой улиц. Ежели вы предоставляете обеспечивать чистоту хозяевам дома, приходится платить вдвое дороже. Все вместе эти неудобства весьма затрудняют пребывание в Москве. Вы сами можете судить о том по картине, которую я старался нарисовать столь верно, сколь умел. Надобно сделать еще небольшое отступление, чтобы поведать вам об истинном диве. В июле этого года начали строить здание < Экзерцир-гауз (манеж) > 80 сажен длиной и 45 — шириной, для того, чтобы проводить учения зимой; ныне оно закончено, и закончено не в шутку! Представьте еще и то, что высотой оно с четырехэтажный дом. Невозможно поверить в то, как люди сорят деньгами, не иначе у них их много. Дядюшка хочет писать вам, он припишет несколько слов ниже. — Евгений».

33. Маменьке

1817, сентябрь, Подвойское

Перевод: «Я не выполнил все ваши поручения в Москве: мы приехали туда в субботу был праздник, а уехали в воскресенье, когда праздник продолжался. Все лавки были закрыты, и я был в отчаянии оттого, что не смог ничего купить детям. После всех покупок и трат на их доставку я вам должен еще 16 <рублей>. — «Қларисса» 25. — Ноты 20. — 3а шляпу 4. — 3а часы 10. По словам Бува, это единственный экземпляр «Клариссы», который нашелся в Москве. Теперь это очень редкая книга. «Le cours de litterature» у него нет, а, кроме его лавки, все остальные были закрыты. Что до абонирования, то условия вы найдете в каталоге. Выбор <книг> нынче не самый лучший. По совету дядюшки я купил в Москве сукно. Он говорит, что я могу проходить год и более во фраке, пока не получу офицерский чин. Пожалуйста, не говорите Софи, что ноты стоят так дорого: боюсь, как бы она не рассердилась, а я ни за что на свете не хотел бы причинять ей ни малейшего огорчения. Если вы хотите немного понежить меня, ведь вы добрая маменька, пришлите мне еще немного тонкого белья. Можно было бы купить его здесь, но здешние рубашки не столь белы, как те, что я ношу, они все с каким-то голубоватым оттенком. — Прощайте, любезная маменька, обнимите за меня моих сестер. Я хотел бы передать здесь свои поклоны всем родственникам и знакомым, как делал некогда, избавляя себя от необходимости приписывать несколько лишних строк, но, помнится, однажды вы укорили меня за это, и я больше не хочу повторить свой проступок; посему целую ручки любезной тетушке и заверяю в своем нижайшем почтении барышень Зайцевых. Тетушки передают тысячи заверений в дружбе и вам и им. Прошу вас, любезная маменька, пересылать мне письма, которые могут прийти на мое имя из Петербурга. Мелкие глупости, что мы пишем друг другу в детстве, дают нам большие основания надеяться на дружбу в будущем: думаю, большое удовольствие вспоминать, как все были равно глупы!»

1817, декабрь, 4, Подвойское

Перевод: «Мы испытали сегодня большое удовольствие, любезная маменька. Госпожа Гросфельд, гувернантка, которую тетушка так долго ожидала, прибыла. Какая достойная женщина! и какой достойный человек господин Тимрот. Представьте себе, что, живя здесь у своего брата, он так подружился с моими маленькими кузинами и тетушкой, что сам лишил свою дочь наставницы, чтобы увериться, что этих маленьких ангелов, как он их называет, будет воспитывать достойная женщина. Его маленькая Катенька много плакала, прощаясь со своей любезной гувернанткой, и ничто не может служить лучшей похвалой госпоже Гросфельд, как привязанность, которую она сумела внушить этому прелестному ребенку. Добрая моя тетушка очень весела, и я тоже счастлив, видя ее радость. Да исполнит добрая госпожа Гросфельд все, чего тетушка от нее ожидает; и есть все основания на то надеяться. Вовсе не зная ее, я уже весьма расположен ее полюбить. Рождением мы обязаны только родителям, но те, кто воспитал и наставил нас в юности, имеют еще больше прав на нашу благодарность. Каждый раз, когда я размышляю об этом, любезная маменька, я чувствую себя счастливым оттого, что обязан вам и тем и другим, отчего нахожу новые и новые причины любить вас. — Сегодня день Святой Варвары, праздник моей сестрицы. Передайте ей, пожалуйста, что я желаю от полного сердца всего, чего могли бы пожелать ей вы. Вы думаете, это слишком? Но на сей раз неправы вы, любезная маменька, быть может, увы, оттого, что желать — не значит любить, — однако я люблю мою сестрицу от всего сердца. Вы провели этот день так же весело, как мы? — Надеюсь, да. Сначала, утром, прибыла госпожа Гросфельд, а потом мы обедали у кузины Вареньки, и хотя ничего забавного не случилось, все, неизвестно почему, были очень довольны. Госпожа Святая Варвара должна бы справлять свой праздник по меньшей мере четырежды в год, и всякий раз доставлять нам столько же радости, сколько сегодня. — Тогда у нас было бы в году четыре счастливых дня, а как это много! Уф! любезная маменька, если бы в жизни приходилось считать лишь счастливые мгновения, кто из нас прожил бы больше четверти часа? — Мои две тетушки передают разнообразные заверения в дружбе вам, а также барышням Авдотье и Александре Николаевне, что же до меня, то я хотел бы обнять вас, приласкать, поговорить с вами, посмотреть на вас. Простите, любезная маменька. Я хотел бы также пойти спать, ибо уже поздно. Увы! воображению не под силу преодолеть физические потребности. Прощайте, любезная маменька, постараюсь увидеть вас во сне. — Евгений».

35. Е. А. Боратынской

1817, декабрь, 4, Подвойское

«Любезная тетинька Катерина Андреевна. — Я не нахожу выражения чтоб перед вами извиниться, сделайте милость, напишите мне несколько строчек, хоть побраните немного, да только напишите, а то, право, у меня не будет духа что-нибудь к вам писать. — Будьте, впрочем, уверены, что чувствования любви и благодарности всегда находятся в моем сердце. Хотя последнее иногда бывает тягостно, но всегда приятно находить причины еще более любить тех, которых любишь. Ваш покорнейший слуга и племянник Е. Boratinsky».

36. Маменьке

1818, январь, после 23. Подвойское

Перевод: «Дядюшка завтра выезжает в Москву. — Он хотел взять меня с собой, но не вышло. Впрочем, мне нет никакой надобности появляться там, словно напоказ. Так рассудила тетушка Катерина А<ндреевна>, главное мыслящее существо в доме. Праздник был отмечен роскошно, дети исполнили небольшой балет, а на следующий день играли комедию госпожи

Гросфельд, о которой я вам писал. Все было очень весело, и у меня до сих пор болят ноги от танцев; восхитительный талант — умение двигать ногами в такт. Воистину он более нужен в свете, чем нагромождение геометрии, истории, географии и философии. Для разговора об этих материях редко найдется собеседник, а танцоры есть повсюду. — В уединении больше нужны запасы ума, но в свете — о, в свете, любезная маменька, нужно танцевать, даже если у тебя жирные ноги. Адмирала весьма беспокоят гости, он не говорит об этом вслух, но я приметил. Он от всего сердца любит доброго воина, что же касается мадам, кажется, к ней он не питает уважения, что вполне понятно. Ее тон хозяйки дома ему совсем не по нраву. Каждый бал, который устраивает адмирал, она превращает в урок танцев. Она не слушает его, если вообще по случайности позволяет ему проговорить хоть слово. — Этого достаточно, чтобы доставить неудовольствие дядюшке, будь она даже совершеннейшей из женщин. Я же считаю ее просто кокеткой; она слишком любит, чтобы все занимались ею, но такого желания ни у кого не возникает. Полк, стоявший здесь, переменил квартиры, и наши барышни оплакивают свое вдовство. Теперь все питают пристрастие к воинам, амуры покинули Цитеру и повсюду следуют за Марсом в мундирчиках и с барабанным боем. Чему ж удивляться? природа шумна, и военные игрушки вскружили им головы. Я шучу, но это почти правда. Прощайте, любезная маменька, тысяча уверений в дружбе сестрицам Софи, Натали, Варваре, брату, тетушке Авдотье Н<иколаевне>, Александре Н<иколаевне> и Надежде Н<иколаевне Зайцовым>, моему любезному Борье. Вы очень хорошо делаете, что ласкаете Григри. Он молодец, и я его от всего сердца люблю».

37. Маменьке

1818, август, 6. Подвойское

Перевод: «Дядюшка Илья Андреевич уже приехал. Он получил одно из ваших писем, где вы жалуетесь, что не получали от меня вестей уже шесть недель. Не знаю, как так вышло. Я пишу вам всегда раз в две недели. Меня очень обеспокоила эта новость, сегодня я попросил слугу, относящего наши письма, внимательно следить за моими. Надеюсь, что впредь вы не будете страдать от небрежности. Я здоров. Дядюшка купил дом в Москве, в сентябре мы все отправимся в путь. А вы, любезная маменька, не собираетесь ли также в дорогу? Тетушка очень печалится, ибо не надеется вас там встретить. Сегодня в честь приезда дядюшки мы будем представлять комедию. Мне поручено руководить детьми — главным образом потому, что пьеса целиком сочинена мною, и кроме меня никто не может подсказывать им слова. Прощайте, любезная маменька; сегодня шестое — большой праздник, желаю вам встретить его в добром здравии и счастливо. Я также надеюсь провести его весело».

38. Маменьке

1818, ноябрь (?), Петербург

Перевод: «Я получил одно из ваших писем, любезная маменька, но вот уже более месяца от вас нет вестей, а ведь, уезжая из Москвы, я оставил вас больною, все это меня весьма тревожит. Не знаю, по какой роковой случайности Петр Андреевич также ничего не получает от наших, все вы храните странное молчание. Возможно, дороги стали уже плохи, дай Бог, чтоб не случилось чего-нибудь худшего. — Как дела у господина Н...? Петр Андреевич сильно сомневается в благоприятном исходе, и резоны его кажутся мне основательными — он <господин Н...> вскоре должен вернуться из Москвы, я жду его с нетерпением, быть может, он привезет известия о вас. — Прощайте, любезная маменька, да хранит вас Господь. Мое почтение Авдотье Николаевне и Александре Николаевне».

1818, ноябрь-декабрь (?), Петербург

Перевод: «Я не сообщал вам своего адреса, ибо сам еще не знал, где поселюсь. — Мы сняли квартиру вместе с г-ном Шляхтинским — у нас три замечательные комнаты, которые только предстоит обставить, впрочем, мебель здесь дешева. — Письма адресуйте так: в Семеновском полку в доме кофишенка Ежевского. Это славный старик, знававший в Гатчине батюшку. Он рассказывает мне всяческие подробности и анекдоты, которые я слушаю с немалым удовольствием. У него есть жена и дочь — воспитанная весьма неплохо, изъясняющаяся по-французски скверно, по-русски провинциально, играющая на рояле подобно нашим богиням из Оржевки, читавшая несколько романов мадам Радклиф и жалующаяся, что ничто в природе не отвечает возвышенным движениям ее сердца. Весь этот мирок довольно забавен. В последнем письме я говорил вам о мадам Эйн-Гросс, с которой я познакомился; так вот, это превосходная женщина. Она весьма образованна, иначе говоря, образованна лучше меня. Она божественно играет на арфе, много читает, любит живопись, поэзию, словесность и даже способна иметь собственное суждение о каждом из искусств. Мы размышляем с нею о дружбе, о любви, о любовных увлечениях, об эпикурействе, о стоицизме — словом, обо всем. Я посещаю ее каждый день после полудня, и пока мне это не наскучило; следует, однако, признаться, что в ожидании лучшего я был бы даже склонен влюбиться в эту божественную женщину, но не тревожьтесь, я слишком безрассуден, чтобы решиться на серьезное безрассудство. — Прощайте, милая маменька. Быть может, вы считаете все это несколько вольным. Думайте, что пожелаете, но помните, что только вас я люблю всем сердцем. Вчера вечером мадам Э. Г. живо напомнила мне Софи, она играла на арфе тирольскую мелодию. Знаете, пожалуй, она немного напоминает ее и своей внешностью».

40. Маменьке

1819, апрель, около 6, Петербург

«Любезная маминька. — Благодарю вас от всего сердца за присылку денег 500 р. на мои нужды и поздравляю с праздником Воскресения Христова. Мы сегодня были у Катерины Ивановне, которая нас очень обласкала. Я не успеваю вам более писать, ибо еду в караул. Прощайте, любезная маминька, будте здоровы. Остаюсь ваш всепокорный слуга и сын — Евгений Боратынский».

41. С. С. Уварову

1821, март, 12, Фридрихсгам

«Ваше превосходительство милостивый государь Сергей Семенович. — Вы приказали доставить Вам записку об унтер-офицере Боратынском — с благодарностью исполняю Ваше приказание. — Боратынский по выключении своем из пажеского корпуса вступил солдатом в гвардейский полк; через год произведен в унтер-офицеры и переведен в Нейшлотский пехотный. Теперь представлен своим начальством в прапорщики, но производство его зависит от высшего начальства. — Вот все, что до него касается — следует то, что касается и Вашего превосходительства: возвратить человеку имя и свободу; возвратить его обществу и семейству; отдать ему самобытность, без которой гибнет душевная деятельность; одним словом: воскресить мертвого. — Все это Вы сделаете и все это Вам возможно сделать. Я бы не осмелился говорить таким образом, ежели б Анна Николаевна не заставила меня почти веровать в Ваше превосходительство. — Приобщите к числу тех, которые Вам обязаны, еще одного благодарного. — С глубочайшим почтением — честь имею быть Вашего превосходительства, — милостивый государь, покорнейшим слугою — Евгений Боратынский. — 1821-го года — марта 12 дня».

42. А. А. Никитину

1821, апрель, до 13, Фридрихсгам

«Милостивый государь Андрей Афанасьевич. — Долгом себе поставляю изъявить мою признательность почтенному обществу, снисходительно избравшему меня в действительные свои члены. Ежели усердие и любовь к искусству обратили на меня лестное его внимание — я постараюсь оправдать выгодное обо мне мнение и не пощажу для того ни трудов, ни усилий. — Не смею сказать, что я не достоин сделанной мне чести. — Просвещенные судьи мои не способны ни к ошибкам, ни к пристрастию, и я подчиняю собственное мое мнение — мнению общества, как нельзя более для меня лестного. — С истинным почтением честь имею быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою. — Е. Боратынский».

43. Н. И. Гнедичу

1822, февраль, после 25 — март, Петербург

«Почтеннейший Николай Иванович, больной Боратынский довольно еще здоров душою, чтоб ему глубоко быть тронутым вашей дружбою. Он благодарит вас за одну из приятнейших минут его жизни, за одну из тех минут, которые действуют на сердце, как кометы на землю, каким-то електрическим воскресением, обновляя его от времени до времени. — Благодарю за рыбаков, благодарю за прокаженного. Вы сделали, что все письмо состоит из однех благодарностей. — Еще более буду вам благодарным, ежели сдержите слово и навестите преданного Вам Боратынского. — Назначьте день, а мы всякое время будем рады и готовы».

44. Маменьке

1822, июль, 21-22, Петербург

Перевод: «Я именовал Софи ангелом не потому, что такова моя прихоть, но потому, что она того заслуживает. Если она будет и впредь вести себя столь же прекрасно, как ныне, я не премину возвести ее в серафимы. Она взяла учителя музыки, она носит новые наряды, которые велела себе пошить, она с удовольствием сопровождает нас в театр и не знает ничего лучшего, чем летать по городу, — это ли не бытие сущего ангела? Мы только что отпраздновали именины Ильи Андреевича у здешнего дядюшки — обед был очень весел, а мой ангел — очень любезен. Мой ангел обретает в Петербурге самобытность, и это доставляет мне истинное удовольствие. Что до меня, то, беззаботный и равнодушный, как обычно, во всем, что касается себя самого, я всецело предаюсь счастью располагать моей Софи, мне нравится видеть ее рядом, я смотрю на то, как она существует, и с меня довольно. Тем не менее, мне хотелось бы — у кого нет желаний? — мне хотелось бы никогда не расставаться с нею, следовать за нею повсюду, — и, коли она мой ангел, я желал бы надеяться, что однажды она возвратит меня к вам. Дела мои все в прежнем положении. Обещают замолвить за меня словечко перед императором, когда будут выходить наши полки, иначе говоря, в конце августа; видимо, император, следуя своим правилам, откажет. В последнем случае я решился просить отставки, если вы не будете тому противиться. Я не охотник до званий, и как ни блистателен чин прапорщика, он мало соблазняет мою пресыщенную душу. Но надобно вам знать, что для осуществления моего намерения одной моей философии недостаточно. Нужно, чтобы за дело взялся дядюшка, если вы напишете ему несколько слов, любезная маменька, только для того, чтобы он знал, что мое намерение вас не устрашает и что ваш сын, отказавшись от чинов в свете, может, мечтая быть любезным для вас, получить высокий чин при вашей особе. Простите мне краткость моих писем, я никоим образом не могу состязаться с Софи. Она ангел, поэтому я от всего сердца соглашаюсь, чтобы вы любили ее больше, чем меня. Прощайте, любезная маменька, тысячу поклонов любезным тетушкам. — Е. Б.»

1823, апрель, до 22, Роченсальм

Перевод: «Вы, конечно, были удивлены, получив чепец-невидимку, запечатанный под видом письма. — Я приготовил для него лучшую обертку, но тяжелых пакетов на здешней почте не принимают. — Почта здесь только для писем, и талисман сестры приняли у меня на правах письма. Едва я исполнил, сколько мог благочестиво, долг благочестия, уже близится Пасха. Поздравляю вас от всего сердца. — У вас праздники будут великолепны, весна в разгаре, воображаю, как прекрасны небеса и солнце. Наш удел не так счастлив: хорошая погода еще не наступала, а ветры приносят с моря холод и влагу. Это томит меня, ибо я люблю весну и жду ее прихода. Время я провожу весьма однообразно, впрочем, совсем не скучаю. Следую вашим наставлениям: много хожу. Рассеиваюсь тем, что взбираюсь на наши скалы, обретающие понемногу свою особенную красоту. Зеленый мох, покрывающий их, выглядит в лучах солнца дивно прекрасным. — Простите, что говорю лишь о погоде, но уверяю вас, здесь она занимает меня более прочего. Пребывая почти наедине с природой, я вижу в ней истинного друга и говорю с вами о ней... как говорил бы о Дельвиге, будь я в Петербурге. Я продолжаю читать по-немецки. Бог знает, есть ли успехи, по крайней мере, я докучаю всем офицерам, знающим этот язык, своими вопросами и желанием говорить на нем. Эти господа весьма забавны и, даром что немцы, на своем языке умеют только разговаривать, а читать не способны, и очень редко могут мне помочь; я вынужден оставлять места, которые не могу перевести со словарем. Так проходят дни, и я рад тому, что чем больше их уходит, тем ближе моя цель — день, когда к удовольствию узнать Финляндию я смогу прибавить удовольствие покинуть ее надолго. — Прощайте, любезная маменька, представляю, как вы сейчас заняты деревьями и огородом, и представляю с удовольствием — ибо для вас это наслаждение. Передайте мои уверения в дружбе сестрам. — Поклоны и поздравления любезной тетушке».

46. К. Ф. Рылееву и А. А. Бестужеву

1823, после сентября (?), Роченсальм

«Милые собратья Бестужев и Рылеев! Извините, что не писал к вам вместе с присылкою остальной моей дряни, как бы следовало честному человеку. Я уверен, что у вас столько же добродушия, сколько во мне лени и бестолочи. Позвольте приступить к делу. Возьмите на себя, любезные братья, классифицировать мои пьесы. В первой тетради они у меня переписаны без всякого порядка, особенно вторая книга элегий имеет нужду в пересмотре; я желал бы, чтобы мои пьесы по своему расположению представляли некоторую связь между собою, к чему они до известной степени способны. Второе: уведомьте, какие именно стихи не будет пропускать честная цензура: я, может быть, успею их переделать. Третье: Дельвиг мне пишет, что «Маккавеи» мне будут доставлены через тебя, любезный Рылеев, пришли их поскорее: переводить так переводить. Впрочем, я душевно буду рад, ежели без меня обойдутся. Четвертое: о други и братья! постарайтесь в чистеньком наряде представить деток моих свету, — книги, как и людей, часто принимают по платью. — Прощайте, мои милые, желаю всего того, чем сам не пользуюсь: наслаждений, отдохновений, счастия, — жирных обедов, доброго вина, ласковых любовниц. Остаюсь со всею скукою финляндского житья душевно вам преданный — Боратынский».

47. В. А. Жуковскому

1823, декабрь, до 20-25, Роченсальм

«Вы налагаете на меня странную обязанность, почтенный Василий Андреевич; сказал бы трудную, ежели бы знал вас менее. Требуя от меня повести беспутной моей жизни, я уверен,

что вы приготовились слушать ее с тем снисхождением, на которое, может быть, дает мне право самая готовность моя к исповеди, довольно для меня невыгодной. — В судьбе моей всегда было что-то особенно несчастное, и это служит главным и общим моим оправданием: все содействовало к уничтожению хороших моих свойств и к развитию злоупотребительных. Любопытно сцепление происшествий и впечатлений, сделавших меня, право, из очень доброго мальчика почти совершенным негодяем. — 12 лет вступил я в Пажеский корпус, живо помня последние слезы моей матери и последние ее наставления, твердо намеренный свято исполнять их, и, как говорится в детском училище, служить примером прилежания и доброго поведения. — Начальником моего отделения был тогда некто Кр<истафо>вич (он теперь уже покойник, чем на беду мою еще не был в то время), человек во всем ограниченный, кроме страсти своей к вину. Он не полюбил меня с первого взгляда и с первого дня вступления моего в корпус уже обращался со мною как с записным шалуном. Ласковый с другими детьми, он был особенно груб со мною. Несправедливость его меня ожесточила: дети самолюбивы не менее взрослых, обиженное самолюбие требует мщения, и я решился отмстить ему. Большими каллиграфическими буквами (у нас был порядочный учитель каллиграфии) написал я на лоскутке бумаги слово пьяница и прилепил его к широкой спине моего неприятеля. К несчастию, некоторые из моих товарищей видели мою шалость и, как по-нашему говорится, на меня доказали. Я просидел три дня под арестом, сердясь на самого себя и проклиная Кр<истафо>вича. — Первая моя шалость не сделала меня шалуном в самом деле, но я был уже негодяем в мнении моих начальников. Я получал от них беспрестанные и часто несправедливые оскорбления; вместо того, чтобы дать мне все способы снова приобрести их доброе расположение, они непреклонною своею суровостию отняли у меня надежду и желание когда-нибудь их умилостивить. — Между тем сердце мое влекло к некоторым из моих товарищей, бывших не на лучшем счету у начальства; но оно влекло меня к ним не потому, что они были шалунами, но потому, что я в них чувствовал (здесь нельзя сказать замечал) лучшие душевные качества, нежели в других. Вы знаете, что резвые мальчики не потому дерутся между собою, не потому дразнят своих учителей и гувернеров, что им хочется быть без обеда, но потому, что обладают большею живостию нрава, большим беспокойством воображения, вообще большею пылкостию чувств, нежели другие дети. Следовательно, я не был еще извергом, когда подружился с теми из моих сверстников, которые сходны были со мною свойствами; но начальники мои глядели на это иначе. Я не сделал еще ни одной особенной шалости, а через год по вступлении моем в корпус они почитали меня почти чудовищем. — Что скажу вам? Я теперь еще живо помню ту минуту, когда, расхаживая взад и вперед по нашей рекреационной зале, я сказал сам себе: буду же я шалуном в самом деле! Мысль не смотреть ни на что, свергнуть с себя всякое принуждение меня восхитила; радостное чувство свободы волновало мою душу, мне казалось, что я приобрел новое существование. — Я пропущу второй год корпусной моей жизни: он не содержит в себе ничего замечательного; но должен говорить о третьем, заключающем в себе известную вам развязку. Мы имели обыкновение после каждого годового экзамена несколько недель ничего не делать — право, которое мы приобрели не знаю каким образом. В это время те из нас, которые имели у себя деньги, брали из грязной лавки Ступина, находящейся подле самого корпуса, книги для чтения, и какие книги! Глориозо, Ринальдо Ринальди, разбойники во всех возможных лесах и подземельях! И я, по несчастию, был из усерднейших читателей! О, если б покойная нянька Дон-Кишота была моею нянькой! С какою бы решительностью она бросила в печь весь этот разбойничий вздор, стоющий рыцарского вздора, от которого охладел несчастный ее хозяин! Книги, про которые я говорил, и в особенности Шиллеров Карл Моор, разгорячили мое воображение; разбойничья жизнь казалась для меня завиднейшею в свете, и, природно-беспокойный и предприимчивый, я задумал составить общество мстителей, имеющее целию сколько возможно мучить наших начальников. — Описание нашего общества может быть забавно и занимательно после главной мысли, взятой из Шиллера, и остальным, совершенно детским его подробностям. Нас было пятеро.

Мы сбирались каждый вечер на чердак после ужина. По общему условию ничего не ели за общим столом, а уносили оттуда все съестные припасы, которые возможно было унести в карманах, и потом свободно пировали в нашем убежище. Тут-то оплакивали мы вместе судьбу свою, тут выдумывали разного рода проказы, которые после решительно приводили в действие. Иногда наши учители находили свои шляпы прибитыми к окнам, на которые их клали, иногда офицеры наши приходили домой с обрезанными шарфами. Нашему инспектору мы однажды всыпали толченых шпанских мух в табакерку, отчего у него раздулся нос; всего пересказать невозможно. Выдумав шалость, мы по жеребью выбирали исполнителя, он должен был отвечать один, ежели попадется; но самые смелые я обыкновенно брал на себя, как начальник. — Спустя несколько времени, мы (на беду мою) приняли в наше общество еще одного товарища, а именно сына того камергера, который, я думаю, вам известен как по моему, так и по своему несчастию. Мы давно замечали, что у него водится что-то слишком много денег; нам казалось невероятным, чтоб родители его давали 14-летнему мальчику по 100 и по 200 р. каждую неделю. Мы вошли к нему в доверенность и узнали, что он подобрал ключ к бюро своего отца, где большими кучами лежат казенные ассигнации, и что он всякую неделю берет оттуда по нескольку бумажек. — Овладев его тайною, разумеется, что мы стали пользоваться и его деньгами. Чердашные наши ужины стали гораздо повкуснее прежних: мы ели конфеты фунтами; но блаженная эта жизнь недолго продолжалась. Мать нашего товарища, жившая тогда в Москве, сделалась опасно больна и желала видеть своего сына. Он получил отпуск и в знак своего усердия оставил несчастный ключ мне и родственнику своему X<анык>ову: «Возьмите его, он вам пригодится», — сказал он нам с самым трогательным чувством, и в самом деле он нам слишком пригодился! — Отъезд нашего товарища привел нас в большое уныние. Прощайте, пироги и пирожные, должно ото всего отказаться. Но это было для нас слишком трудно: мы уже приучили себя к роскоши, надобно было приняться за выдумки; думали и выдумали! — Должно вам сказать, что за год перед тем я нечаянно познакомился с известным камергером, и этот случай принадлежит к тем случаям моей жизни, на которых я мог бы основать систему предопределения. Я был в больнице вместе с его сыном и, в скуке долгого выздоровления, устроил маленький кукольный театр. Навестив однажды моего товарища, он очень любовался моею игрушкою и прибавил, что давно обещал такую же маленькой своей дочери, но не мог еще найти хорошо сделанной. Я предложил ему свою от доброго сердца; он принял подарок, очень обласкал меня и просил когда-нибудь приехать к нему с его сыном; но я не воспользовался его приглашением. — Между тем X<анык>ов, как родственник, часто бывал в его доме. Нам пришло на ум: что возможно одному негодяю, возможно и другому. Но X<анык>ов объявил нам, что за разные прежние проказы его уже подозревают в доме и будут за ним присматривать, что ему непременно нужен товарищ, который по крайней мере занимал бы собою домашних и отвлекал от него внимание. Я не был, но имел право быть в несчастном доме. Я решился помогать X<анык>ову. Подошли святки, нас распускали к родным. Обманув, каждый по-своему, дежурных офицеров, все пятеро вышли из корпуса и собрались у Молинари. Мне и X<анык>ову положено было идти в гости к известной особе, исполнить, если можно, наше намерение и прийти с ответом к нашим товарищам, обязанным нас дожидаться в лавке. — Мы выпили по рюмке ликеру для смелости и пошли очень весело негоднейшею в свете дорогою. — Нужно ли рассказывать остальное? Мы слишком удачно исполнили наше намерение; но по стечению обстоятельств, в которых я и сам не могу дать ясного отчета, похищение наше не осталось тайным, и нас обоих выключили из корпуса с тем, чтоб не определять ни в какую службу, разве пожелаем вступить в военную рядовыми. — Не смею себя оправдывать; но человек добродушный и, конечно, слишком снисходительный, желая уменьшить мой проступок в ваших глазах, сказал бы: вспомните, что в то время не было ему 15 лет; вспомните, что в корпусах то только называют кражею, что похищается у своих, а остальное почитают законным приобретением (des bonnes prises) и что между всеми своими товарищами едва ли нашел бы он двух или трех порицателей, ежели бы счастливо исполнил свою шалость; вспомните, сколько обстоятельств исподволь

познакомили с нею его воображение. Сверх того, не более ли своевольства в его поступке? Истинно порочный, следовательно, уже несколько опытный и осторожный, он бы легко расчел, что подвергает себя большой опасности для выгоды довольно маловажной; он же не оставил у себя ни копейки из похищенных денег, а все их отдал своим товарищам. Что его побудило к такому негодному делу? Корпусное молодечество и воображение, испорченное дурным чтением. Из сего следует то единственно, что он способнее других принимать всякого роду впечатления и что при другом воспитании, при других, более просвещенных и внимательных наставниках, самая сия способность, послужившая к его погибели, помогла бы ему превзойти многих из своих товарищей во всем полезном и благородном. — По выключке из корпуса я около года мотался по разным петербургским пансионам. Содержатели их, узнавая, что я тот самый, о котором тогда все говорили, не соглашались держать меня. Я сто раз готов был лишить себя жизни.

Наконец поехал в деревню к моей матери. Никогда не забуду первого с нею свидания! Она отпустила меня свежего и румяного; я возвращаюсь сухой, бледный, с впалыми глазами, как сын Евангелия к отцу своему. Но еще же ему далече сушу, узре его отец его, и мил ему бысть и тек нападе на выю его и облобыза его. Я ожидал укоров, но нашел одни слезы, бездну нежности, которая меня тем более трогала, чем я менее был ее достоин. В продолжение четырех лет никто не говорил с моим сердцем; оно сильно встрепетало при живом к нему воззвании; свет его разогнал призраки, омрачившие мое воображение; посреди подробностей существенной гражданской жизни я короче узнал ее условия и ужаснулся как моего поступка, так и его последствий. Здоровье мое не выдержало сих душевных движений: я впал в жестокую нервическую горячку, и едва успели призвать меня к жизни. — 18 лет вступил я рядовым в гвардейский Егерский полк, по собственному желанию; случайно познакомился с некоторыми из наших молодых стихотворцев, и они сообщили мне любовь свою к поэзии. Не знаю, удачны ли были опыты мои для света; но знаю наверно, что для души моей они были спасительны. Через год, по представлению великого князя Николая Павловича, был я произведен в унтерофицеры и переведен в Нейшлотский полк, где нахожусь уже четыре года. — Вы знаете, как неуспешны были все представления, делаемые обо мне моим начальством. Из году в год меня представляли, из году в год напрасная надежда на скорое прощение меня поддерживала; но теперь, признаюсь вам, я начинаю приходить в отчаяние. Не служба моя, к которой я привык, меня обременяет; меня тяготит противоречие моего положения. Я не принадлежу ни к какому сословию, хотя имею какое-то звание. Ничьи надежды, ничьи наслаждения мне не приличны. Я должен ожидать в бездействии, по крайней мере душевном, перемены судьбы моей, ожидать, может быть, еще новые годы! Не смею подать в отставку, хотя, вступив в службу по собственной воле, должен бы иметь право оставить ее, когда мне заблагорассудится; но такую решимость могут принять за своевольство. Мне остается одно раскаяние, что добровольно наложил на себя слишком тяжелые цепи. Должно сносить терпеливо заслуженное несчастие — не спорю; но оно превосходит мои силы, и я начинаю чувствовать, что продолжительность его не только убила мою душу, но даже ослабила разум. — Вот, почтенный Василий Андреевич, моя повесть. Благодарю вас за участие, которое вы во мне принимаете; оно для меня более нежели драгоценно. Ваше доброе сердце мне порукою, что мои признания не ослабят вашего расположения к тому, который много сделал негодного по случаю, но всегда любил хорошее по склонности. — Всей душой вам преданный — Боратынский».

48. В. А. Жуковскому

1824, январь, вторая половина, Роченсальм «Почтеннейший Василий Андреевич! По совету дяди моего я пишу к будущей Великой Княгине Елене Павловне и прошу ее покровительства в моем деле. Для человека Вашего сердца не нужны красноречивые убеждения, чтобы подвинуть его к благодетельной деятельности;

довольно одного уведомления. Ежели, при этом случае, Вы можете мне быть полезным, не откажите мне в Вашей помощи. Я с моей стороны уверен, что Великая Княгиня, предуведомленная Вами обо мне, как об человеке с некоторыми дарованиями (Вы не погрешите, ежели кое-что и прибавите), примет двойное во мне участие. Я пишу к дяде, чтоб он постарался перед подаянием письма моего с Вами увидеться. Извините, почтенный Василий Андреевич, ежели я пишу к Вам слишком наскоро и без особого старания. Дядя торопит меня, и в одно утро я должен был изготовить грамоту к Великой Княгине, письмо к нему и это маранье к Вам. Не успевая изъяснить Вам всю мою благодарность за всегдашнее Ваше участие в судьбе моей, оставляю всю ее в моем сердце. Всей душой преданный — Боратынский».

49. В. А. Жуковскому

1824, март, 5, Роченсальм

«Болезнь, почтенный Василий Андреевич, препятствовала мне изъявить вам мою признательность за трогательные строки, доставленные мне Дельвигом. Вы меня благодарите в них за письмо мое, как будто я обязал вас, потрудившись написать его, и забывая, что вы одни мне благодетельствуете, помните только, что я несчастлив и имею нужду в утешении. Поверьте, что мне не тягостна благодарность, особенно благодарность к вам. Я любил вас, плакал над вашими стихами прежде, нежели мог предвидеть, что мне могут быть полезны прекрасные качества вашего сердца. — До меня дошли такие хорошие вести о моем деле, что, право, я боюсь им верить. Препоручаю судьбу мою вам, моему Гению-покровителю. Вы начали, вы и довершите. Вы возвратите мне общее человеческое существование, которого я лишен так давно, что даже отвык почитать себя таким же человеком, как другие, и тогда я скажу вместе с вами: хвала поэзии, поэзия есть добродетель, поэзия есть сила; но в одном только поэте, в вас, соединены все ее великие свойства. — Да будут дни ваши так прекрасны, как ваше сердце, как ваша поэзия. Лучшего желания не может придумать до глубины души вам преданный — Боратынский».

50. Н. В. Путяте

1824, май, 24-25. Вильманстранд

"Баратынский был у вас, желая засвидетельствовать вам свое почтение и благодарить за участие, которое вы так благородно принимаете в нем и в судьбе его. Когда лучшая участь даст ему право на более короткое знакомство с вами, чувство признательности послужит ему предлогом решительно напрашиваться на ваше доброе расположение, а покуда он остается вашим покорнейшим слугою"».

51. Маменьке

1824, сентябрь, Роченсальм

Перевод: «Мы собираемся покинуть Роченсальм, любезная маменька. Закревский, исполняя просьбу полковника, позволил ему занять просторный и прекрасный дом в Кюмени, дом принадлежит казне. Это всего в семи верстах от прежних наших квартир. Полковник берет меня с собою в помощь жизни. Достойно примечания, что я займу в этом доме именно те две комнатки, которые занимал когда-то Суворов — когда строил Кюменскую крепость. Но раньше начала октября мы туда не попадем. Письма же можно адресовать в Роченсальм, как и прежде. — Я веду жизнь вполне тихую, вполне покойную и вполне упорядоченную. Утром занят немногими трудами своими у себя, обедаю у полковника, у него провожу обыкновенно и вечер, коротая его за игрой с дамами в бостон по копейке за марку: правда, я всегда в проигрыше от рассеянности, зато, благодаря этому, меня видят, по меньшей мере, учтивым. — У нас

прекрасная осень. Кажется, она вознаграждает нас за нынешнее плохое лето. Я люблю осень. Природа трогательна в своей прощальной красоте. Это друг, покидающий нас, и радуешься его присутствию с меланхолическим чувством, переполняющим душу. — Полковник получил письмо из Ржева, принесшее крайне неожиданные новости. Неурожай привел там к настоящему бунту. Крестьяне уходят из своих домов. Более трех тысяч человек оставили уезд. Все крепостные. Перемена мест не обходится без буйств: они начинают с того, что захватывают все, что могут, в домах своих владельцев, собираются толпами и клянутся друг другу, одни против господ, другие против правительства, третьи против Ар. «Аракчеева». Невеселая забава. Вы уже получили эти новости?»

52. Н. М. Коншину

1824, сентябрь-октябрь, до 11, Роченсальм

«Получил я письмо твое, милой Коншин; оно дышит счастием, и я сердечно рад, что хоть кто-нибудь из наших нашел исполнение сердечных надежд своих. Я одного с тобою мнения о милой спутнице твоей жизни, какое-то чувство, чувство, никогда ни тебя, ни меня не обманывавшее, говорит мне и говорило прежде, что она доставит тебе всю отраду возможную. Дай Бог, чтобы дни последующие были подобны первым, и почему не надеяться! — Мы недавно танцевали на серебряной свадьбе у Нортмана, очень было весело: были приезжие из Ф<ридрихс>гама, между прочим твоя Амалия. Лутковский с маленькою злостию рассказывал при ней о счастливой твоей женитьбе, о твоих доходах, простирающихся до 20 тысяч, о надеждах твоих получать со временем до 50 (ты узнаешь нашего Егора). Бедняжка не знала, куда девать глаза, и то бледнела, то краснела. Поделом ей. — Почти все здешние тебе кланяются, узнав, что я получил от тебя письмо и собираюсь отвечать, Наталья же Нортман очень усердно. — Я живу помаленьку: ни весел, ни скучен. Волочусь от безделья за Анетой, обыкновенно по воскресеньям у Лутковского. Дома пишу стихи и лечусь от раны, которую мне нанесла любовь: но эта рана не сердечная. — Степанов произведен в генералы. Мы ели у него превосходительный пирог. Наши дамы жалуются на А. И. гордость: прежде она жаловалась на ихнюю. Так-то вертится колесо фортуны. — Приехать к тебе — один из тех воздушных замков, которых почитаешь такими, но все-таки строишь для своего удовольствия. Сердечно хотел бы посмотреть на твое житье-бытье и полюбоваться твоим счастием, но это вряд ли когда случится. Я в себе несвободен и Бог весть буду ль свободным заживо. — Ты мне говоришь о наших счетах. Ежели можешь, то пришли сколько-нибудь: я в Петербурге начисто промотался. — Клеркер живет тоже счастливо. Я был у него и прочел в глазах его, которые никогда не лгут, что он доволен своею судьбою. Дистерло уехал в Лифляндию на воды — я один остался из старой братии нашей. — Прощай, желаю тебе продолжительно теплой жизни в твоем семействе, простоты в чувствах, всегдашней доверенности, основы супружеского счастия. Мне кажется, что это счастие всегда должно несколько держать несколько надиэте, и что всякая неумеренность для него пагубна. Забавно, что я, холостой, преподаю советы тебе, женатому; но это от доброй души и по старой привычке философствовать. Прощай, вспоминай, когда вспомнится. — Боратынский. — Милостивой Государыне Авдотье Яковлевне мое усерднейшее почтение».

53. Н. В. Путяте

1824, октябрь, 11, Роченсальм

«Получил я письмо ваше, любезный мой покровитель, и не умею иначе благодарить вас за благосклонное ваше предложение, как принимая его с живейшею благодарностью. Меня точно бы пугала ваша столица, ежели б вы не подавали мне надежды найти в вас и наставника и защитника. Впрочем, что бы меня ни ожидало в Гельзингфорсе, случай, доставляющий мне удовольствие провести несколько дней с вами и утвердить столько же для меня лестное, сколько

приятное знакомство, я почитаю очень счастливым случаем в моей жизни. — Не зная имени вашего, я не мог употребить в заглавии письма моего обыкновенной формы писем; извините меня в этом и будьте уверены, что это нисколько не ослабляет истинного уважения и совершенной преданности, с которыми остаюсь, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою. — Е. Боратынский. — 1824-го года 11 октября».

54. А. И. Тургеневу

1824, октябрь, 31, Гельсингфорс

«Ваше превосходительство — Милостивый государь — Александр Иванович! — Если б я не был глубоко тронут великодушным вашим участием, я не имел бы сердца. Не скажу ни слова более о моей признательности: вы ни на кого не похожи; нет такого человеконенавистника, который не помирился бы с людьми, встретя вас между ними. Многое мог бы я прибавить, но мое дело не судить, а чувствовать. — Арсений Андреевич прав, желая повременить представлением, настоящая тому причина решительна. На последней докладной записке обо мне рукою милостивого монарха было отмечено так: не представлять впредь до повеления. Вот почему я и не был представлен в Петербурге. Вы видите, что после такого решения Арсений Андреевич иначе как на словах не может обо мне ходатайствовать и что он подвергается почти верному отказу, если войдет с письменным представлением. Едва ли не лучше подождать; два месяца пройдут неприметно, а я привык уже к терпению. — Хотя ваше превосходительство сами удостоива-ете осведомляться о поэтических моих занятиях, может быть, я поступлю нескромно, ежели скажу вам, что я написал небольшую поэму и ежели попрошу у вас позволения доставить вам с нее список. Стихи все мое добро, и это приношение было бы лептою вдовицы. — С истинным почтением и совершенною преданностью честь имею быть вашего превосходительства покорный слуга — Е. Боратынский. — Гельзингфорс. — Октября 31 дня».

55. М. Е. Лобанову

1824, ноябрь-декабрь (?), Гельсингфорс

«Судьба моя такова, почтенный Михаил Евстафьевич, что я никогда не могу сказать наперед, сделаю ли я что или нет. «Маккавеи» не переведены, но вы, может быть, уже слышали от Дельвига, что я переменил местопребывание, с этим вместе и обстоятельства мои переменились. Мне очень совестно, что не могу сдержать моего слова; но должен решительно отказаться от труда, на который точно не имею досуга кроме того, что чувствую себя к нему неспособным. Побраните меня: я этого стою; но не лишите доброго вашего расположения, которое я тоже несколько заслуживаю, ценя его очень дорого. Преданный вам — Е. Боратынский».

56. В. К. Кюхельбекеру

1825, январь, около 24-25, Гельсингфорс

«Милый Вильгельм, письмо это тебе доставит Николай Васильевич Путята, человек, уважающий твои дарования, твой нрав и твое сердце и потому желающий с тобою сблизиться. Мы вместе жили в Гельзингфорсе более двух месяцев; ежели подробности, до меня касающиеся, покажутся тебе занимательными, можешь его расспросить; он тебе расскажет все, что невозможно уместить в письме. — Давно, и слишком давно, я к тебе не писал; но ты сам виноват, не доставя мне своего адреса. Послав мне 1-ю часть «Мнемозины», ты не удостоил меня ни двумя строчками твоего рукописания; несмотря на то, я желал поблагодарить тебя за приятный для меня подарок, но не мог, ибо не знал места твоего жительства, и решился для возобновления нашей переписки дожидаться того времени, когда ты до такой бы степени прославился

своим журналом, чтобы можно было надписывать письма к тебе, как некогда надписывали их к математику Эйлеру: Г-ну Кюхельбекеру в Европе. Не сердись за эту шутку, старый товарищ, а прими мой сердечный привет от доброго сердца. — Я читал с истинным удовольствием в 3-й части «Мнемозины» разговор твой с Булгариным. Вот как должно писать комические статьи! Статья твоя исполнена умеренности, учтивости и, во многих местах, истинного красноречия. Мнения твои мне кажутся неоспоримо справедливыми. Тебе отвечали глупо и лицемерно. — Не оставляй твоего издания и продолжай говорить правду. Я уверен, что оно более и более будет расходиться; но я советовал бы тебе сделать его по крайней мере ежемесячным. Ты знаешь, что журнальная литература получает всю свою занимательность от занимательности вседневных обстоятельств, об которых она судит и рядит; пропущено время — потеряно действие. — Посылаю тебе кое-что для твоего журнала; послал бы более, ежели б имел, но чем богат, тем и рад. Прощай, милый Вильгельм; отвечай мне, сделай милость; напиши, как живешь и что с тобою. Наше старое знакомство дает мне право требовать от тебя некоторой доверенности; я тот же сердцем, надеюсь, что и ты не переменился. — Преданный тебе Боратынский».

57. А. И. Тургеневу

1825, январь, 25, Гельсингфорс

«Ваше превосходительство — Милостивый государь — Александр Иванович! — Арсений Андреевич поехал в Петербург 24-го сего месяца, подав мне возможные надежды на свое покровительство; я очень хорошо знаю, что вашему только ходатайству обязан я добрым его расположением. Теперь, когда моя участь так решительно зависит от его представительства, не откажитесь напомнить ему об участии, которым вы меня удостаиваете, и тем поощрить Арсения Андреевича к исполнению его обещаний. — Препровождаю при сем стихотворную повесть, о которой упоминал я в одном из моих писем. Ежели вы оцените не произведение, а чувство, с которым я приношу его вашему превосходительству, вы будете довольны мною и примете благосклонно этот незначительный памятник живой моей благодарности. — С истинным почтением и совершенною преданностью честь имею быть вашего превосходительства, милостивый государь, покорнейшим слугою. — Е. Боратынский. — Гельзингфорс. — Генваря 25. 1825. — Письмо это доставит вашему превосходительству адъютант Арсения Андреевича Муханов. Ежели по благорасположению вашему ко мне вы пожелаете подробно осведомиться о моих обстоятельствах — он коротко их знает и будет удовлетворительно отвечать на все вопросы вашего превосходительства».

58. Маменьке

1825, февраль, 10, Кюмень

Перевод: «Из Кюмени пишу к вам, милая маменька, где мой славный Лутковский и его жена с прежнею дружбою приютили меня. Я увидел их с истинным чувством, и как могло быть иначе? Пять лет я провел с ними, всегда окруженный заботами, всегда принятый как лучший из друзей. Им я обязан всем облегчением моего изгнания. — Генерал простился со мною любезнейше и обещал сделать все зависящее от него для представления. Я верю, что он сдержит слово. Но даже если, вопреки его ко мне благорасположению, дело не будет иметь успеха, я навеки сохраню к нему живую признательность за все наслаждения моей жизни в Гельзингфорсе. Три месяца, проведенные там, навсегда останутся сладостным моим воспоминанием. — Я уехал на следующий день после него с генеральшею. Ничто столь не оживляет, как краткие путешествия, подобные тому, что мы совершили. С нами была та самая Мисс, о которой я говорил вам, и один адъютант — обширного ума юноша. Ничто не могло быть милее наших обедов и ужинов. Мы расстались лучшими друзьями, и путешествие это пробудило во мне, по крайней мере, на время, неодолимую охоту странствовать. — Как ваше здоровье, милая

маменька? Я долго не писал к вам, но тому причиною путешествия, всегда вынуждающие к перерывам в переписке. Что ж! я тоже нескоро теперь получу вести из Мары. — Прощайте, любезная маменька, даст Бог вам здоровья и утешит вам душу: это моя ежедневная молитва, и я повторяю ее в своих письмах столь же привычно, как и искренне».

59. Н. В. Путяте

1825, февраль, 20-е числа, Кюмень

«В шумной Москве ты не забыл финляндского отшельника, милый Путята, спасибо тебе: да благо ти будет и долголетен будеши на земли. Жаль мне, что ты не застал Кюхельбекера: он человек занимательный по многим отношениям и рано или поздно в роде Руссо очень будет заметен между нашими писателями. Он с большими дарованиями, и характер его очень сходен с характером женевского чудака: та же чувствительность и недоверчивость, то же беспокойное самолюбие, влекущее к неумеренным мнениям, дабы отличиться особенным образом мыслей; и порою та же восторженная любовь к правде, к добру, к прекрасному, которой он все готов принести на жертву. Человек вместе достойный уважения и сожаления, рожденный для любви к славе (может быть, и для славы) и для несчастия. Спасибо тебе за попечение твое о моих стихотворных детках: ты всех их пристроил пристойным образом. Очень обяжешь, ежели исполнишь свое обещание и пришлешь «Горе от ума». Не понимаю, за что москвичи сердятся на Грибоедова и на его комедию: титул ее очень для них утешителен и содержание отрадно. Что сказать тебе о моей Кюменской жизни? Гельзингфорские воспоминания наполняют пустоту ее. С удовольствием привожу себе на память некоторые откровенные часы, проведенные с тобою и с Мухановым. Вспоминаю общую нашу Альсину с грустным размышлением о судьбе человеческой. Друг мой, она сама несчастна: это роза, это Царица цветов; но поврежденная бурею — листья ее чуть держатся и беспрестанно опадают. Боссюет сказал, не помню о какой принцессе, указывая на мертвое ее тело: «La voila telle que la mort nous 1'a faite» <Вот что сделала с ней смерть> Про нашу Царицу можно сказать: «La voila telle que les passions 1'ont faite» <Вот что сделали с ней страсти>. Ужасно! Я видел ее вблизи, и никогда она не выйдет из моей памяти. Я с нею шутил и смеялся; но глубоко унылое чувство было тогда в моем сердце. Вообрази себе пышную мраморную гробницу, под счастливым небом полудня, окруженную миртами и сиренями, — вид очаровательный, воздух благоуханный; но гробница — все фобница, и вместе с негою печаль вливается в душу: вот чувство, с которым я приближался к женщине, тебе еще больше, нежели мне, знакомой. — Я заболтался, да немудрено заболтаться. Прощай, мой милый, кружись в вихре большого света московского, но не забывай уединенного друга, которому твое воспоминание очень дорого. Ты позабыл доставить мне твой адрес. Я прошу Муханова переслать тебе это письмо. Прощай, обнимаю тебя от всей души. — Е. Боратынский».

60. Н. М. Коншину

1825, февраль, 26, Кюмень

«Виноват, неизвинительно виноват перед тобою, милой Коншин; но, ей-богу, заботы моей гельзингфорской жизни были отчасти причиною, что я не отвечал на письмо твое. Сначала по обыкновению моему откладывал с почты до почты, а потом узнал по газетам, что ты приехал в П-бург, но, не зная твоего адреса, не мог писать тебе туда. Что скажу тебе? Я все тот же ветреник и брюзга, как и прежде; но зато ты во мне найдешь и прежнего товарища финляндской жизни. Спасибо тебе за деньги, они пришли кстати. Я не понял первой половины письма твоего — догадываюсь, что ты не доволен тем, что не нашел в моем письме такого восторга, какой дышит в твоем первом: этого ты не мог от меня требовать. Нравы наши довольно не сходны. Ты во всем охотно видишь хорошую сторону; а я охотно дурную. Впрочем, кажется, я не старался

тебя разочаровывать и надеюсь, что ты никогда не разочаруешься, ибо счастие твое основано не на мечтах, а на первых началах природы человеческой. Не спрашиваю тебя о твоем житьебытье, ибо знаю, что женатые редко отвечают искренно на вопрос такого рода. Мы имеем с тобою общим только прошедшее, а настоящее и будущее принадлежит уже одному тебе и сопутнице твоей жизни. Так и должно быть. Мы на лето идем в Петербург, надеюсь и желаю с тобою увидеться; поговорим про старое время и обнимемся как старые знакомые. Прощай. Преданный тебе Боратынской. — Милостивой государыне Авдотье Яковлевне мое усерднейшее почтение».

61. И. И. Козлову

1825, март, после 29 — апрель, начало, Кюмень

«Воистину воскрес, почтенный и любезный Иван Иванович, и у нас о том слухи носятся, да полно, верить ли? У вас в просвещенной столице, конечно, это лучше знают, нежели в нашей темной глуши. Благодарю за милое письмо, очень рад, что, начиная писать ко мне по-русски, вы и меня разрешаете на то же. По большей части мы говорили с вами по-французски, оттогото я и начал с вами переписку на языке, которого от долгого неупотребления я позабыл правописание и самые обороты. Возвращаюсь вместе с вами на отеческую почву. — Полк наш нынешним летом будет в Петербурге. У меня сердце трепещет от радости, когда подумаю, что скоро буду в кругу истинных друзей моих и обниму вас, милого брата-поэта. Ваша «Венециянская ночь» без лести прелестна! В ней роскошная мечтательность искусно сливается с мечтательностью мрачною. Описание Венеции исполнено какой-то полуденной неги; а место, где красавица направляет гондолу свою к морю, едва ли не лучшее во всей пьесе. Так мне кажется, и я без обиняков говорю свое мнение, потому что вы сами к тому меня пригласили. Жду с нетерпением «Чернеца» и благодарю за похвалы отрывку из «Эды». В третьей части я воспользовался вашими советами и старался в ней поместить более лирических движений,

нежели в двух первых. — «Элисейские поля» написаны назад тому года четыре; это французская шалость, годная только для альманаха. Я до половины написал новую небольшую поэму. Чтото из нее выйдет! Главный характер шекотлив, но смелым Бог владеет. Вот что говорят в Москве

Кого в свой дом она манит? Не записных ли волокит, Не новичков ли миловидных? Не утомлен <ли> слух людей Молвой побед ее бесстыдных И соблазнительных связей? И вот что я прибавляю: Беги ее: нет сердца в ней! Страшися вкрадчивых речей Обворожительной приманки, Влюбленных взглядов не лови: В ней жар упившейся вакханки, Горячки жар, не жар любви!

об моей героине:

Вы говорите о наших журналистах; но, слава богу, мы здесь не получаем ни одного журнала, и мне никто не мешает любить поэзию. Полевого я видел только раз, перед отъездом его в Москву: он мне показался энтузиастом вроде Кюхельбекера. Ежели он бредит, то бредит от доброй души и по крайней мере добросовестен. Всего досаднее Вяземский. Он образовался в беспокойные времена междуусобий Карамзина с Шишковым, и военный дух не покидает его и ныне:

Войной журнальною бесчестит без причины Он дарования свои: Не так ли славный вождь и друг Екатерины Орлов еще любил кулачные бои?

Это экспромт; и я думаю, по стихам оно заметно. Прощайте. — Преданный вам Боратынский».

62. Н. В. Путяте

1825, апрель, после 5, Кюмень

«Получил я второе письмо твое из Москвы, милый Путята, спасибо тебе. С живым участием прочел я его первые строки. Ежели мое сравнение удачно, то твое распространение трогательно; но холод гробницы не совсем еще умертвил твою душу: она жива для дружбы и для всего доброго и прекрасного. Заблуждения нераздельны с человечеством, и иные из них делают больше чести нашему сердцу, нежели преждевременное понятие о некоторых истинах.

Нам надобны и страсти и мечты, В них бытия условие и пища. Не подчинишь одним законам ты И света шум и тишину кладбища.

Зачем же раскаиваться в сильном чувстве, которое ежели сильно потрясло душу, то, может быть, развило в ней много способностей, дотоле дремавших? Не хочешь ли видеть предметы с новой точки зрения и, вместо нашей гробницы, не вспомнишь ли ты Шекспиров плуг, раздирающий и плодотворящий землю. — Но не кончишь, когда дело пойдет на сравнения. Фея твоя возвратилась уже в Гельзингфорс. Кн. Львов провожал ее. В Фридрихсгаме расписалась она в почтовой книге таким образом: «Le prince Chou-Cheri, heritierpresomptif du royaume de la Lune, avec une partie de sa cour et la moiti6 de son serail» <князь Милуша, вероятный наследник царства Лунного, с некоторыми из придворных и половиной своего сераля >. Веселость природная или судорожная нигде ее не оставляет. Виделся я с генералом при проезде его через Ф<ридрихс>гам. Кажется, мне мало надежды на производство; но так и быть! Муханов оставил адъютантство, и корпусная квартира потеряла для меня половину своей приманчивости. Ты один теперь у меня остаешься при Гельзингфорском дворе. Остальные лица для меня более нежели чужды. Не заедешь ли ты ко мне в Кюмень. Я живу в доме полкового командира и имею особую комнату. То-то бы ты меня обрадовал! — Пишу новую поэму. Вот тебе отрывок описания бала в Москве:

Блистает тысячью огней Обширный зал; с высоких хоров Гудят смычки; толпа гостей; С приличной важностию взоров, В чепцах узорных, распашных, Ряд пестрых барынь пожилых Сидит. Причудницы от скуки То поправляют свой наряд, То на толпу, сложивши руки, С тупым вниманием глядят. Кружатся дамы молодые,

Пылают негой взоры их; Огнем каменьев дорогих Блестят уборы головные. По их плечам полунагим Златые локоны летают; Одежды легкие, как дым, Их легкий стан обозначают. Вокруг пленительных Харит И суетится и кипит Толпа поклонников ревнивых; С волненьем ловят каждый взгляд: Шутя несчастных и счастливых Из них волшебницы творят. В движеньи все. Горя добиться Вниманья лестного красы, Кавалерист крутит усы, Франт штатский чопорно острится».

63. Н. В. Путяте

1825, апрель, после 5, Кюмень

«29 марта < ошибка>. — Я поклепал на тебя в моем сердце, милый Путята; думал, что ты приехал уже в Гельзингфорс, не повидавшись со мною. Письмо твое много меня порадовало: приезжай, приезжай, обниму тебя с нежнейшею дружбою. — По какому случаю ты ждешь письма от генерала, чтоб возвратиться в корпусную квартиру? Неужели и ты хочешь оставить Финляндию? На кого же ты меня оставишь? Сколько перемен произошло в два месяца! — Благодарю тебя за похвалы моему отрывку. В самой поэме ты узнаешь Гельзингфорские впечатления. Она моя героиня. Стихов 200 уже у меня написано. Приезжай, посмотришь и посудишь, и мне не найти лучшего и законнейшего критика. — Московская цензура либо невинна, как пятилетняя девочка, либо весела, как пьяная сводня; можно ли позволить напечатать такую непристойную поэму, как «Леда». Неужели Одоевский вытиснул под ней мое имя? Сохрани Боже! мне нельзя будет показать глаз читающим дамам. Пиши после этого! Леда моя публично целуется со своим Лебедем, а буре шуметь не позволено. Неисповедимы судьбы твои, о цензура русская! — На Руси много смешного; но я не расположен смеяться, во мне веселость — усилие гордого ума, а не дитя сердца. С самого детства я тяготился зависимостью и был угрюм, был несчастлив. В молодости судьба взяла меня в свои руки. Все это служит пищею гению; но вот беда: я не гений. Для чего ж все было так, а не иначе? На этот вопрос захохотали бы все черти. — И этот смех служил бы ответом вольнодумцу; но не мне и не тебе: мы верим чему-то. Мы верим в прекрасное и добродетель. Что-то развитое в моем понятии для лучшей оценки хорошего, что-то улучшенное во мне самом — такие сокровища, которые не купят ни богач за деньги, ни счастливец счастием, ни самый гений, худо направленный. — Прощай, милый Путята, обнимаю тебя от всей души. — Боратынский».

64. А. А. Муханову

1825, май, после 7-8, Кюмень

«Душа моя Муханов. Спасибо за письма, но отвечать буду после: мочи нет от радости. Два только слова о деле. Мне нужно для вступления в Петербург кое-что, и вот список: — Темляк. Шифр рублей в 100 серебр. Репеек. Кишкеты серебр. Эполеты с вышитым № 23-й дивизии, голубые. — Денег у меня теперь нет, а это составляет рублей 200. Ежели ты можешь

купить мне все это на свои и прислать в Роченсальм, много меня обяжешь. Ежели же у тебя деньги лишние не случатся, то сделай милость, потрудись доставить приложенную здесь записку дяде моему: он тотчас даст тебе оные. Впрочем, только мы выйдем в Петербург, т.е. 10-го июня, я возвращу тебе что ты издержишь, и, если можно, старика не беспокой. — Прощай. Весь твой — Боратынский. — Бери это все на казенной фабрике».

65. А. И. Тургеневу

1825, май, 9, Кюмень

«Ваше превосходительство — милостивый государь — Александр Иванович! — Наконец я свободен и вам обязан моею свободою. Ваше великодушное, настойчивое ходатайство возвратило меня обществу, семейству, жизни! Примите, ваше превосходительство, слабое воздаяние за великое добро, сделанное мне вами, примите несколько слов благодарности, вам, может быть, не нужных, но необходимых моему сердцу. Вот уже несколько дней, как все около меня дышит веселием, от души поздравляют добрые мои товарищи, и вам принадлежат их поздравления! Скоро возвращуся я в мое семейство, там польются слезы радости, и вы их исторгнете! Да наградит вас Бог и ваше сердце. — С глубочайшим почтением и совершенною преданностью честь имею быть — ваш покорнейший слуга — Евгений Боратынский. — Кюменьгород. — Майя 9 дня 1825».

66. Н. В. Путяте

1825, май, 15, Кюмень

«15 мая. — Спасибо, Путятушка, за пересланные письма и особенно за твое собственное. Ты в нем сказал почти все, что могло мне быть занимательным, чем отплачу тебе? Одною живою благодарностью. Получил я письмецо от Муханова: он остается в Петербурге до 20 июля, и там я надеюсь с ним увидеться. Заочно ты будешь с нами. Порадуемся и погорюем вместе. Скажу тебе между прочим, что я уже щеголяю в нейшлотском мундире: это довольно приятно; но вот что мне не по нутру — хожу всякий день на ученье и через два дня в караул. Не рожден я для службы царской. Когда подумаю о Петербурге, меня трясет лихорадка. Нет худа без добра и нет добра без худа. Скажи, ежели можешь, Магдалине, что я сердечно признателен за ее участие. Она не покидает моего воображения. Напиши мне, какую роль играет Мефистофелес и каково тебе. Я часто переношусь мыслями в ваш круг; но, может быть, он уже не похож на круг мне прежде знакомый. Мы скоро выступаем в поход: адресуй мне свои письма либо на имя Муханова, либо на имя барона Дельвига в импер. библиотеку. Прощай, душа моя, обнимаю тебя от всего сердца. — Е. Боратынский».

67. Н. В. Путяте

1825, авгкст, начало месяца, Петербург

«Виноват, милый Путята, виноват, но не сердцем, истинно к тебе привязанным, а нравом беспечным и ленивым. Давно не писал к тебе, но не переставал о тебе думать, не переставал вспоминать о нашей гельзингфорской жизни и о дружеском твоем появлении в Кюмени. — Ты можешь себе вообразить, как меня изумило и обрадовало неожиданное свидание с Агр. Фед., с Мисинькой и наконец с Каролиною Левандер, которая вовсе было вышла из моей памяти. Я уже два раза их видел. Аграфена Федоровна обходится со мною очень мило, и хотя я знаю, что опасно и глядеть на нее, и ее слушать, я ищу и жажду этого мучительного удовольствия. В сентябре думаю побывать в Гельзингфорсе, чтобы поблагодарить генерала за мое воскрешение и пожить с тобою. — Многие подробности оставляю до первой почты. Письмо это доставит тебе Аграфена Федоровна. Она очень любезно вызвалась на это. Она же может сообщить тебе,

почему я не успевал к тебе писать, почему не приехал в Парголово и проч. и проч. — Проводил я Муханова в Москву: он поехал беспокойный и грустный и будет таковым повсюду. Какой несчастный дар — воображение, слишком превышающее рассудок! Какой несчастный плод преждевременной опытности сердце, жадное счастия, но уже неспособное предаться одной постоянной страсти и теряющееся в толпе беспредельных желаний! Таково положение Муханова, и мое, и большей части молодых людей нашего времени. — Через несколько дней мы возвращаемся в Финляндию, я этому почти рад: мне надоело беспричинное рассеяние, мне нужно взойти в себя, а взошед в себя, я наверно встречусь с тобою и чаще стану к тебе писать. Ты, я думаю, видишь по слогу этого письма, в каком беспорядке мои мысли. Прощай, милый Путята, до досуга, до здравого смысла и наконец до свидания. Спешу к ней: ты будешь подозревать, что и я несколько увлечен. Несколько, правда; но я надеюсь, что первые часы уединения возвратят мне рассудок. Напишу несколько элегий и засну спокойно. Поэзия чудесный талисман: очаровывая сама, она обессиливает чужие вредные чары. Прощай, обнимаю тебя. — Боратынский. — Письмо, приложенное здесь, я сначала думал вручить Магдалине; но мне показалось, что в нем поместил опасные подробности. Посылаю его по почте, а ей отдаю в запечатанном конверте лист белой бумаги. Как будет наказано ее любопытство, если она распечатает мое письмо! Прощай».

68. Маменьке

1825, август, 16

Перевод: «16 августа. — Из Выборга к вам пишу, милая маменька. Благодаря Бога смотры наши завершены, и мы на пути к Финляндии — стране, которая еще недавно была для меня местом изгнания и где теперь я ищу приют спокойствия. Томительное и несосредоточенное существование мое в Петербурге принудило меня прервать переписку, теперь возвращаюсь к ней и между тем собираюсь с духом, чтобы понять, как мне располагать своей судьбой отныне, когда я волен собою распоряжаться. Такое занятие непривычно мне: до сих пор я жил без мысли о будущем, ибо у меня его почти не было. И вот, свободный в конце концов, я желал бы воспользоваться, сколько можно, всем, что я видел и о чем мыслил доселе — всем, что я знаю о себе и других, чтобы быстролетящие дни не были утрачены безвозвратно. — Надеюсь провести не менее полугода подле вас. Впрочем, не знаю, когда отправлюсь в дорогу: в октябре или по первому зимнему пути. Я хотел бы знать, что вы решили касательно Сержа. Необходимо нужно, чтобы он приехал в Петербург со свидетельством о дворянстве, без чего эта история продолжится бесконечно. Стоит ему представить его, он будет принят в училище, о коем я говорил, и не сомневаюсь, что благодаря своим способностям и с помощью людей, которые могут попросить за него, он останется при штабе. Закревский собирается на зиму в Петербург, думаю, он не откажется покровительствовать брату, благо ему довольно сказать два слова. Я пробуду несколько дней в Гельзингфорсе — в основном, затем, чтобы выразить благодарность генералу за все сделанное им для меня, а кроме того, чтобы продолжить с ним знакомство. В Петербурге я видел г-жу Закревскую: она приезжала на петергофский праздник, захватив с собою одну юную финляндку — показать ей столичные чудеса. Мы летали по городу вместе. Словом, мое путешествие в Гельзингфорс — и развлечение и, между тем, прощальный салют. Прощайте, милая маменька. Да вернет вам Господь здоровье и да сохранит вас. Завтра мы покидаем Выборг и 30-го будем в Роченсальме».

69. Н. В. Путяте

1825, ноябрь, Москва

«Ежели с приезда в Москву я к тебе не писал, милый Путята, я виноват не душой, а бренным моим телом, заболевшим через неделю после. Я теперь еще не выезжаю: однако ж в первые дни успел повидаться с твоим батюшкой, с Рылеевым и с Мухановым. Странно, что,

проживши почти два месяца в Москве, я принужден писать к тебе как будто из Кюмени, ибо не знаю ничего нового, ничего не мог заметить, почти ни с кем не познакомился и сидел один в моей комнате с ветхим моим сердцем и с ветхими его воспоминаниями. Я отдал письмо твое Муханову. Что скажу тебе про него? Он живет домком, много читает, жалуется на хандру и оживляется одними финляндскими воспоминаниями; однако ж признается, что страсть к Авроре очень поуспокоилась. Все проходит! — За неимением занимательнейшего предмета буду говорить о себе. Я нашел семью свою в Москве. Свидание было радостно и горестно. Я нашел мать мою в самом жалком положении, хотя приезд мой оживил ее несколько. Брат Путята, судьба для меня не сделалась милостивее. Поверишь ли, что теперь именно начинается самая трудная эпоха моей жизни. Я не могу скрыть от моей совести, что я необходим моей матери, по какой-то болезненной ее нежности ко мне, я должен (и почти для спасения ее жизни) не расставаться с нею. Но что же я имею в виду? Какое существование? Его описать невозможно. Я рассказывал тебе некоторые подробности, теперь все то же, только хуже. Жить дома для меня значит жить в какой-то тлетворной атмосфере, которая вливает отраву не только в сердце, но и в кости. Я решился, но признаюсь, не без усилия. Что делать? Противное было бы чудовищным эгоизмом... Прощай, свобода, прощай, поэзия! Извини, милый друг, что налегаю на твою душу моим горем, но, право, мне нужно было несколько излиться. — Я думаю просить перевода в один из полков, квартирующих в Москве. Не говори покуда об этом генералу: к нему напишут отсюда. Я слышал, что ты будешь скоро к нам в белокаменную. Приезжай, милый Путята, поговорим еще о Финляндии, где я пережил все, что было живого в моем сердце. Ее живописные, хотя угрюмые горы походили на прежнюю судьбу мою, также угрюмую, но по крайней мере довольно обильную в отличительных красках. Судьба, которую я предвижу, будет подобна русским однообразным равнинам, как теперь покрытым снегом и представляющим одну вечно унылую картину. Прощай, мой милый. Я отослал письмо твое к Ознобишину; но за нездоровьем с ним еще не виделся. Преданный тебе — Е. Боратынский».

70. Соболевскому

1825, ноябрь — 1826, август, Москва

«С Денисом Васильевичем я еще не видался, любезный Сергей Александрович; но при первом случае с ним поговорю. С моей же стороны посылаю что могу. Благодарю тебя за доверенность к преданному тебе — Е.

71. А. С. Пушкину

1825, декабрь, первая половина, Москва

«Благодарю тебя за письмо, милый Пушкин: оно меня очень обрадовало, ибо я очень дорожу твоим воспоминанием. Внимание твое к моим рифмованным безделкам заставило бы меня много думать о их достоинстве, ежели б я не знал, что ты столько же любезен в своих письмах, сколько высок и трогателен в своих стихотворных произведениях. — Не думай, чтобы я до такой степени был маркизом, чтоб не чувствовать красот романтической трагедии! Я люблю героев Шекспировых, почти всегда естественных, всегда занимательных, в настоящей одежде их времени и с сильно означенными лицами. Я предпочитаю их героям Расина; но отдаю справедливость великому таланту французского трагика. Скажу более: я почти уверен, что французы не могут иметь истинной романтической трагедии. Не правила Аристотеля налагают на них оковы — легко от них освободиться — но они лишены важнейшего способа к успеху: изящного языка простонародного. Я уважаю французских классиков, они знали свой язык, занимались теми родами поэзии, которые ему свойственны, и произвели много прекрасного. Мне жалки их новейшие романтики: мне кажется, что они садятся в чужие сани. — Жажду иметь понятие о твоем Годунове. Чудесный наш язык ко всему способен, я это чувствую, хотя

не могу привести в исполнение. Он создан для Пушкина, а Пушкин для него. Я уверен, что трагедия твоя исполнена красот необыкновенных. Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело — признательность и удивление. — Вяземского нет в Москве; но я на днях еду к нему в Остафьево и исполню твое препоручение. Духов Кюхельбекера читал. Не дурно, да и не хорошо. Веселость его не весела, а поэзия бедна и косноязычна. Эду для тебя не переписываю, потому что она на днях выдет из печати. Дельвиг, который в П<етербур>ге смотрит за изданием, тотчас доставит тебе экземпляр и пожалуй два, ежели ты не поленишься сделать для меня, что сделал для Рылеева. Посетить тебя живейшее мое желание; но Бог весть, когда мне это удастся. Случая же, верно, не пропущу. Покаместь будем меняться письмами. Пиши, милый Пушкин, а я в долгу не останусь, хотя пишу к тебе с тем затруднением, с которым обыкновенно пишут к старшим. — Прощай, обнимаю тебя. За что ты Левушку называешь Львом Сергеевичем? Он тебя искренно любит, и ежели по ветрености как-нибудь провинился перед тобою — твое дело быть снисходительным. Я знаю, что ты давно на него сердишься; но долго сердиться не хорошо. Я вмешиваюсь в чужое дело; но ты простишь это моей привязанности к тебе и твоему брату. — Преданный тебе — Боратынский. — Адрес мой: в Москве, у Хари-тона в Огородниках, дом Мясоедовой».

72. П. А. Вяземскому

1825, декабрь, после 7, Москва

«Простите, спорю невпопад Я с вашей Музою прелестной; Но мне Парни ни сват, ни брат: Совсем не он отец мой крестный. Он мне, однако же, знаком: Цитерских истин возвеститель, Любезный князь, не спорю в том, Был вместе с вами мой учитель.

Извините, ежели я так поздно отвечаю на лестное письмо ваше. Вместе с Мухановым я думал сей же час воспользоваться дружеским приглашением вашим, но не удалось. Письмо ваше к барону Дельвигу отправлено. Сближение с вами есть живейшее мое желание, и мне очень хочется напроситься на доброе ваше расположение. При первой возможности буду к вам в Остафьево. Между тем примите уверение в искренней преданности одного из усердных почитателей ваших. — Е. Боратынский».

73. 3. А. Волконской

1826-1828

Перевод: «Признательно благодарю вас, сударыня, за ваш любезный отзыв о моей маленькой повести. Ваше одобрение было бы для меня более чем лестно, если бы я не знал, что вы столь же снисходительный, сколь и блестящий критик. Одно лишь нездоровье помешало мне явиться к вам, и завтрашний день также лишит меня этой радости. Не сомневайтесь, сударыня, что как только я буду в состоянии выходить, я не замедлю засвидетельствовать вам свое почтение: поступая иначе, я пренебрег бы и своим удовольствием, и самим долгом. Имею честь быть, сударыня, нижайшим и покорнейшим слугой — Евгений Боратынский».

74. С. Д. Полторацкому

1826-1829?

«Не могу быть у тебя сегодня, милый Сергей Дмитриевич, за тем, что не совсем здоров. Я лишен большого удовольствия, но надеюсь, что не надолго, и только оправлюсь, явлюсь к тебе на поклон. Преданный тебе Е. Боратынский».

75. Н. В. Путяте

1826, январь-февраль (?), Москва

«<...> В Москве пронесся необычный слух: говорят, что Магдалина беременна? Я был поражен этим известием. Не знаю — почему, беременность ее кажется непристойною. Несмотря на это, я очень рад за Магдалину: дитя познакомит ее с естественными чувствами и даст какую-нибудь нравственную цель ее существованию. До сих пор еще эта женщина преследует мое воображение, я люблю ее и желал бы видеть ее счастливою».

76. Н. В. Путяте

1826, январь, начало месяца. Москва

«Милый Путята, вот письмо к Закревскому об моей отставке; я прошу тебя, милый друг, или просто отдать письмо мое А. А. или объяснить ему, почему я так поздно прошу его ходатайствовать об увольнении меня от службы. Я послал просьбу мою в полк прежде петерб. смятений. Во время оных, несколько испуганный, я написал Лутк<овскому>, чтоб он удержал мою просьбу. Когда все поуспокоилось, я снова просил его отправить прошение мое по команде. Теперь же я хорошенько не знаю (не получал известия от Лутковского), мог ли он остановить его или нет. Ежели нет, то прошение мое давно уже дошло до вас, ежели да, то вы на днях его получите. Окажи мне это одолжение, да еще одно. Я, право, не знаю, жив ли мой Лутковский или нет: он мне не отвечает. Извини, что я беспокою тебя моими препоручениями, но ты чувствуешь, что на тебе одном все мои надежды. — Я довольно часто вижу Александра Муханова. Кажется, что любовь его к Авроре очень поуспокоилась. На днях познакомился я с Толстым, Американцем. Очень занимательный человек. Смотрит добряком, и всякий, кто не слыхал про него, ошибется. — Стихи у меня что-то не пишутся, и я почти ничем не занят. Когда решится судьба моя, более спокойным духом, снова примусь за перо. Вот тебе покуда эпиграмма на поэтов прекрасного пола:

Не трогайте Парнасского пера, Не трогайте, пригожие вострушки! Красавицам немного в нем добра, И им Амур другие дал игрушки. Любовь ли вам оставить в забытьи Для жалких рифм? Над рифмами смеются, Уносят их Летийские струи: На пальчиках чернила остаются.

Обнимаю тебя».

77. А. С. Пушкину

1826, январь, после 7, Москва

«Посылаю тебе «Уранию», милый Пушкин; не велико сокровище; но блажен, кто и малым доволен. Нам очень нужна философия. Однако ж позволь тебе указать на пиэсу под заглавием:

«Я есмь». Сочинитель мальчик лет семнадцати и, кажется, подает надежду. Слог не всегда точен, но есть поэзия, особенно сначала. На конце метафизика, слишком темная для стихов. Надо тебе сказать, что московская молодежь помешана на трансцендентальной философии, не знаю, хорошо ли это или худо, я не читал Канта и признаюсь, не слишком понимаю новейших эстетиков. Галич выдал пиэтику на немецкий лад. В ней поновлены откровения Платоновы и с некоторыми прибавлениями приведены в систему. Не зная немецкого языка, я очень обрадовался случаю познакомиться с немецкой эстетикой. Нравится в ней собственная ее поэзия, но начала ее, мне кажется, можно опровергнуть философически. Впрочем, какое о том дело, особливо тебе. Твори прекрасное, и пусть другие ломают над ним голову. Как ты отделал элегиков в своей эпиграмме! Тут и мне достается, да и поделом; я прежде тебя спохватился и в одной ненапечатанной пьэсе говорю, что стало очень приторно: Вытье жеманное поэтов наших лет. — Мне пишут, что ты затеваешь новую поэму Ермака. Предмет истинно поэтической, достойный тебя. Говорят, что, когда это известие дошло до Парнаса, и Камоэнс вытаращил глаза. Благослови тебя Бог и укрепи мышцы твои на великий подвиг. — Я часто вижу Вяземского. На днях мы вместе читали твои мелкие стихотворения, думали пробежать несколько пьэс и прочли всю книгу. Что ты думаешь делать с Годуновым? Напечатаешь ли его, или попробуешь его прежде на театре? Смерть хочется его узнать. Прощай, милый Пушкин, не забывай меня».

78. Н. В. Путяте

1826, январь, до 19, Москва

«Спасибо тебе, милый Путята, за твои письма. Одно из них принесло двойную пользу: доставило мне большое удовольствие и успокоило твою матушку, которая некоторое время не получала о тебе известия и несколько горевала. — Немудрено, что от тебя ускользнуло описание Финляндии, которое ты нашел в «Телеграфе». Оно писано не в Гельзингфорсе, а в Москве. На днях выйдет моя «Эда», и я тотчас пришлю к тебе экземпляр. Любезного Буткова, нежного обожателя Ф. В. Булгарина, благодарю за замечание; но прибавлю свое. В поэзии говорят не то, что есть, а то, что кажется. На краю горизонта скалы касаются неба, следственно всходят до небес. В прозе я виноват, а в стихах едва ли не прав. Между тем вот ему на потеху маленькое посланьице к его приятелю:

В своих листах душонкой ты кривишь, Уродуешь и мненья и сказанья; Приятельски дурачеству кадишь, Завистливо поносишь дарованья; Дурной твой нрав дурной приносит плод: Срамец, срамец! все шепчут. — Вот известье! Эй, не тужи, уж это мой расчет: Подписчики мне платят за бесчестье.

Я думаю послать хорошо переплетенный экземпляр «Эды» генералу. Я позабыл поздравить его с новым годом; а теперь уж поздно. Мне этого очень совестно. Я бы не хотел, чтоб он мог подумать, что я позабыл моего благодетеля. Негодная поэтическая беспечность! — Я скучаю в Москве. Мне несносны новые знакомства. Сердце мое требует дружбы, а не учтивостей, и кривлянье благорасположения рождает во мне тяжелое чувство. Гляжу на окружающих меня людей с холодною ирониею. Плачу за приветствия приветствиями и страдаю. — Часто думаю о друзьях испытанных, о прежних товарищах моей жизни — все они далеко! и когда увидимся? Москва для меня новое изгнание. Для чего мы грустим в чужбине?

Ничто не говорит в ней о прошедшей нашей жизни. Москва для меня не та же ли чужбина? Извини мне мое малодушие, но в скучной Финляндии, может быть, ты с некоторым удовольствием узнаешь, что и в Москве скучают добрые люди. Прощай, мой милый, обнимаю тебя. Благодарю Александра за незабвение; а я тебя и его очень помню. — Боратынский».

79. Невесте

1826, февраль (?) — март, Москва

Перевод: «Я чувствую себя превосходно, милая Настинька, и благодарю вас за все вчерашние заботы. Я сохраню о них сладостное воспоминание: ибо они — свидетельства вашей любви, а для меня нет в мире ничего дороже».

80. А. А. Муханову

1826, октябрь, около 20 (?), Москва

«Душа моя Муханов. Брат Ираклий привез мне изустные вести о тебе; позволь пожалеть, что не привез письменных. Мне больно, что мы в Москве так мало виделись; но я в этом не виноват: я был в первых попыхах женитьбы и принадлежал обязанностям, может, более приятным, нежели обязанности службы, но столько же определенным. Я пожил с Путятой и на днях проводил его в Петербург или, лучше сказать, в Финляндию. Он едет туда на смертную скуку. Там у него не будет ни одного товарища, что говорится, ни одного. Я ему советовал пуститься в авторство, чтобы сберечь себя от сумасшествия. А. Ф. видел по разрешении от бремени. Что об ней сказать? Облегчилась! Двор уехал, Москва глупа и тошна; но мне мало до этого дела, потому что я счастлив дома. Принялся опять за стихи, привожу к концу «Дамский вечер». Пушкин здесь, читал мне Годунова: чудесное произведение, которое составит эпоху в нашей словесности. Прощай, мой милый. Обнимаю тебя усердно и столько же усердно молю тебя не обречь меня забвению. Твой Боратынский».

81. Н. В. Путяте

1826, ноябрь, Москва

«Как мне жаль, милый Путята, что мне не удалось с тобой проститься при отъезде твоем из Москвы; а с тех пор от тебя ни слуху ни духу: что с тобою? Я узнал от твоей матушки, что ты еще в Петербурге и, по московским слухам, что ты не поедешь далее. Здесь говорят, что Закревский будет министром юстиции. Дай Бог! Я думаю, тебе и ему равно надоела Финляндия. Один из моих братьев приехал из Тульчина и привез известия о Муханове: в новом положении он скучает по-прежнему. В Тульчине еще скучнее, чем в Гельсингфорсе. Брат мне рассказывал подробности тамошней жизни. Витгенштейн живет в своей деревне и ходит за своими виноградниками, а штаб его в городе. Он добрый немец, счастливый в своем семействе, эконом, ни в чем не похожий на нашего герцога; у него не за кем волочиться, не о чем хлопотать, не с кем мириться и ссориться, одним словом — нет двора. Доставил ли ты письмо мое Дельвигу? Я не получаю от него ни строчки. Сделай милость, попеняй ему и узнай, печатаются ли мои сочиненья или нет. Скажи Дельвигу, что я на него очень сердит. Три письма мои к нему остались без ответа. Писать к человеку, который нам не отвечает, все равно что яриться на облако, подобно какому-то баснословному герою. Будь милее Дельвига, милый Путята, не забывай меня и пиши ко мне. — Я живу потихохоньку, как следует женатому человеку, и очень рад, что променял беспокойные сны страстей на тихий сон тихого счастья. Из действующего лица я сделался зрителем и, укрытый от ненастья в моем углу, иногда посматриваю, какова погода в свете. Прощай, мой милый, люби меня, если не хочешь быть у меня в долгу, и верь, что у меня в сердце готово участье для радостей твоих и печалей».

82. Н. М. Коншину

1826, декабрь, 14, Москва

«Как неожиданное письмо твое меня обрадовало, милый Коншин! Я было потерял тебя из виду, но все тебя помнил: нельзя забыть столько лет, проведенных вместе, столько необыкновенных происшествий, столько истинного товарищества, истинной дружбы! Так, мой милый: вашего полку прибыло: я женат и счастлив. Ты знаешь, что сердце мое всегда рвалось к тихой и нравственной жизни. Прежнее мое существование, беспорядочное и своенравное, всегда противоречило и свойствам моим, и мнениям. Наконец я дышу воздухом, мне потребным; но я не стану приписывать счастия моего моим философическим правилам, нет, мой милый, главное дело в том, что Бог мне дал добрую жену, что я желал счастия и нашел его. Я был подобен больному, который, желая навестить прекрасный отдаленный край, знает лучшую к нему дорогу, но не может подняться с постели. Пришел врач, возвратил ему здоровье, он сел и поехал. Отдаленный край — счастие; дорога — философия; врач — моя Настинька. Какова аллегория? И не узнаешь ли ты в страсти к метафизике твоего финляндского знакомца? Мы точно будем с тобою в родстве. Саратовской губернатор брат мужа родной моей тетки. В вашу сторону я не буду; но в Москве проживу по крайней мере еще год. Ежели ты исполнишь милое твое намерение навестить старого товарища, то он нальет тебе суповую чашку шампанского и напишет Оду. Препоручаю жену мою доброму расположению твоей. Поклонись от меня батюшке и скажи ему, что я живо помню его финляндское гостеприимство. Где Петр Андреевич? Пиши ко мне прямо на мое имя в Москву, у прихода Рождества Столешникова в доме профессора Малова. Прощай, мой милый, обнимаю тебя от всей души и благодарю за воспоминание, которое мне доставило истинную радость. Твой Боратынской».

83. В. В. Измайлову

1826, декабрь, до 28, Москва

«Я столько виноват перед вами, что, верно, не упустил бы случая в чем-нибудь сделать вам угодное, не говоря уже до какой степени мне лестно внимание одного из просвещеннейших наших литераторов. Несмотря на все это не могу исполнить желания вашего. Поэма моя набросана с большою небрежностью; и вы сами чувствуете, что неприлично являться публике в неопрятной одежде. Что ж касается до имени Магдалина, которое пугает цензуру, я решил изменить его словом: богомолка, хотя эта перемена портит всю пьесу. Жаль мне очень, что я теперь так беден стихами: все бы были к вашим услугам. Я довольно самолюбив, чтобы охотно вверять стихи мои писателю, которого собственные произведения научили строгой разборчивости, нежели неграмотным сборщикам стихов, для которых все благо, все добро. С истинным почтением и совершенною преданностью честь имею быть, Милостивый Государь, ваш покорный слуга — Е. Боратынский

84. Соничке Энгельгардт

1827-1836

Перевод: «Я совершенно потрясен твоей добротой, мой милый ангел. Ежели смогу, то непременно приеду, чтобы обнять тебя тысячекратно. Ты не можешь себе представить, как меня обрадовало твое великодушие».

85. Соничке Энгельгардт

1827-1836

Перевод: «Моя прекрасная, добрая сестра, моя милая София, сколько слов, полных дружеского чувства, я желал бы тебе сказать, как бы я хотел уверить тебя в том, что люблю

тебя так, как мог бы любить старший из твоих братьев! Смотри на меня так, будто я принадлежу тебе с той поры, как появился на свет, ибо я не в силах вообразить то время, когда я тебя не любил. Нежно целую твои ручки. Думай о нас, пиши нам. Прощай. — Е. Боратынский».

86. Соничке Энгельгардт

1827-1836

Перевод: «Милая, добрая София, как меня растрогало все, что ты мне говоришь в своем письме. Я никогда не сомневался в твоей дружбе, но мне так отрадно слышать, как об этом говоришь ты. Ты не могла узнать меня прежде, чем я вступил в ваше семейство. Твое сердце и сердце Попиньки <Настасья Львовна > позволили мне отыскать мое собственное, и оно таково, каким его сделали вы. Сохрани для меня, дитя мое, те чувства, которые ты сейчас питаешь ко мне. Прощай, мой добрый, бесценный друг, обнимаю тебя с чувством, которого не умею выразить, но в нем смешано все, что придет в голову любому, кто тебя знает, и все, что может внушить пристрастная дружба. Прощай. Да хранит тебя Господь. Я бы еще многое прибавил <да нет > времени и бумаги ».

87. Соничке Энгельгардт

1827-1836

«Поздравляю тебя, добрая моя София, с днем ангела; мне нет надобности перечислять все, чего я тебе желаю. Ты знаешь, как ты мне дорога. Я бы наговорил тебе кучу нежностей, если бы это не казалось мне чересчур торжественным; и потом — то, что на время отложено, не потеряно. Не однажды в год я намереваюсь любить тебя, но все те дни, которые Бог мне отпустит. Прощай, дитя мое, обнимаю тебя от всей души. — Е. Боратынский».

88. В. А. Жуковскому и А. И. Тургеневу

1827, февраль, 25 — март, 12, Москва

«Грузинский князь, газетчик русской Героя трусом называл: Не эпиграммою французской Ему наш воин отвечал. На глас войны летит он к Куру, Спасает родину князька; А князь наш держит корректуру Реляционного листка.

Позвольте, почтенный Василий Андреевич, напомнить Вам о Баратынском, у которого Вы живете в сердечной памяти. Примите уверение в неизменившейся любви его к Василью Андреевичу и к Жуковскому. Неужели нет надежды на скорое возвращение Ваше в отечество? Увидим ли Вас когда-нибудь в Москве, где между прочими нахожусь и я, но в другом положении, нежели то, в котором Вы мне оказали столько дружбы. День, в который я Вас увижу, будет для меня истинным сердечным праздником. — Препоручаю себя Вашему воспоминанию. — Душевно Вам преданный Е. Боратынский. — Сейчас узнаю от к<нязя> Вяземского, что Александр Иванович живет вместе с вами. Я должен вспоминать о нем всякой раз, как вспоминаю о самом себе. Прошу Вас засвидетельствовать ему мое почтение и сказать, что я пользуюсь семейственным счастием и независимостью, которые он столько желал мне доставить и наконец доставил. Всегда я буду хранить о нем признательное воспоминание. Ничего щастливого не случится в моей жизни без того, чтобы он и Вы не пришли мне на память. — Е. Б.»

89. Н. А. Полевому

1827, ноябрь, до 25, Мара

«Получил я, любезный Николай Алексеевич, «Дива», «Онегина» и мои стихотворения. «Див», как мне кажется, вами оценен беспристрастно в «Телеграфе». Подолинский, конечно, с талантом. Про «Онегина» что и говорить! Какая прелесть! Какой слог блестящий, точный и свободный! Это рисовка Рафаэля, живая и непринужденная кисть живописца из живописцев. Что касается до меня, то не могу сказать, как я вам обязан. Издание прелестно. Без вас мне никак бы не удалось явиться в свет в таком красивом уборе. Много, много благодарен. Довершите ваше одолжение, исполнив еще одну, покорнейшую просьбу. Пошлите барону Антону Антоновичу Дельвигу 600 экземпляров. На Большой Миллионной, в доме г-жи Эбелинг. Между нами особые счеты и отношения. Остальными не откажитесь располагать по вашему усмотрению. Для отсылки такого количества экземпляров, разумеется, нужны деньги; может быть, вы теперь не имеете готовых, а потому я пишу к моему тестю, чтоб он доставил вам 100. Я вам без того много должен. Позвольте вас уверить, что, ежели не окупится издание, я все равно буду исправным должником. При выпуске издания сделайте одолжение доставить моему тестю 12 экз., в том числе 1 на александрийской бумаге. Это для раздачи моим московским родным. Вас же, любезный Николай Алексеевич, прошу доставить по экземпляру к<нязю> Вяземскому, Дмитриеву, Погодину, попросите вашего братца принять от меня на память мои мелочи, а ваш крепостной экземпляр удостойте поставить в вашей библиотеке между Батюшковым и В. Л. Пушкиным. Пришлите мне еще 8 экземпляров. Сколько комиссий! Беда иметь дело с стихотворцем. Простите мне все это во имя господа Феба. — Прощайте, обнимаю вас от всей души. — Е. Боратынский. — Р. S. 300 экземпляров, как я думаю, по почте отправить будет чересчур дорого, нельзя ли по какой-нибудь оказии?» — Адрес: «Милостивому государю Николаю Алексеевичу Полевому в Большой Мещанской, за Сухаревой башней, в доме Поля, в Москве».

90. К. К. Яниш

1828 год (?)

Перевод: «Не по своей воле, мадемуазель, я не могу сдержать слова и прийти к вам сегодня. Сильная простуда принуждает оставаться у себя. Мне не терпится от нее избавиться, чтобы насладиться удовольствиями, кои вы сулите и кои я надеюсь истребовать, лишь только стану выходить из дома. Прошу засвидетельствовать мое почтение вашим родителям. — Е. Боратынский».

91. А. С. Пушкину

1827, февраль, около 23, Москва

«Давно бы я писал к тебе, милый Пушкин, ежели бы знал твой адрес и ежели бы не поздно пришла мне самая простая мысль написать: Пушкину в Петербург. Я бы это наверно сделал, ежели б отъезжающий Вяземский не доставил мне случай писать к тебе — при сей верной оказии. В моем Тамбовском уединении я очень о тебе беспокоился. У нас разнесся слух, что тебя увезли, а как ты человек довольно увозимый, то я этому поверил. Спустя некоторое время я с радостью услышал, что ты увозил, а не тебя увозили. Я теперь в Москве сиротствующий. Мне, по крайней мере, очень чувствительно твое отсутствие. Дельвиг погостил у меня короткое время. Он много говорил мне о тебе: между прочим передал мне одну твою фразу, и ею меня несколько опечалил. — Ты сказал ему: «Мы нынче не переписываемся с Баратынским, а то бы я уведомил его» — и проч. — Неужели, Пушкин, короче прежнего познакомясь в Москве, мы стали с тех пор более чуждыми друг другу? — Я, по крайней мере,

люблю в тебе по-старому и человека, и поэта. — Вышли у нас еще две песни Онегина. Каждый о них толкует по-своему: одни хвалят, другие бранят, и все читают. Я очень люблю обширный план твоего Онегина; но большее число его не понимает. Ищут романической завязки, ищут обыкновенного и разумеется не находят. Высокая поэтическая простота твоего создания кажется им бедностию вымысла, они не замечают, что старая и новая Россия, жизнь во всех ее изменениях, проходит перед их глазами, mais que le diable les emporte et que Dieu les bunisse! <почтоб их черт побрал, а Бог благословил!> Я думаю, что у нас в России поэт только в первых, незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большею обдуманностью, с большим глубокомыслием: он скучен офицерам, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его все-таки не проза. Не принимай на свой счет этих размышлений: они общие. Портрет твой в Северных Цветах чрезвычайно похож и прекрасно гравирован. Дельвиг дал мне особый оттиск. Он висит теперь у меня в кабинете, в благопристойном окладе. Василий Львович пишет романтическую поэму. Спроси о ней у Вяземского. Это совершенно балладическое произведение. Василий Львович представляется мне Парнасским Громобоем, отдавшим душу свою романтическому бесу. Нельзя ли пародировать балладу Жуковского? Между тем прощай, милый Пушкин! Пожалуйста, не поминай меня лихом».

92. Вяземскому

1827, февраль, Москва

«Желаю вам, любезный Князь, счастливой дороги и еще более скорого возвращения. Брат мой препоручает себя вместе со мною вашему воспоминанию. Я взял у вас со стола мой «Московский вестник». У меня остался «Невский Альманах», принадлежащий кн. Дол. «Долгоруковой». Я его ей доставлю. Прощаюсь с вами с истинною грустию. Е. Боратынский».

93. С. П. Шевыреву

1828, февраль, до 27 или июнь, до 18 (?), Москва

«К крайнему моему сожалению, почтенный Степан Петрович, внезапное нездоровье не позволяет мне сегодня присутствовать в заседании общества. Прилагаю при сем две рукописи Ивана Петровича Бороздны, который не будет по той же причине и просит меня доставить оные вам. Не откажитесь. Примите общее наше извинение Господам чтецам. Душевно преданный — Е. Боратынский».

94. П. А. Вяземскому

1828, апрель, начало месяца, Москва

«Исполнил я ваше препоручение, любезный князь: говорил с Полевым довольно серьезно. Результат моей негосиации состоит в том, что он дал мне честное слово послать вам 3000 с первою почтою, в остальных же деньгах росписку. Я не показывал ему первого письма вашего, оно довольно затейливо, и я берегу его на крайний случай. Вы можете быть уверены, что я употребил себя усердно в этом деле: мне в то же время хотелось и оправдать вашу доверенность и найти Полевого честным человеком. — Что наше или, лучше сказать, ваше журнальное предприятие? Неужели вы остановитесь на одном проекте. Не знаю, принесет ли этот журнал большую выгоду редакторам; но он, без сомнения, будет полезен литературе. Забавно подумать, что решительно у всех теперешних наших журналистов нет ни малейшего понятия о вкусе (именно того, что бы нужно было), что почти все наши журналы преимущественно литературные, а ни один из издателей не имеет настоящего литературного образования. И вот между

тем наши судьи! Скажите, кто написал этот позорный разговор о Персидской войне, напечатанный у Булгарина? С'est le coup de pied de l'впе <Это пинок осла>. Можно ли так подло потворствовать правительству или так низко выказывать личную вражду? Сверх того, сатира эта отвратительно обыкновенна, и как не чувствовать, что кто кидает грязью в своего неприятеля, марает в ней, во-первых, собственную свою руку. Не могу вам сообщить новостей светских: вы знаете, что я не живу в свете. Москва для меня множество домов и только. Любуюсь на них снаружи и, может быть, она и лучше снаружи, чем внутри. Отсутствие ваше для меня истинная потеря и, проходя мимо вашего дома, жалею, что могу любоваться одною его архитектурою и не могу зайти к милому хозяину. После отъезда вашего я не был у Василья Львовича. Храбров его храбрится без свидетелей, по крайней мере, я не в числе их. В. Л. фонарь, в котором вы зажигали свечку, без вас он не светит. Прощайте, любезный князь, усердно препоручаю себя вашему доброму расположению. Е. Боратынский. — Земной поклон Василью Андреевичу, которого я столько же люблю, сколько Жуковского. С радостью услышал я голос любимого моего Поэта в стихах, вами присланных; когда-то приведет меня Бог увидеть человека, к которому я привязан всем сердцем и к которому храню глубокую признательность?»

95. Н. В. Путяте

1828, апрель (?), Москва

«Я перед тобой смертельно виноват, мой милый Путята: отвечаю на письмо твое через три века; но лучше поздно, нежели никогда. Не думай, однако ж, чтобы я имел неблагодарное сердце: мне мила и дорога твоя дружба, но что ты станешь делать с природною неаккуратностью?

Прости, мой милой, так создать Меня умела власть господня: Люблю до завтра отлагать, Что сделать надобно сегодня!

Не гожусь я ни в какую канцелярию, хотя недавно вступил в Межевую; но, слава Богу, мне дела мало; а то было бы худо моему начальнику. — Благодарю тебя за твою дружескую критику. Замечания твои справедливы в частности; но ежели б мы были вместе, я, может быть, доказал бы тебе, что некоторые из моих перемен хороши для целого. Впрочем, я никак не ручаюсь за справедливость своего мнения. Поэты по большей части дурные судьи своих произведений. Тому причиной чрезвычайно сложные отношения между ими и их сочинениями. Гордость ума и права сердца в борьбе беспрестанной. Иную пьесу любишь по воспоминанию чувства, с которым она писана. Переправкой гордишься, потому что победил умом сердечное чувство. Чему же верить? Одним я недоволен в письме твоем: оно не совсем дружеское. Ты пишешь ко мне как к постороннему, которому боишься наскучить, говоришь много обо мне и о себе ни слова. Что твоя Альсина? Все ли по-прежнему держит тебя в плену? Кстати, я слышал, что А. А. сделан министром внутренних дел; остаешься ли при нем? Думаешь ли побывать в красной Москве? Я теперь постоянный московский житель. Живу тихо, мирно, счастлив моею семейственною жизнью, но, признаюсь, Москва мне не по сердцу. Вообрази, что я не имею ни одного товарища, ни одного человека, которому мог бы сказать: помнишь? с кем бы мог потолковать нараспашку. Это тягостно. Жду тебя, как дождя майского. Здешняя атмосфера суха, пыльна неимоверна. Женатые люди имеют более нужды в дружбе, нежели холостые. Волокитство доставляет молодому свободному человеку почти везде небольшое рассеяние: он переливает из пустого в порожнее с какой-нибудь пригожей дурой, и горя ему мало. Человек же семейный уже не способен к этой ребяческой забаве; ему нужна лучшая пища, ему необходим бодрый товарищ, равносильный ему умом и сердцем, любезный сам по себе, а не по мелочным отношениям мелочного самолюбия. Приезжай к нам, мой милый Путята, ты подаришь меня

истинно счастливыми минутами. Прощай, прости великодушно мою лень и прочие мои недостатки. Люби меня за то, что я люблю тебя душевно. Твой — Е. Боратынский. — Адрес мой: На Никитской, у прихода Малого Вознесения, дом Энгельгардта. — Я пришлю Магдалине экземпляр, но не поздно ли? Доставил ли тебе Дельвиг экземпляр от меня?»

95а. А. Ф. Тернбергу

1828, апрель, 13, Москва

«Милостивый государь Александр Францович! — Желание ваше напечатать мой портрет мне слишком лестно, чтобы я думал и вздумал ему противиться. Охотно даю согласие требуемое цензурою и почитая себя много обязанным вашим дружеским вниманием, честь имею быть и проч. — Евгений Баратынский. — 1828 года Апреля 13 дн.».

96. А. А. Дельвигу

1828, декабрь, до 4, Москва

«Нет, душа моя Дельвиг: исключение фамилии и исключение пьес не все равно. Я читал их некоторым, ты, вероятно, тоже, следственно, автор будет известен, и у каждого на языке естественный вопрос: для чего вы скрыли ваше имя? Верно потому-то и потому-то. Потешь меня, мой ангел, уничтожь вовсе эти две пьесы. Я тебе в замену пришлю на будущей неделе новое стихотворение под названием «Бесенок»: ежели не затейливо творение, то заглавие задорно. «Северные цветы» твои будут великолепны. Приложишь ли мой портрет, как имел намерение? Признаюсь, это было бы приятно моему самолюбию. Что ты помещаешь в Цветах? «Последнюю эпоху Золотого века» или что другое? Надеюсь, что первое. Я получил письмо от Пушкина, в котором он мне говорит несколько слов о моем «Бале». Ему, как тебе, не нравится речь мамушки. Не защищаю ее; но желал бы знать, почему именно она не хороша, ибо, чтобы поправить ее, надобно знать, чем грешит она. Ты мне хорошо растолковал комический эффект моей поэмы и утешил меня. Мне бы очень было досадно, ежели б в «Бале» видели одну шутку, но таково должно быть непременно первое впечатление. Сочинения такого рода имеют свойство каламбуров: разница только в том, что в них играют чувствами, а не словами. Кто отгадал настоящее намерение автора, тому и книгу в руки. Кстати об руках; от всей души целую ручку у милой Софьи Михайловны и усердно благодарю ее за попечения о моей Настиньке < нрзбр. >. Я люблю ее как родную сестру, да что об этом и говорить и для чего сравнение. Роднее вас у меня никого нет. Сергею ничего не стоила укладка (?), и так об этом не беспокойся. Ширяев «Двойника» доставил и получил от него расписку. Прощай, мой милый Дельвиг: усердно поклонись от меня Гнедичу. Все собираюсь к нему писать, да как-то не удается. Обнимаю тебя — Е. Боратынский. — Р.S. Сделай милость, не упрямься и выбрось известные пьесы. Тебе это ничего не стоит, а для меня очень важно. — Его Высокоблагородию Барону Антону Антоновичу Дельвигу в С. П.бург. На Владимирской, в дом Алферовский бывший Кувшинникова».

97. И. В. Киреевскому

1829-1833

«Разговор, оживленный истинным разговорным вдохновением, то есть взаимною доверенностию и совершенною свободою, столь же мало похож на обыкновенную светскую перемольку, сколько дружеское письмо на поздравительное. Разумеется, что он тем будет полнее, чем разговаривающие более чувствовали, более мыслили и чем более у них сведений всякого рода. Возможно полный разговор требует тех же качеств, как и возможно хорошая книга. Автор берет лист бумаги и старается наполнить его как можно лучше: разговаривающие желают как можно лучше наполнить известный промежуток времени, и тем же самым издельем.

Надобно прибавить, что ежели нужно дарование для выражения письменного, оно нужно и для словесного. Дарование это совершенно особенно. Автор углубляется в свою собственную мысль, стараясь удалить от себя все постороннее; разговаривающий ловит чужую и возносится на ее крыльях. Что развлекает первого, то второму служит вдохновением. Тот же ум, то же чувство, особенным образом разгоряченные, проявляются в быстром обмене слов, с красою, с физио-номиею, отличною от красоты их и физиономии на бумаге. Все предметы разговора равны, ибо все имеют непременную связь между собою и человека мыслящего ведут к одному общему вопросу. Обозревать его можно различно, и потому, сверх первых обыкновенных условий разговора, я прибавлю искреннюю, религиозную любовь к истине, сколько возможно ослабляющую упорную и самолюбивую привязчивость к нашим мнениям потому только, что они наши. Еще два слова: разговор, о коем я говорю, — дитя какого-то душевного брака и требует между разговаривающими сочувствия, взаимного уважения, без которых он не заключится, и следственно, не принесет своего плода — возможно полного разговора».

98. И. В. Киреевскому

1829-1833

«Каков ты, милый Киреевский? Мы очень боимся, не простудился ли ты вчера. Человек наш сказывал, что ты без шинели отыскивал жену мою, которая тебе очень, очень признательна за попечения твои о ней. Напиши мне слова два и успокой нас обоих. — Е. Боратынский».

99. И. В. Киреевскому

1829-1833

«Мне лучше, но я еще не совсем здоров и не знаю, когда мне удастся побывать у тебя. Навести меня, мой милый: поговорим о Семеновой да еще кой о чем. Поклонись от меня батюшке и матушке поцелуй ручку. Жена моя тебе и ей усердно кланяется».

100. А. А. Елагину

1829-1833

«Поздравляю вас, почтенный Алексей Андреевич, с именинами Авдотьи Петровны, очень жалея, что не могу быть у вас сегодня вечером. Я дал вам слово, не сообразив, что первого марта имениница также старуха Пашкова, к которой мы с женою приглашены заранее. Не позже завтраго лично засвидетельствую вам мое почтение. — Е. Боратынский».

101. П. А. Вяземскому

1829, апрель, начало месяца, Москва

«Вы предупредили меня, любезный князь, но только делом, а не намерением. Давно собирался я к вам писать, хотя, имея мало сношений как с грамотным, так и с безграмотным светом, не мог сообщить вам ничего занимательного; но мне хотелось сказать вам, сколько я дорожу вашим добрым расположением и, ежели позволите, — дружбою. Вы не можете себе представить, как Москва для меня без вас опустела! При вас я видался со многими людьми, с которыми теперь не вижусь, потому что уже не надеюсь встретить вас между ними. Вы были лентою, которая связывала пук, а без вас он распался. Пушкин здесь, и я ему отдал ваш поклон. Он дожидается весны, чтобы ехать в Грузию. Я с ним часто вижусь, но вы нам очень недостаете. Как-то из нас двух ничего не выходит, как из двух мафематических линий. Необходима третья, чтобы составить какую-нибудь фигуру, и вы были ею. Вы мне очень лестно советуете приняться за прозу, и, признаюсь, ваше ободрение для меня очень иску-сительно. Ваши разговоры

произвели уже на меня свое действие, и я уже планировал роман, который напишу, ежели станет у меня терпения, а в особенности дарования. Кстати о романах, вышел роман Булгарина «Выжигин». Неимоверная плоскость! четыре тома, в которых вы не найдете не только ни одной мысли, ни одного положения, ни одной картины, ни даже того достоинства, которого можно ожидать от Булгарина, т. е. особенного знания некоторого рода людей, с которыми не знаются порядочные люди, оригинальности шпионских, ежели не литературных замечаний, нет, душа Булгарина — такая земля, которую никакой навоз не может удобрить. Poman ero, soi disant, вроде Жильблаза, заключает в себе одну только характерную черту: посвящение министру юстиции. Я не отказываюсь от мысли что-нибудь выдать вместе с вами: у меня набралось несколько стихотворных пьес, есть кое-что и в прозе. Пишите со своей стороны, а ежели, Бог даст, в мае увидимся, то и увидим, какое сделать употребление из наших матерьялов. Полевому сказал о «Телеграфе». С Раичем еще не видался. Надиньке Озеровой не сказал еще ничего, потому что она теперь говеет, а ваше препоручение не пользительно ее душевному спасению. Я с нею похристосуюсь вашим комплиментом. Прощайте, любезный князь. Засвидетельствуйте мое усердное почтение княгине. Я очень признателен ей за воспоминание. Свербеева препоручила мне вам кланяться всякой раз, как буду к вам писать. Она едет весною в чужие край и, кажется, ей это нужно. Жена моя благодарит вас и княгиню за вашу память. Истинно к вам привязанный — Е. Боратынский».

102. П. А. Вяземскому

1829, май, Москва

«Василий Львович <Пушкин> доставил мне ваш подарок — экз. «Станции». Приношу усерднейшую мою благодарность за этот знак вашего воспоминания. Вы обещали заняться полным собранием ваших сочинений; не отлагайте: оно принесет вам выгоду во всех возможных смыслах, а нам будет что почитать и о чем поговорить. Пушкин уехал в Грузию. Когда я получил письмо ваше, в котором вы у него просите «Полтаву», его уже не было в Москве. «Полтава» вообще менее нравится, чем другие поэмы Пушкина: ее критикуют вкривь и вкось. Странно! Я говорю это не потому, чтобы чрезмерно уважал суждения публики и удивлялся, что на этот раз оно оказалось погрешительным; но «Полтава», независимо от настоящего ее достоинства, кажется, имеет то, что доставляет успех: почтенный титул, занимательность содержания, новость и надобность предмета. Я, право, уже не знаю, чего надобно нашей публике? Кажется, Выжигиных! Знаете ли вы, что разошлось 2000 экз. этой глупости? Публика либо вовсе одуреет, либо решительно очнется и спросит с благородным негодованием: за кого меня принимают? У меня до вас просьба. Ежели вы имеете еще несколько лишних экз. вашего портрета, подарите мне один. Д. Давыдов хитростию у меня выманил тот, который вы мне прежде дали, хотел его срисовать, но вместо того удержал подлинник и прямо говорит: не отдам. Вы имеете право сказать: on se m'arrache < Меня разрывают на части >. Прощайте, любезный князь, надеюсь, что ваши домашние здоровы и что вы теперь спокойнее сердцем. Княгине свидетельствую усердное мое почтение. — Е. Боратынский».

103. П. А. Вяземскому

1829, май, начало месяца (?), Москва

«Письмо ваше, любезный князь, застало меня на самом отъезде в подмосковную. Отвечаю вам наскоро и только об ваших комиссиях. На днях послал я к вам книги, присланные вам Дельвигом на ваше имя из Петербурга, и при них вашу гербовую печать, которую просил мне вам доставить Мицкевич. Сестра моя писала к Фильду о его «Дуре» и прописала желание ваше иметь его doigte, но он прислал ее без оного; посылаю ее, как она есть. Ежели желание ваше не исполнено, в том виноват Фильд, а не усердный вам корреспондент. Посылаю вам вашу пьесу

«К ним», перемеченную Пушкиным. Признаюсь, что и я согласен с его замечаниями. Ради Бога, переправьте ее: она высокого лирического достоинства. В первом письме моем из деревни я постараюсь вам доказать, почему вы несправедливо защищаете стих: новорожденному дар на зубок был нужен, упоминая об иронии. Покуда прощайте, но только на одну неделю. Ваш домашний критик то же, что Сократов Демон или нимфа Егерия, надобно ему верить. Прощайте, любезный князь, и верьте, что я принимаю в сердце каждое ваше сердечное слово. Преданный вам Е. Боратынский».

104. П. А. Вяземскому

1829, май, конец месяца — июнь (?), Мураново «С нетерпением жду, любезный князь, вашего мнения о замечаниях Пушкина на стихи ваши «К ним». Мне кажется, что мы разно думаем о лирической иронии. По мне лирическая поэзия исключает все похожее на остроумие, потому что лукавство его совершенно противусвойственно ее увлеченности. Сердитесь, но не шутите. Пусть будет ирония горькая, но не затейливая. Вот почему мне не нравится: дар на зубок был нужен. Стих этот слишком весел. Я еще не говорил вам о ваших стансах. Критиковать их можно в целом и в частях. В целом можно желать большой сжатости, в частях привязаться к тому или другому выражению; но это различие чувств прекрасно своим обилием: как же требовать от него красоты меры? Ежели кто-нибудь найдет ваше стихотворение растянутым, или вам самим это придет на ум в холодную минуту, то, право, не верьте ни другим, ни себе, оставьте целое его неприкосновенным, а исправляйте только ту или другую строфу в особенности. Я думаю, что в произведениях поэзии, как в творениях природы, близ красоты должен быть непременно недостаток, ее оживляющий. Не знаю, ясно ли я выражаюсь: мысль моя в том, что некоторые недостатки во всяком авторе необходимы для существования его в известном роде, что ежели их уничтожишь, уничтожишь и жизненную меру его произведений и неумолимый вкус будет для творений искусства тем же, что смерть для творений природы. Положим, что можно себя переделать: но в таком случае будешь другим существом, с другими достоинствами, с другими несовершенствами. Чувствую, как трудно переводить светского «Адольфа» на язык, которым не говорят в свете, но надобно вспомнить, что им будут когда-нибудь говорить и что выражения, которые нам теперь кажутся изысканными, рано или поздно будут обыкновенными. Мне кажется, что не должно пугаться неупотребительности выражений и стараться только, чтобы коренной их смысл совершенно соответствовал мысли, которую хочешь выразить. Со временем они будут приняты и войдут в ежедневный язык. Вспомним, что те из нас, которые говорят по-русски, говорят языком Жуковского, Пушкина и вашим, языком поэтов, из чего следует, что не публика нас учит, а нам учить публику. Я не согласен, однако, на слово выторгуем. Оно принадлежит известному ремеслу, а потому неприлично светской даме. Не лучше ли выгадаем, как более общее? Я порадовался вашей эпиграмме на Булгарина. Сегодня же отсылаю ее Дельвигу. — Прощайте,

105. Жене

любезный князь. Любите любящего вас — Е. Боратынского».

1829, июнь, Москва

Перевод: «Я приехал цел и невредим, мой милый друг. Катинька теперь спит, но говорят, что ей лучше, кашляет она меньше и становится веселее. Не могу судить о том сам, ибо пишу к тебе тотчас по приезде. На сердце у меня тяжело, потому что мы разделены: это испытание разлукой — истинное наказание. Я чувствую себя совершенно потерянным. Увидел в нашей спальне твою шляпку и несколько платьев, и у меня так тоскливо сжалось сердце, что я испугался. Я как-то слишком бегло обнял тебя при отъезде, присутствие посторонних стесняло меня: а как только экипаж тронулся, я почувствовал, что мне недостает прощального поцелуя.

Тоскующее сердце мое просило его. Очень непривычно писать к тебе. Как будто начинаешь письменное знакомство, совсем другое, чем наше с тобою. Что за ничтожное занятие — писать, и тот, кто сказал, что оно облегчает разлуку, был человеком очень холодным. Я хотел бы тебе изъяснить все то, что не могу выразить. Я не выскажу никогда нужного мне, и всегда буду бояться, как бы все эти обороты, без коих не обойтись ни в одном письме, не уверили тебя, будто я пишу к тебе так, как к любой другой. Помнится, я рассказывал тебе, как муж Марьи Андреевны заканчивал письма, которые он ей писал: то был перечень ласковых имен и прозваний; мы тогда весьма позабавились этому, но знаешь ли, сейчас мне кажется, что он очень любил свою жену, и в этом нет ничего смешного. А коли так, я хотел бы тебе сказать все самое нежное, и не могу найти ничего лучше, чем назвать тебя Попинька, как будто ты рядом со мной. Душинька моя Попинька, да сохранит тебя Господь. Плохо, что ты мне не объяснила свои поручения перед отъездом, и я не знаю теперь, сколько тебе надобно ситца для Сашиньки, полтора аршина или поларшина. Я сделаю к завтрашнему дню все, что могу, прочее — до следующего раза. Прощай, моя Попинька, береги себя хорошенько и пиши мне. Заканчиваю письмо. Если в течение вечера найдется сообщить тебе что-нибудь занимательное, допишу. Обнимаю тебя сердечно. Двятковской приходил смотреть Катиньку вчера и сегодня. Обнимаю любезную мою Софи, вели ей мне писать и не забывать, что учила ее грамоте именно ты, и посему у меня тоже есть кое-какие права на ее письма. Обнимаю тебя, мой милый друг, и жду нетерпеливо от тебя новостей».

106. П. А. Вяземскому

1829, июнь, вторая половина — июль, до 18, Москва или Мураново «Я еще не отвечал на последнее ваше письмо, любезный князь, однако ж исполнил ваше поручение. Письмо ваше Плетневу ему доставлено. Прочитал его, с вашего позволения, и с истинным удовольствием увидел, что вы приступаете к изданию ваших сочинений. Литературная ваша слава уже установлена, и потому я не скажу вам, что книга ваша будет иметь блистательный успех в этом отношении: это само собою разумеется; но я поручусь вам за успех книгопродавческий, что также немаловажно и по собственным вашим словам: приличнее взять оброк с публики, нежели с крестьян. Не заключите из моего долгого молчания, что вы скольконибудь вышли из моей памяти. Причина его была потеря моей младшей дочери, которая на некоторое время привела меня в совершенное уныние. Потеря ребенка не есть великая потеря, но она живо напоминает возможность утрат важнейших; и эта смерть, которая так неожиданно, так невозвратно похищает у нас то, что мы любим, долго не выходит из памяти. Смерть подобна деспотичной власти. Обыкновенно она кажется дремлющею, но от времени до времени некоторые жертвы выказывают ее существование, и наполняют сердце продолжительным ужасом. Я недавно видел Корсакова, который собирается к вам в Пензу. Где вы проводите нынешнюю зиму? Ежели в деревне, то я буду в вашем соседстве. Постараюсь с вами увидеться. О Пушкине нет ни слуху, ни духу. Я ничего бы о нем не знал, ежели б не прочел в тифлисских газетах о приезде его в Тифлис. — Прощайте, любезный князь, обнимаю вас с душевною горячностью и поручаю себя вашему воспоминанию. — Е. Боратынский».

107. М. П. Погодину

1829, сентябрь (?), до 22—23, Москва

«Главная моя мысль: человечество состоит из человеков, следственно, в нем развивается человек. Ход их развития один и тот же. Закон его в законе разума человеческого. Употребляю страсти, как понятнейшие представители сил человека и человечества для светских людей. Пусть не примут приложение системы, лишь бы приняли систему. Определить истинную соответственность развития человека и развития человечества в подробностях дело целой эпохи.

Общими и даже своенравными применениями хочу только несколько истолковать систему. Изъясняю мысль мою сравнением, и более <как> поэт, нежели философ. — Что касается до Альманаха, во всем согласен и постараюсь все исполнить как следует. До свидания».

108. Н. М. Коншину

1829, сентябрь, около 20, Москва

«Спасибо тебе за твое письмо, милый Коншин, тем более, что я жестоко виноват перед тобою. Но я вижу, что ты знаешь старого своего товарища и прощаешь ему многое за доброе сердце, тебе преданное. Стихов тебе пришлю, душа моя; но не прогневайся, пришлю немного. Нынешний год за разными семейными заботами я писал особенно мало; но чем богат, тем и рад: братски поделюсь между тобой и Дельвигом. Рад, что ты при добром месте. Эта добрая весть успокоивает мне душу. Трудности твоей жизни никогда не выходили из моей памяти. Поздравляю тебя с твоею семейственною надежду <так!>. Знаю по себе, как велика радость быть отцом. У меня, брат, уже порядочная семейка: сын и дочь, да я еще потерял одну малютку. Я и жена моя очень благодарим за дружеское ваше приветствие, отвечаем ему, препоручая себя и вперед вашему воспоминанию. Как жаль, что мы так издалека друг с другом перекликаемся. Скажи мое почтение барону Розену; мы познакомились с ним очень мельком у Полевого, и я весьма жалею, что я не успел утвердить с ним приятельской связи. Стихи его показывают человека не только с дарованием, но и с сердцем, а такие люди мне очень по душе. Я через два дни оставляю Москву и еду в деревню к моей матери. Ты знаешь старинный адрес: Тамбовской губернии в город Кирсанов. Письмо твое меня застало посреди походных сборов. Извини, что не сей же час посылаю тебе стихов. К 1-му ноября пришлю непременно. Прощай, милый Коншин, обнимаю тебя. Напомни обо мне милой супруге своей как о старом знакомце. Не забудь меня уведомить, что тебе Бог дает. Я в моей татарской глуши выпью за здоровье твоего потомства. Твой Е. Боратынский».

109. И. В. Киреевскому

1829, октябрь, первая половина, Мара

«Не знаю, застанет ли тебя письмо мое в России, и все-таки пишу, чтобы уведомить тебя о благополучном моем приезде в мою татарскую родину, а главное, чтоб доказать тебе, что для тебя я не вовсе безграмотен или не так ленив на письма, как ты думаешь. Отъезд твой из Москвы утешит меня в собственном моем отъезде; но грустно мне думать, что при возвращении моем я не найду тебя у Красных Ворот, в доме бывшем Мертваго. Надеюсь, однако, что мы с тобою довольно пожили, поспорили, помечтали, чтоб не забыть друг друга. Мы с тобой товарищи умственной службы, умственных походов, и связь наша должна быть по крайней мере столько же надежною, сколько б она могла быть между товарищами по службе Е. И. В. и по походам графа Паскевича Эриванского. Пиши мне из просвещенного Парижа, а я буду отвечать тебе из варварского Кирсанова. Ежели письма мои тебе покажутся не довольно подробными, не сердись: я в самом деле писать неохотник, и это служит только прекрасным доказательством, что нам не должно разлучаться. О моем теперешнем житье-бытье сказать тебе мне почти нечего. Я не успел еще осмотреться на новом месте. Надеюсь, что в деревенском уединении проснется моя поэтическая деятельность. Пора мне приняться за перо: оно у меня слишком долго отдыхало. К тому же, чем я более размышляю, тем тверже уверяюсь, что в свете нет ничего дельнее поэзии. — Прощай, милый Киреевский, люби меня и помни, а я тебя верно не разлюблю и не забуду. Маменьке твоей свидетельствую мое усердное почтение. Она любезна со всеми, но ежели мое чувство меня не обманывает, со мной обходилась она дружески, и я вспоминаю это с самою нежною признательностью. Обнимаю тебя. — Е. Боратынский. — Жена моя кланяется маменьке твоей и тебе».

110. И. В. Киреевскому

1829, октябрь, вторая половина — ноябрь (?), Мара

«Милое, теплое и умное письмо твое меня и заняло, и обрадовало, и тронуло. Не думай, чтобы я хотел писать тебе мадригалы; нет, мой милый Киреевский, но я рад, что я нахожу тебя таким, каков ты есть, рад, что мое чутье меня в тебе не обмануло, рад еще одному — что ты, с твоей чувствительностью пылкою и разнообразною, полюбил меня, а не другого. Я нахожу довольно теплоты в моем сердце, чтоб никогда не охладить твоего, чтобы делить все мечты и отвечать душевным словом на душевное слово. Береги в себе этот огонь душевный, эту способность привязанности, чистый, богатый источник всего прекрасного, всякой поэзии и самого глубокомыслия. Люди, которых охлаждает суетный опыт, показывают не проницательность, а сердечное бессилие. Вынесть сердце свое свежим из опытов жизни, не позволить ему смутиться ими, вот на что мы должны обратить все наши нравственные способности. Прекрасное положитель-нее полезного, оно принадлежит нам в большей собственности, оно проникает все существо наше, между тем как остальное едва нами осязается. Я пишу эти строки с истинным восторгом, знаю, что твое сердце не имеет нужды в подобных поощрениях, но мне, в мои теперешние лета, испытав, по некоторым обстоятельствам более другого, размышляя не менее других, мне сладко с глубоким убеждением принести это свидетельство в пользу первых чистых вдохновений сердца, простительных, годных, по мнению эгоизма, только в одну пору, а по мне — священных, драгоценных во всякое время. — Я заболтался, душа моя, но от доброго сердца. Желание мое состоит в том, чтобы ты воротился из дальних странствий каким поехал и обнял бы меня с старинною горячностью. Скажи Максимовичу, что я пришлю ему первую пьесу, которая у меня напишется. Ежели же Музы ко мне не будут милостивы, то пусть на меня не пеняет и любит меня по-прежнему. Прощай, мой милый, поклонись от меня и от жены моей милой твоей маменьке. Когда будешь писать к Соболевскому, скажи ему от меня несколько добрых дружеских слов. Напиши, когда именно ты выезжаешь из Москвы. — Жена моя тебя очень благодарит за твое дружеское воспоминание и любит тебя столько же, сколько я».

111. А. Л. Елагиной

1829, октябрь, вторая половина — ноябрь (?), Мара

Перевод: «Вы так добры ко мне, что я даже не берусь выразить вам мою благодарность. Позвольте мне откинуть общепринятые формы; предположите, что они уже соблюдены, и предоставьте мне пользоваться правами дружбы, которую я давно ценю. Я бы почел себя очень счастливым, ежели те минуты, которые вы посвящаете мне в вашем воспоминании, могли бы несколько отвлечь вас от чувств более тягостных. Я воображаю ваше горе при разлуке с вашим сыном. Я предался ему с такою полною дружбой, что не удивляюсь, если, думая о нем постоянно, вы вспоминаете иногда обо мне. Я вам премного обязан за присланные вами стихотворения. В них много простодушия и оригинальности. Стихотворение «Ласточки» исполнено грации; но мне еще более нравится: «Du bist wie eine Blume». В этом последнем есть чувство, которое, конечно, испытал всякий, кто только одарен душою не чуждой восторженности; но никто не решался выразить этого чувства, по чрезвычайной простоте его. Мне кажется, что я разговариваю с вами, когда пишу к вам. Мне так часто случалось рассуждать и спорить при вас о литературе. Вы принимали такое живое участие в том, что обыкновенно занимает только людей причастных к этому делу, что я все еще сохраняю привычку обходиться с вами как с собратом по ремеслу. Мы с женою искренно благодарим вас за участие, принимаемое вами в нашем домашнем благополучии: это роскошь чувства с вашей стороны, так как вы сами так счастливы в вашем милом семейном кругу. Прошу вас напомнить обо мне г-ну Елагину и верить тому, что я всегда с истинно отрадным чувством думаю о дружбе моей с вами и с своей стороны искренно предан вам. — Е. Боратынский».

112. М. П. Погодину

1829, октябрь, вторая половина — ноябрь (?), Мара

«Милостивый государь Михаиле Александрович <ошибка в имени>. —Домашние, непредвиденные мною хлопоты отвлекают меня от литературы и не имея возможности изготовить обещанные мною статьи для нашего Альманаха я принужден отказаться от участия в его издании. Маловажные стихотворения, которые я мог бы вам доставить, помогли бы вам не много и в этом случае я обязан отдать себе справедливость. Искренне радуюсь изданию «Московского вестника» на будущий год. Он нужен нашей литературе. Почитаю долгом записаться в его службу и тем доказать по крайней мере мое словесное правоверие. — Прошу вашего снисхождения к моей неустойке, поверьте, весьма не добровольной. Надеюсь, что вы не перемените ко мне вашего доброго расположения, которое мне весьма дорого. — С истинным почтением честь имею быть, — милостивый государь, — ваш покорный слуга — Е. Боратынский».

113. Н. М. Коншину

1829, октябрь, 20-е числа (?), Мара

«Посылаю тебе, милой Коншин, обещанные стихи. Ты извинишь их неполновесность и поверишь, что вклад мой маловажен не от скупости, а от бедности. Я получил письмо твое, адресованное в Кирсанов. От души поздравляю тебя отцом и милой твоей Олиньке желаю все, что ты ей желаешь. Воображаю твою радость и очень, очень бы желал вместе с Дельвигом быть у тебя на крестинах. Когда-то сведет нас Бог! Моя жизнь, кажется, всегда будет делиться между Москвою и Тамбовом; ты основался в Царском Селе, но кому известно будущее! Может быть, свидимся: дай только Бог, чтобы не тяжелыми переворотами мы были выведены из теперешнего круга. Жена моя усердно благодарит милую Авдотью Яковлевну за ее доброе расположение, и ей было бы очень грустно, ежели б вы ее считали себе чужою. Прощай, милый Коншин, обнимаю тебя от всей души. Спасибо тебе за известие о Лутковском: я давно о нем не имею ни слуха, ни духа. Куда он отправился: и дали ли ему какую-нибудь команду. Я несколько знаю его родных и не могу постигнуть, от какого дяди досталось ему наследство. — Е. Боратынский. — Р. S. Под стихотворением моим «Фея» выставлен год: не забудь его напечатать в твоем альманахе, это мне нужно».

114. И. В. Киреевскому

1829, ноябрь, до 29. Мара

«Доставь, душа моя, эти стихи Максимовичу и поблагодари его за милое его письмо. Не отвечаю ему за недосугом и спеша отправить на почту мой посильный оброк его альманаху. В последнем моем письме я непростительно забыл благодарить твою маменьку за намерение прислать мне Вальтер-Скоттовскую новинку. Я, кажется, ее уже имею: это — Charles le Temeraire «Карл Смелый», не правда ли? По приложенным стихам ты увидишь, что у меня новая поэма в пяльцах, и поэма ультра-романтическая. Пишу ее, очертя голову. Прощай, мой милый, обнимаю тебя преусердно, разумеется, что также свидетельствую мое почтение всему твоему дому, мне очень, очень любезному. — Е. Боратынский».

Адрес на письме: «Его благородию Милостивому Государю Ивану Васильевичу Киреевскому. У Красных ворот в доме Елагина бывшем Мертваго в Москве».

115. М П. Погодину

1829, ноябрь, до 29. Мара

Погодину (вновь с ошибкой в отчестве): «Извините, любезный Михайло Александрович, что пишу к вам только два слова. Я вырвался на минуту от деревенских гостей, чтобы препоручить себя вашему доброму расположению и отправить к вам прилагаемое стихотворение. Любите преданного — Е. Боратынского».

116. П. А. Вяземскому

1829, декабрь, до 20, Мара

«По приезде моем в деревню ежедневно собирался я вам напомнить о себе, любезный князь, но как-то все не удавалось, и я оставался при благом намерении. Могу вас, однако, уверить, что письмо ваше не предупредило бы мое, ежели бы пришло одною почтою позже. Благодарю вас за присылку вашей рукописи; я не принесу ей великую пользу, но для меня чрезвычайно любопытен перевод светского, метафизического, тонко чувственного «Адольфа» на наш необработанный язык, и перевод вашей руки. Я еще не успел разглядеть его. Набег целой орды соседей отнял у меня на дело время. Но я уверен в вашем успехе, и этот успех должен быть эпохальным для нашей словесности. Сердечно радуюсь вашему предисловию к Ф.-Визину. Вы один на поприще нашей литературы поступали, как настоящий писатель, вы передаете ваше мнение обо всем и, наконец, нам будет известно, что вы о чем думали, между тем, как все другие русские писатели, даже с дарованием, вовсе без образа мыслей. Дельвиг мне пишет, что вы вместе с ним издаете «Литературную Газету»: правда ли это? И как хорошо, ежели это правда! Что бы вы ни издавали, прошу почитать меня вашим сотрудником малосильным, но усердным. С Кривцовым, за моим нездоровьем, виделся я только один раз. Он человек любопытный своею оригинальностью и в наших краях он служит предметом множества пересудов; я пользуюсь деревенским уединением, но не совсем так, как вы советуете. Проза мне не дается, и суетное мое сердце все влечет меня к рифмам. Я пишу поэму. В альманахе Максимовича вы найдете один из нее отрывок. Боюсь, не чересчур ли он романтический. Свидетельствую усердное мое почтение княгине и вас прошу о продолжении вашей дружбы, мне драгоценной во всех отношениях. Я истинно к вам привязан, мне кажется, что вы угадываете это, и ничто меня столько не радует. — Преданный вам Е. Боратынский».

Адрес: «Его Сиятельству Князь Петру Андреевичу Вяземскому между Тверской и Никитской в Чернышевском переулке в собственном доме в Москве».

116а. В. А. Боратынской (Рачинской)

1830-е годы

Перевод: «Прошу Александра расцеловать тебя, любезная Варинька, за прекрасный подарок, который ты сделала Саше. С лучшими чувствами вспоминаю о тебе и о твоем муже. — Е. Боратынский».

Перевод: «Прости, любезная Варинька, что я почти не пишу. Но ты ведь знаешь, что я тебя все равно люблю. Целую тебя, дитя мое, от всего сердца. Если ты хочешь знать подробности, то обратись к Настиньке, ибо я не способен их воспроизвести. Прощай, люби меня таким, каков я есть».

117. С. Л. Энгельгардт

1830, январь, середина месяца (?), Мара

Перевод: «Я совсем уже было приготовился, любезная Софинька, написать тебе длинное нравоучительное послание по поводу Киреевского — и как раз письмо от папеньки

возвестило нам его отъезд за границу. Я весьма на него сердит. Измышления, которые он тебе передавал, — в то время как сам думал только о предстоящем путешествии, достойны сентиментального фата, столько же смехотворного, сколь непорядочного, — и тебе не стоит о нем жалеть. Твоя судьба, дорогая Софи, и те затруднения, с которыми ты столкнешься в поисках сердца, столь же возвышенного, сколь твое, огорчают меня; это примешивает толику грусти к тому удовольствию, которое доставляют мне твои успехи в свете. Впрочем, Бог милостив, и если уж он создал тебя такой, какая ты есть, то, наверное, не для того, чтобы твоя прекрасная жизнь не нашла себе применения. У нас дома всё то же. Некоторым, может быть, это и по нраву, но их неразвитые чувства не пробуждают ответа. Когда-то мы свидимся, милое дитя? Я изнываю вдалеке от моего настоящего семейства. Я считаю месяцы, которые мне остается еще провести здесь, хотя Настинька, которая принимает это за дурное пророчество, и выговаривает мне за то. В последний раз я очень некстати с такой недоброжелательностью говорил о твоей милой Надиньке: нам пришло в голову, что твой разрыв с ее братом уменьшил ее расположение к тебе. Ее записочка к Настиньке примирила меня с нею, и я охотно соглашаюсь, что она не переставала тебя любить. Прощай, мой милый ангел, будь здорова; жду от тебя дружеских слов. Обнимаю тебя от всей души — Е. Боратынский».

118. Н. В. Путяте

1830, январь, вторая половина... август (?)

«Переписка наша, милый Путята, прервалась просто потому, что ты уехал в армию, и я не знал, куда адресовать тебе мои письма. Благодарю тебя за твое дружеское воспоминание. Ты меня им истинно порадовал. Письмо твое мне показывает, что есть еще люди, с которыми можно вспомнить старину и подышать ею. Я тоже не переставал помнить и любить тебя. Милый мой Путята, мы с тобою редкие люди! Как бы я хотел тебя видеть и поговорить вдоволь души. Знаю твои теперешние огорчения и принимаю в них самое живое участие. Утешать тебя нечего; но мы бы погоревали вместе. Ты познакомил меня с Адрианополем. Письмо твое живо и занимательно: ты бы отдал его в «Литературную газету». С тех пор, как мы расстались, в жизни моей не было никакой перемены, и слава Богу. Ты все еще при Арсении Андреевиче. Напиши мне, что у вас поделывается, ведь я de la famille <человек семейный>. Как я живо помню гельсингфорскую жизнь! Ты по обязанности часто посещаешь Финляндию. Поверишь ли, что я бы с большим удовольствием теперь навестил ее. Я думаю о ней с признательностью: в этой стране я нашел много добрых людей, лучших, нежели те, которых узнал в отечестве; нашел тебя; этот край был пестуном моей поэзии. Лучшая мечта моей поэтической гордости состояла бы в том, чтобы в память мою посещали Финляндию будущие поэты. Прощай, милый Путята, пиши ко мне: я не буду ленив на ответы. Обнимаю тебя от всей души».

119. П. А. Вяземскому

1830, январь, до 24, Мара

«С благодарностию возвращаю вам «Адольфа» и прошу извинить долгую его задержку. Ее некоторым образом оправдывает семейное событие, в котором трудно сохранить свободу мыслей, нужную для литературной работы. Сестра моя была помолвлена, и среди общей домашней суеты я не мог оставаться спокойным. Вы победили великие трудности в вашем переводе, но ежели вы мне позволите сказать мое мнение, живо пораженные красотою оригинала, как всякой хороший переводчик, вы наложили на себя слишком строгую верность переложения. Знаю, что перифрасы не имеют большого достоинства; но должно уступать необходимости и там, где вы — опытный знаток русского языка — находите невозможность сохранить точные выражения подлинника, там она наверное существует. Я обременил тетрадь вашу замечаниями. Ни за одно из них не стою, но все вместе отдаю на ваше рассмотрение. Вы

сами распознаете, которое дельно, которое нет. Может быть, иное из них внушит вам счастливую переправку. Противуречие возбуждает, а намеки заставляют угадывать. Ежели это правда, я оказал вам истинную услугу, немилосердно испещрив вашу рукопись. — Я не получил никакого отношения от нового литературного общества, о котором вы говорите. Против партий должно действовать партиями. Составим свое общество, призовем всех людей с дарованием и будем издавать труды его, ежегодно, ежемесячно, как придется. Мы теряем потому, что мы ленивы, а противники наши деятельны. На публику действует не качество, а количество произведений. Все ее мнения похожи на мнения религиозные. Они впечатлеваются повторением, а не убеждением. Одним словом, надобно действовать. Вы скажете: c'est bon a dire <легко сказать>, и я пойму вас, но не так c'est bon a faire <легко сделать>. Попробуем; ежели не удастся, не нам привыкать к беззаботности. Препоручаю себя вашему доброму расположению. Будете ли вы в Москве на эту зиму? — Е. Боратынский».

Адрес: «Его Сиятельству Милостивому Государю Князю Петру Андреевичу Вяземскому. Между Тверской и Никитской в Чернышевском переулке в приходе Малого Вознесения в собственном доме в Москве. При сем посылка с лит.: Е. Б.»

120. Маменьке

1830, ноябрь, вторая половина (?), Москва

Перевод: «Мы были счастливы, любезная маменька, получить ваше письмо и удостовериться в вашем добром здравии. Мы тоже здоровы — и взрослые и дети. Сашинька начинает немного понимать по-французски, но успехи ее пока скромны. Впрочем, мы надеемся, дело пойдет на лад. Левушка произносит пока лишь некоторые звуки на неведомом языке, но очень трогательно. Уже три дня, как установилась зима. Мороз, и все улицы в снегу. Даст Бог, погода наладится. Нет ничего хуже осенней грязи. Время от времени я вижусь с Догоновскими, они исполнены дружеской приязни к Вареньке. Я думаю, вы получаете от нее письма, и незачем говорить, что она здорова. Будьте добры, любезная маменька, спросить Сержа, сколь срочно ему требуются бумаги, переданные мне для него Гейманом (это университетские награды). Если срочно — я пошлю их почтой, если нет — подожду оказии. Любопытных новостей у нас нет. О происшедшем в Бельгии вы знаете из газет, в литературе же ничего нового, кроме трагедии Погодина, редактора «Московского вестника» — «Марфа Посадница», доказывающая, что теоретические познания таланту не замена. Прощайте, милая маменька, целую ваши ручки от всего сердца. — Е. Боратынский».

121. П. А. Вяземскому

1830, ноябрь, до 23, Москва

«Скоро ли, любезный князь, вы решитесь оставить Астафьево и взглянуть на воскресающую Москву? Ежели она вам еще кажется опасною, то вы не правы. Можно сказать решительно, что у нас нет уже холеры. Вновь занемогающие, во-первых, малочисленны, вовторых, болезнь их уже не та, и они почти все выздоравливают. Все грозное время провел я в Москве, и хотя мне не было весело, но в то же время не так и тошно, как я ожидал. Мы заперлись в своем доме, никуда не выезжая и никого не принимая. Теперь все оживились, но к моему полному оживлению не достает вашего присутствия. Я слышал, что княгиня в Астафьеве. Прошу ей засвидетельствовать мое почтение. Преданный вам Е. Боратынский».

122. П. А. Вяземскому

1830, ноябрь, конец месяца, Москва

«Спорить с вами не могу, любезный князь, как ни желал бы поспорить. Оставаться в Астафьеве покуда благоразумнее, чем ехать в Москву. Приглашение мое было немного ветрено,

но его внушило сильное желание вас видеть. Благодарю вас за дружественное и лестное письмо ваше, но поверьте, что вы меня еще более тронули своим участием, нежели одобрительным вашим отзывом о моем новом труде, хотя я высоко ценю ваше одобрение. Степную прогулку вашу я уже отправил Дельвигу и, судя по известной его нерасторопности, думаю, что стихотворение ваше придет вовремя. Оно исполнено красок и чувства. Такая поэзия лучше хлору очищает воздух. Вы мне освежили им душу, и я вам очень признателен за то, что вы через меня его переслали в «Северные цветы». Не знаю, что отвечать вам на предложение ваше издавать русских классиков или стариков. Я мало писал в прозе и сколько раз за нее не принимался, всегда неудачно. Терпение мое истощалось на втором листе. По совести, я никак за себя отвечать не могу. Примусь за дело и попробую свои силы. Позвольте мне взяться за Ломоносова. Имея мало затейливости в уме, я думаю, что мне лучше удастся статья важная, нежели игривая. Что касается до Тредьяковского, то я ни себя, ни публику не хочу лишить того, что вы о нем скажете. Читая ваше письмо, мне кажется, я вижу, с какою улыбкою вы написали его имя. Сколько новостей в Москве! Между ними одна величайшей важности. Варшава возмутилась и Великий Князь принужден был ее оставить. Этого мало. С небольшим числом войска он поставил себя в западню. Висла, находящаяся за ним, не позволяет ему ретироваться в Литву. Прибавьте к этому, что и Литва ненадежна. Литовский корпус весь составлен из поляков. Много, много, что половина его останется на стороне русских. Вот минута борьбы решительной, развязка, которая влечет за собой неисчислимые последствия. Нам теперь нужна величайшая быстрота и энергия. После этой новости все другие маловажны. Скажу вам однако ж (что, может быть, вы уже знаете): «Литературная Газета» запрещена за четверостишие Казимира де ла Виня, вероятно, по старанию Булгарина. Прощайте, любезный князь. Как жаль, что вы не <в> соседстве, а делать нечего. Жена моя благодарит княгиню и вас за вашу память, ей очень лестную. — Преданный вам Е. Боратынский».

123. Д. Н. Свербееву

1830, декабрь, 10-е числа (?), Москва

«Приношу чувствительнейшую мою признательность, почтенный Димитрий Николаевич, за дружеское письмо ваше. Вы меня истинно тронули вашим воспоминанием. Поверьте, что, к сожалению, недолговременное наше знакомство и во мне оставило неизгладимое впечатление: я не оставляю надежды когда-нибудь еще более сблизиться с вами и еще полнее пользоваться знакомством, которое и в новости своей было так приятно. Я долго не терял вас из виду. Я знал, что вам не удалось ваше путешествие в чужие края, и надеялся скоро видеть вас в Москве, где в теперешнее время, может быть, безопаснее, нежели во всяком другом месте. Теперь холера у нас проходит, и действие ее не было так ужасно, как мы ожидали. Мы провели все это время в Москве, запершись в своем доме, и признаюсь — первые недели, в которые болезнь развивалась и нельзя было предвидеть, до чего она разовьется, были ужасны. Теперь мы оживаем, равно как и другие жители московские. На улицах — прежнее движение, в домах прежние балы. Спасавшиеся в подмосковных приезжают в город. Кн. Вяземский еще в Астафьеве, но мы его ждем ежедневно. Деревенское уединение было ему полезно; он написал очень много, равно как и Пушкин, проведший это грозное время в своей нижегородской деревне. Он теперь здесь и привез с собой 4 трагедии, поэму, последние две главы Онегина и целую папку прозы. Деятельность его неимоверна. — Пишу вам все сии подробности, зная, что для вас будут занимательны. Киреевский воротился из Германии. Он приехал оттуда с невероятною ненавистью к немцам, впрочем, вывез оттуда много новых философических мыслей. По газетам вы знаете новости политические. Последняя отменно важна и занимательна. Мы с вами имели много политических прений, желал бы очень возобновить их, тем более что, размышляя наедине, я оставил многие из своих мнений для ваших. Препоручаю себя дружескому вашему воспоминанию и остаюсь истинно вам преданный — Е. Боратынский».

124. И. В. Киреевскому

1830, декабрь, 10-е числа — январь, 1831 г., начало, Москва «Я буду у тебя завтра. Давно с тобою не виделся от того, что занят был Пушкиным. Все наши и в том числе я здоровы и кланяемся тебе и твоим. Озеров о своих сыновьях не имеет никаких известий, кроме печатных. Написал ли ты повесть? моя готова. — Е. Боратынский».

125. П.А. Вяземскому

1830, декабрь, вторая половина — январь 1831 г., первая половина. Москва «Отвечаю наскоро на письмо ваше, ибо люди ваши сей час едут. С Пушкиным еще не успел поговорить о письме, но думаю, что он будет согласен. Мы думали было издавать журнал здесь в Москве. Эпиграмма <«Булгарин — вот поляк примерный...»> удивительно хороша: я не знаю лучше, не знаю обиднее. Завтра же порадую ею Пушкина и у него вместе с ним буду подробно отвечать вам. Преданный вам душевно — Е. Боратынский».

126. И. В. Киреевскому

1831, январь — февраль (?), Москва

«Вот тебе моя тетрадь, милый мой Киреевский. Возьми на свое попечение. Постараюсь в скором времени с тобой увидеться. Ежели Максимович тебе доставил обещанную пробу печати, то пришли мне ее. Обнимаю тебя. — Е. Боратынский».

127. С. Т. Аксакову

1831, март, до 20 (?), Москва

«Милостивый Государь Сергей Тимофеевич. Добросовестно соображался с желаниями вашими в моих поправках, надеюсь что вы довольны. Я ссылаюсь на стихи Панара, которых не видно в рукописи. Вот они:

Trop de froideur est indolence, Trop d'activite turbulence, Trop de rigeur est durete, Trop de finesse est artifice, Trop d'economie avarice, Trop d'audace temerite.

Вероятно, вы в них не найдете ничего противного Цензурному уставу. В таком случае позвольте мне воспользоваться вашим обещанием и просить вас покорно возвратить мне мои рукописи. — С истинным почтением и совершенною преданностью, честь имею быть, — Милостивый Государь, ваш покорный слуга — Е. Боратынский».

128. И.В. Киреевскому

1831, апрель, около 19, Москва

«Спасибо тебе за твои хлопоты обо мне. Я думаю, что Смирдин просто прибавил 50 экземпляров, <нрзбр.>. Но все ты прав, и зевать не надобно. Я напишу к своим знакомым, а вас прошу написать к вашим. Я здоров и скоро с тобой увижусь. Ежели Языков у вас, поцелуй его за меня, пока мне самому будет досуг с ним похристосоваться. Обнимаю тебя. — Е. Боратынский».

129. И.В. Киреевскому

1831, апрель, после 19, Москва

«Милый мой Киреевский, сдержи слово и приезжай ко мне либо сей час, либо в 6 часов после обеда. Эдиция моя готова, надо подписывать экземпляры. Попроси Петерсона о чернилах. Сколько я вам доставляю хлопот! Лучше бы мне и не говорить об этом. Напиши, когда будешь. — Е. Боратынский».

130. П. А. Плетневу

1831, апрель, 20-е числа — май, начало месяца, Москва

«Посылаю тебе, милый Плетнев, экз. «Наложницы», чтоб им напомнить об одном из старых друзей твоих. Не знаю, доставил ли тебе покойный Дельвиг письмо мое, в котором было много такого, на что, зная твое сердце, я мог бы ожидать ответа. Я не получил его, и, признаться, это было для меня очень больно. Как ты ни переменился в продолжение пятилетней разлуки, я могу тебя уверить, что я остался тем же, чем был до нее. Я имею несчастье быть мало известным моим знакомым или, лучше сказать, не возбуждаю в них довольно участия, чтоб они потрудились узнать меня. Что делать? Им же хуже! Они отвергают сердце, способное к преданности. Прощай. Обнимаю тебя. — Е. Боратынский».

131. М. Д. Деларю

1831, апрель, 20-е числа — май, начало месяца, Москва

«Посылаю вам, любезный Деларю, экземпляр новой моей поэмы. Извините, ежели притом доставлю вам некоторые хлопоты, прося вас покорно разослать остальные по адресам. Надеюсь, что по доброму расположению вашему ко мне и по нашему поэтическому товариществу вы не отяготитесь моим препоручением. Давно нет ничего вашего в «Литературной газете». Тому назад несколько времени я читал с большим удовольствием стихи ваши, посвященные памяти Барона Дельвига. Ежели не ошибаюсь, вы участвуете в издании «Литературной газеты». Мне очень совестно, что я до сих пор не был вашим сотрудником. Надеюсь нынешнее лето оправдаться перед вами. У меня на первый случай есть повесть, которую в скором времени вам доставлю. Прощайте, любезный поэт. Жена моя вместе со мною свидетельствует свое почтение Наталье Сергеевне и Даниле Андреевичу. Оба мы препоручаем себя вашему воспоминанию. Преданный вам — Е. Боратынский».

132. А. А. Закревскому

1831, апрель, 20-е числа — май, начало месяца, Москва

«Ваше Сиятельство. — Важные государственные занятия не оставляют вам времени на чтение стихотворных безделок, и, представляя вам экземпляр моей поэмы, я не думаю обратить на нее ваше внимание, но желаю только доказать, что всегда с равною живою благодарностию я помню того, которому обязан свободою и досугом, нужными литератору. — С истинным почтением и совершенною преданностию честь имею быть — Вашего Сиятельства — покорнейший слуга — Е. Боратынский».

133. И. В. Киреевскому

1831, май — июнь, Мураново

«Как ты поживаешь, милый мой Киреевский, и что ты поделываешь? Благодатно ли для тебя уединение? Идет ли вперед твой роман? Кстати об романе: я много думал о нем это время,

и вот что я о нем думаю. Все прежние романисты неудовлетворительны для нашего времени по той причине, что все они придерживались какой-нибудь системы. Одни — спиритуалисты, другие — материалисты. Одни выражают только физические явления человеческой природы, другие видят только ее духовность. Нужно соединить оба рода в одном. Написать роман эклектический, где бы человек выражался и тем, и другим образом. Хотя все сказано, но все сказано порознь. Сблизив явления, мы представим их в новом порядке, в новом свете. Вот тебе вкратце и на франмасонском языке мои размышления. Я покуда ничего не делаю. Деревья и зелень покуда столько же развлекают меня в деревне, сколько люди в городе. Езжу всякий день верхом, одним словом веду жизнь, которой может быть доволен только Рамих — Прощай, мой милый, обнимаю тебя, а ты обними за меня Языкова. Не забывайте об альманахе. — Твой Е. Боратынский. — Я прочел в «Литературной Газете» разбор «Наложницы» весьма лестный и весьма неподробный. Это — дружеский отзыв. Что-то говорят недруги? Ежели у тебя чтонибудь есть, пришли, сделай милость. Я намерен отвечать на критики. Жена тебе кланяется».

134. И. В. Киреевскому

1831, май — июнь, Мураново

«Не стану благодарить тебя за твои хлопоты: пора оставить эти сухие формулы между нами; они отзываются недоверчивостью, а у меня нет ее к тебе. Надеюсь, что в этом мы сочувствуем. Денег мне не присылай, а оставь у себя до нашего свиданья. Я буду в Москве в июле, а в сентябре непременно. Мне надо тебе растолковать мысли мои о романе: я тебе изложил их слишком категорически. Как идеал конечного возьми «L'ane mort» и «La confession» <романы Жюля Жанена: «Мертвый осел» и «Исповедь»>, как идеал спиритуальности — все сентиментальные романы: ты увидишь всю односторонность того и другого рода изображений и их взаимную неудовлетворительность. Фильдинг, Вальтер Скотт ближе к моему идеалу, особенно первый, но они угадали каким-то инстинктом современные требования и потому, попадая на настоящую дорогу, беспрестанно с нее сбиваются. Писатель, привыкший мыслить эклектически, пойдет, я думаю, далее, то есть будет еще отчетливее. Не думай, чтобы я требовал систематического романа, нет, я говорю только, что старые не могут служить образцами. Всякий писатель мыслит, следственно, всякий писатель, даже без собственного сознания, — философ. Пусть же в его творениях отразится собственная его философия, а не чужая. Мы родились в век эклектический: ежели мы будем верны нашему чувству, эклектическая философия должна отразиться в наших творениях; но старые образцы могут нас сбить с толку, и я указываю на современную философию для современных произведений, как на магнитную стрелку, могущую служить путеводителем в наших литературных поисках. — Что с твоей маменькой? Надеюсь, что нездоровье ее не важно. Поцелуй ей за меня ручки и скажи, чтоб она не полагалась на одну силу воли для выздоровления и похлопотала бы хоть раз о себе, как ежедневно хлопочет о других. Жена моя тебе усердно кланяется и благодарит Языкова за его память. Свояченица моя препоручила мне тоже тебе поклониться. Дело в том, что все мы очень тебя любим. Посылаю тебе расписку Салаева. Ежели Логинов и другие покупают «Наложницу», то его экземпляры вероятно разошлись, и можно с него потребовать деньги. Возьми их и оставь у себя. Что ты, Языков, не выздоравливаешь? Это, право, грустно. Прощайте, братцы, до будущего свидания. Обнимаю тебя».

135. И. В. Киреевскому

1831, май — июнь, Мураново

«Отвечаю тебе весьма наскоро и потому прошу принять эту грамоту за записку, а не за письмо. Благодарю тебя за добрые вести о здоровье твоей маменьки. Надеюсь, что оно скоро

утвердится. О торговых делах мой ответ мог бы быть очень короток: я бы сказал: делай, что хочешь, и был бы покоен; но я знаю, что ты — человек чересчур совестливый, и если б чтонибудь не удалось, тебе было бы более досадно, нежели мне. Вот почему скажу тебе, что насчет Ширяева я с тобой согласен. Что же до Кольчугина, то думаю уступить менее 8 р. экземпляр, ежели возьмут 100 разом, по 7 р. 50 к. или даже по 7. — Об романе мне кажется, что мы оба правы: всякий взгляд хорош, лишь бы он был ясен и силен. Я писал тебе более о романе вообще, нежели о твоем романе; думаю, между тем, что мои мысли внушат тебе что-нибудь, может быть, подробности какой-нибудь сцены. Я очень хорошо знаю, что нельзя пересоздать однажды созданное. Напиши мне, как ты найдешь Гнедича. Признаюсь, мне очень жаль, что я его не увижу. Я любил его, и это чувство еще не остыло. Может быть, теперь я нашел бы в нем коечто смешное: что за дело! приятно взглянуть на колокольню села, в котором родился, хотя она уже не покажется такою высокою, как казалась в детстве. Я покуда ничего не делаю: езжу верхом и, как ты, читаю Руссо. Я об нем напишу тебе на днях: он пробудил во мне много чувств и мыслей. Человек отменно замечательный и более искренний, нежели я сначала думал. Все, что он о себе говорит, без сомнения, было, может быть, только не совсем в том порядке, в котором он рассказывает. Ero «Confessions» <«Исповедь»> — огромный подарок человечеству. Обнимаю тебя. — Е. Боратынский. PS. Деньги я получил».

136. И. В. Киреевскому

1831, май — июнь, Мураново

«Дружба твоя, милый Киреевский, принадлежит к моему домашнему счастию; картина его была бы весьма неполной, ежели б я пропустил речи наши о тебе, удовольствие, с которым мы читаем твои письма, искренность, с которою тебя любим и радуемся, что ты нам платишь тем же. Мы оба видим в тебе милого брата и мысленно приобщаем тебя к нашей семейной жизни. Ты из нее не выходишь и в мечтах наших о будущем, и когда мы располагаем им по воле нашего сердца, ты всегда у нас в соседстве, всегда под нашим кровом. Ты первый из всех знакомых мне людей, с которым изливаюсь я без застенчивости: это значит, что никто еще не внушал мне такой доверенности к душе своей и своему характеру. Сделал бы тебе описание нашей деревенской жизни, но теперь не в духе. Скажу тебе вкратце, что мы пьем чай, обедаем, ужинаем часом раньше, нежели в Москве. Вот тебе рама нашего существования. Вставь в нее прогулки, верховую езду, разговоры; вставь в нее то, чему нет имени: это общее чувство, этот итог всех наших впечатлений, который заставляет проснуться весело, гулять весело, эту благодать семейного счастия, и ты получишь довольно верное понятие о моем бытье. «Наложницу» оставляю совершенно на твое попечение. Жду с нетерпением твоего разбора. Пришли, когда кончишь. О недостатках «Бориса» можешь ты намекнуть вкратце и распространиться о его достоинствах. Таким образом ты будешь прав перед собою и перед отношениями. Я не совсем согласен с тобою в том, что слог «Иоанны» служил образцом слога «Бориса». Жуковский мог только выучить Пушкина владеть < нрзбр. > стихом без рифмы, и то нет, ибо Пушкин не следовал приемам Жуковского, соблюдая везде цезуру. Слог «Иоанны» хорош сам по себе, слог «Бориса» тоже. В слоге «Бориса» видно верное чувство старины, чувство, составляющее поэзию трагедии Пушкина, между тем как в «Иоанне» слог прекрасен без всякого отношения. — Прощай, мой милый, крепко обнимаю тебя. Пиши к нам. Жена моя очень благодарна тебе за дружеские твои приветствия. Впрочем, я всегда пишу к тебе в двух лицах. Обними за меня Языкова, рад очень, что он выздоравливает. Очень мне хочется с вами обоими повидаться, и, может быть, я соберусь на день-другой в Москву, ежели здоровье мое позволит. Не забудь поклониться от меня Гнедичу. — Е. Боратынский».

137. И. В. Киреевскому

1831, июнь, Мураново

«Вообрази себе, милый Киреевский, что мы совсем нечаянно собрались ехать в Казань, и что мне, может быть, не удастся с тобой проститься, ибо до нас доходят слухи, что в Москве снова холера, и мои домашние никак меня не отпускают. Пишу к тебе посреди хлопот, нераздельных с путевыми сборами. Посылаю тебе своего Сисмонди и Villemain. В Петербурге не могли достать экземпляра, и ты не можешь себе вообразить, как мне перед тобою совестно. Urbain говорил мне, что в июле месяце у него будет. Ежели так, купи у него все сочинение и, переменив один том, перешли ко мне в Казань. Деньги возьми у Салаева. Данные ему экземпляры «Наложницы», вероятно, разошлись. Кстати: я тебе послал его росписку, но ты не пишешь, получил ли ее. Так-то, мой милый, в то самое время, когда я думал основаться в Москве, я ее покидаю. Но это путешествие мне через год или два должно было бы непременно сделать и расстаться с моими родными. Теперь мы едем вместе, и, прожив до будущей весны, я уже не буду иметь нужды возвращаться. Несмотря на это, еду с стесненным сердцем, и будущее пугает меня, тем более, что я люблю настоящее. Дай Бог, чтобы я не нашел в Москве никакой перемены, и всех бы вас нашел, как оставил. Прощай, мой милый, более писать некогда. Куча дела. Обнимаю тебя. Языкова тоже. Скажи мое почтение всем твоим, которых я готов назвать своими. — Е. Боратынский».

138. И. В. Киреевскому

1831, июнь, конец — июль, начало, Казань

«Пишу тебе из Казани, милый Киреевский. Дорогой писать не мог, потому что мы объезжали города, в которых снова показалась холера. Как путешественник, я имею право говорить о моих впечатлениях. Назову главное: скука. Россию можно проехать из конца в конец, не увидав ничего отличного от того места, из которого выехал. Все плоско. Одна Волга меня порадовала и заставила меня вспомнить Языкова, о котором впрочем я и без того помнил. Приехав в Казань, я стал читать московские газеты и увидел в них объявление брошюрки «О Борисе Годунове». Не твое ли это? Вероятно, нет; во-первых, потому, что ты слишком ленив, чтобы так проворно написать и напечатать; во-вторых, потому, что ты обещал мне прислать статью твою до печати. Надеюсь в деревенском уединении путем приняться за перо. Ежели я ничего не заметил дорогою, то многое обдумал. Путешествие по нашей родине тем хорошо, что не мешает размышлению. Это путешествие по беспредельному пространству, измеряемое одним временем: зато и приносит плод свой, как время. Кстати, не мешало бы у нас означать расстояние часами, а не верстами, как то и делается в некоторых землях не по столь неоспоримому праву. Прощай, мой милый. Я пишу к тебе ералашь оттого, что устал, оттого, что жарко. Из деревни буду писать тебе порядочнее. Поклонись от меня всем своим. Жена моя не пишет за хлопотами. Она закупает разные вещи, нужные нам в деревне, и теперь ее нет дома. Обнимаю тебя от всей души. — Е. Боратынский».

139. Н. В. Путяте

1831, июнь, конец месяца — июль, начало. Казань

«Поздно отвечаю на письмо твое, милый Путята, но ты со мною помиришься, когда узнаешь, что я получил его весьма недавно, что оно мне было переслано из Москвы в Казань, где я теперь нахожусь со всем моим семейством. Благодарю тебя за доставление «Наложницы» по адресу и за твои замечания. Не спорю, что в «Наложнице» есть несколько стихов небрежных, даже дурных, но поверь мне, что вообще автор «Эды» сделал большие успехи в своей последней поэме. Не говорю уже о побежденных трудностях, о самом роде поэмы, исполненной движе-

ния, как роман в прозе, сравни беспристрастно драматическую часть и описательную; ты увидишь, что разговор в «Наложнице» непринужденнее, естественнее, описания точнее, проще. Собственно же дурных мест в «Эде» гораздо больше, нежели в Саре. В последней можно критиковать стих, выражение; а в «Эде» целые тирады, например: весь разговор гусара с Эдой в первой песне. Обыкновенно мне мое последнее сочинение кажется хуже прежних, но перечитывая «Наложницу», меня всегда поражает легкость и верность ее слога в сравнении с прежними моими поэмами. Ежели в «Наложнице» видна некоторая небрежность, зато уж совсем незаметен труд; а это-то и нужно было в поэме, исполненной затруднительных подробностей, из которых должно было выйти совершенным победителем или не браться за дело. Я заболтался, мой милый. Извини, что с тобою спорю. Ты знаешь, что я охотно соглашаюсь с критиками, когда нахожу их справедливыми; но на твою не согласен. Желал бы сказать тебе что-нибудь занимательное, но я живу в совершенном уединении и ничем не могу с тобою делиться, кроме своими мыслями. Вижу по газетам, что у вас не прекращается холера; но знаю по опыту, что умеренностью в пище и старанием не простудиться наверно можно ее избегнуть.

Надеюсь, что ты не будешь ее жертвою и что Бог дозволит нам еще раз обнять друг друга. Прощай. Адрес мой: на мое имя в Казань. — Е. Боратынский».

140. П. А. Плетневу

1831, июль, 10 — 20-е числа (?), Каймары

«Когда я получил письмо твое, милый Плетнев, я укладывался в долгую дорогу, оттого и не отвечал тебе в то же время. Теперь пишу к тебе не из Москвы, а из деревни в 20 верстах от Казани.

Я стал от тебя дальше расстоянием, но не дальше сердцем. Письмо твое взволновало мне душу. Оно дышит разуверенностью и унынием. С горьким угрызением думаю, что сам я несколько способствовал привести тебя к этому печальному расположению духа. Довольный в душе моей живым дружеским воспоминанием о тебе, я не заботился в нем уверять тебя и, казалось, забыл о старом друге. Мне страшно подумать, что, вспомнив обо мне, ты сам себе говорил: вот как нечувствительны, как неблагодарны люди! Между тем я был виноват в одной лености, отлагающей до другого дня сегодняшнее дело. Потеря Дельвига для нас незаменяема. Ежели мы когда-нибудь и увидимся, ежели еще в одну субботу сядем вместе за твой стол, — Боже мой! как мы будем еще одиноки! Милый мой, потеря Дельвига нам показала, что такое невозвратно прошедшее, которое мы угадывали печальным вдохновением, что такое опустелый мир, про который мы говорили, не зная полного значения наших выражений. Я еще не принимался за жизнь Дельвига. Смерть его еще слишком свежа в моем сердце. Нужны не одни сетования, нужны мысли; а я еще не в силах привести их в порядок. Поговорим о тебе. Неужели ты вовсе оставил литературу? Знаю, что поэзия не заключается в мертвой букве, что молча можно быть поэтом; но мне жаль, что ты оставил искусство, которое лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни. Выразить чувство значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранить бодрость духа. Примись опять за перо, мой милый Плетнев; не изменяй своему назначению. Совершим с твердостию наш жизненный подвиг. Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия, а главное из них — унылость. Прощай, мой милый. Я стал проповедником. Слушай мои увещания, а я буду слушать — твои. Благодарю тебя за похвалы «Наложнице»: они меня утешили в неблагорасположении других моих критиков. Обнимаю тебя от всей души. Пиши ко мне, когда найдешь досужное время. Поклонись Пушкину. Адрес мой — такому-то, в Казань. — Е. Боратынский».

141. П. А. Вяземскому

1831, август-сентябрь, Каймары

«Благодарю вас за присылку «Адольфа» и за знакомство с Казарским, которого однако ж удалось мне видеть только с полчаса. Я был у него перед самым его отъездом из Казани. В нем много добродушия: он вам чрезмерно признателен за знакомства, которые вы ему доставили в Москве, и не может нахвалиться ласковым приемом Пашковых, Киндяковых и вообще московскими веселостями <?>. Я перечитал «Адольфа» на досуге. Вы избрали лучшую систему перевода, именно полезнейшую для языка. Когда вы мне прислали вашу рукопись, я не понял вашего намерения, вот почему замечания мои были истинно бестолковы. Я перечитал ваше умное и остроумное предисловие, которое так объясняет и пополняет <?> сочин<ение> Бенжамен-Констана. Вы заставили меня сызнова продумать все то, что мне внушило первое чтение «Адольфа». Вы намекаете на недуг душевный, особенный нашему веку, который очень слегка обозначает автор «Адольфа»: он касается его вскользь, а вы, более, нежели он, заставляете его заметить. Этот недуг еще не вполне им исследован и может быть предметом нового романа. Подумайте: вы, может быть, его напишете. Еще одно: неужели ничто не врачует развращения чувств, заметного в нашем веке? и точно ли мы хуже наших предков? Я не совсем вдаюсь в современные мечты усовершенствования, но склонен думать, что нет эпохи лучше или хуже другой. В наше время, мне кажется, успехи морали, высокое подробное просвещение совести очень уравновешивают эти своенравия сердца, привычки эгоизма, неизвестные прошлому веку. В старое время Адольф либо шутя оставил бы Елеонору, либо оставление ее почел бы в себе усилием добродетели, и совесть его нисколько бы не мучила. Его страдания показывают, что он принадлежит времени, в которое не позволено шутить сердечными связями, времени, в которое увлечение редко, зато ветреность непростительна. Прощайте, любезный князь. Я заговорился с вами, как будто бы сидел в вашем кабинете у камина. Княгине прошу засвидетельствовать мое усердное почтение и напомнить обо мне Александру Ивановичу Тургеневу, ежели он еще в Москве».

142. И. В. Киреевскому

1831, август, до 6, Каймары

«Что ты молчишь, милый Киреевский? Твое молчание меня беспокоит. Я слишком тебя знаю, чтобы приписать его охлаждению; не имею права приписать его и лени. Здоров ли ты и здоровы ли все твои? Право, не знаю, что думать. Я в самом гипохондрическом расположении духа, и у меня в уме упрямо вертится один вопрос: отчего ты не пишешь? Письмо от тебя мне необходимо. Не знаю, о чем тебе говорить. Вот уже месяц, как я в своей казанской деревне. Сначала похлопотал по хозяйству, говорил с прикащиками и старостами. У меня тяжебное дело, толковал с судьями и секретарями. Можешь себе вообразить, как это весело. Теперь я празден, но не умею еще пользоваться досугом. Мысль приходит за мыслью, ни на одной не могу остановиться. Воображение напряжено, мечты его живы, но своевольны, и ленивый ум не может их привести в порядок. Вот тебе моя психологическая исповедь. — Дорогой и частию дома я перечитал «Элоизу» Руссо. Каким образом этот роман казался страстным? Он удивительно холоден. Я нашел насилу места два истинно трогательных и два или три выражения прямо от сердца. Письма Saint-Preux лучше, нежели Юлии, в них более естественности; но вообще это трактаты нравственности, а не письма двух любовников. В романе Руссо нет никакой драматической истины, ни малейшего драматического таланта. Ты скажешь, что это и не нужно в романе, который не объявляет на них никакого притязания, в романе чисто аналитическом; но этот роман — в письмах, а в слоге письма должен быть слышен голос пишущего: это в своем роде то же, что разговор, — и посмотри, какое преимущество имеет над Руссо сочинитель

«Клариссы». Видно, что Руссо не имел в предмете ни выражения характеров, ни даже выражения страсти, а выбрал форму романа, чтобы отдать отчет в мнениях своих о религии, чтобы разобрать некоторые тонкие вопросы нравственности. Видно, что он писал Элоизу в старости: он знает чувства, определяет их верно, но самое это самопознание холодно в его героях, ибо оно принадлежит не их летам. Роман дурен, но Руссо хорош как моралист, как диалектик, как метафизик, но... отнюдь не как создатель. Лица его без физиономии, и хотя он говорит в своих «Confessions», что они живо представлялись его воображению, я этому не верю. Руссо знал, понимал одного себя, наблюдал за одним собою, и все его лица Жан-Жаки, кто в штанах, кто в юбке. Прощай, мой милый. Делюсь с тобою, чем могу: мыслями. Пиши, ради Бога. Поклонись от меня всем твоим и Языкову. Надеюсь, что я скоро перестану о тебе беспокоиться и только посержусь немного».

143. И. В. Киреевскому

1831, август, до 13, Каймары

«Я не шутя о тебе горюю, милый Киреевский. Вот еще почта, и нет от тебя ни слова. Ты, верно, болен, или с тобою случилось что-нибудь весьма необыкновенное. Последнее предположение меня не утешает. Ты промолчишь свое горе, а счастием верно поделишься. Чем более я думаю о причинах твоего молчания, тем более тревожусь. Желал бы приписать его лени, но знаю, что, по несчастию, ты не имеешь этого недостатка, когда дело идет о дружбе. Я сердит на твоих. Они знают, что наша связь не простое знакомство. Что бы им уведомить меня о тебе, ежели ты сам писать не можешь. Сегодня думал я спросить о тебе твою маменьку, но оставил это из суеверия. Пишу к тебе с беспокойством и грустию. Прощай, мой милый, дай Бог, чтобы опасенья мои были несправедливы. Ежели ты был болен (в чем я почти не сомневаюсь) и еще не довольно выздоровел, чтобы писать, попроси или маменьку, или брата, или сестру уведомить нас о тебе. Все мои тебе кланяются и разделяют со мной мое беспокойство. Обнимаю тебя. — Е. Боратынский».

144. И. В. Киреевскому

1831, август, Қаймары

«Наконец я дождался вести о тебе, милый Киреевский, но вести не утешительной. В письме твоем много печальных известий. Благодарю тебя за уверенность в моей дружбе. Твои откровенные намеки ее доказывают. Чувствую, делю твое положение, хотя не совершенно его знаю. Темная судьба твоя лежит на моем сердце. Ежели в некоторых случаях бесполезны советы и даже утешения дружбы, всегда отрадно ее участие. Не хочу насиловать твоей доверенности; знаю, что она у тебя в сердце, хотя не изливается в словах, понимаю эту застенчивость чувства, не прошу тебя входить в подробности, но прошу хотя общими словами уведомить меня, каково тебе и что с тобою. Таким образом ты удовлетворишь и любопытству дружбы, и той стыдливой тайне, которую требует другое чувство. Что бы с тобою ни было, ты по крайней мере знаешь, что никто более меня не порадуется твоей радости и не огорчится твоим горем. В этой вере настоящее утешение дружбы. О тебе я думаю с тою же верою, и она пополняет мое домашнее счастие. Прощай, милый Киреевский, обнимаю тебя от всей души. Что с бедным Языковым, больным и пораженным смертию матери? Уведомь меня о нем. Сколько вам горя в одно время! Не могу опомниться от траурного твоего письма и вообразить без грусти ваш дом, недавно шумевший веселостию, теперь исполненный такого глубокого уныния. Не ленись ко мне писать, потому что мне нужны твои письма. Когда просветлеет у тебя на душе, и я буду это знать, можешь откладывать от почты до почты, но теперь это будет тебе непростительно. — Твой Боратынский».

145. С. Боратынскому и С. М. Дельвиг

1831, сентябрь-октябрь, Каймары

Перевод: «Мой удел — любить вас, любезная Софи, и если вы были любезны мне как жена друга, я не меньше буду любить вас как жену брата. Я горячо желаю сохранить вашу привязанность и вот почему касаюсь вопроса, о котором мне сразу бы запретило говорить пошлое мнение. В тоне вашего письма я почувствовал затруднение, с которым вы сообщали мне о своем замужестве. Мне показалось, ваши чувства больно уязвлены потому, что вы подписались не тем именем, которое соединяло нас ранее, и что вы не совсем уверены в тех новых правах, какие дает вам моя дружба. Иначе быть и не могло. Вам я должен представляться прежде всего судьей; но вы несправедливы ко мне, дорогая Софи, если думаете, будто я упрекаю вас в том, что вы не похоронили свою молодость под вечным трауром, что вы вновь открыли свою душу для надежды, что вы составили счастье моего брата. Ведь нынешнее ваше чувство не имеет своим источником ненависть к тому, кого более нет на свете. Вы дали счастье одному, вы осчастливите другого, это предоставляет вам двойное право на мою привязанность. И это еще не все: когда я вновь увижу вас, то не стану натянуто молчать о времени, когда мы познакомились, я не только не присвою себе бесцеремонного права не назвать при вас имени того, кто был первым вашим избранником, но и надеюсь, мы вместе будем лелеять его память. Если чувство, привязывавшее вас к нему, и не было любовью, совершенным сродством, оно, однако же, всегда было достойно уважения, и именно в таком чувстве мы с вами едины. Не стану более говорить о том. Своей откровенностью мне хотелось бы предупредить те безосновательные мысли, которые всегда порождаются сомнением. Я говорю как думаю, чтобы у вас не возникло подозрения, будто я думаю иначе, и чтобы вас не мог бы обидеть (ведь такое как раз и задевает слишком часто) плод вашего же воображения; вы не лишите меня вашего расположения, которое столь необходимо мне. И — любезная Софи, любезная сестра: не обижайтесь на искренний тон этого письма; какое бы суждение вы о нем ни составили, верьте, я хотел лишь заслужить вашу дружбу».

146. С. М. Боратынской

после 1831

Перевод: «Дорогая Софи, Филип Богданович пишет ко мне, что ему неизвестно сейчас, когда он сможет вернуться в Вяжлю, и потому предлагает мне предпринимать что-то самому. Его письмо повергло меня в крайнее уныние, ведь Сергея нет и в настоящее время некому больше заниматься нашими делами. Я решился вверить свои дела Михею и отправил его в большой спешке. Воображаю, насколько и вам должно быть досадно отсутствие Ф<илипа> Б<огдановича>. Он весьма дурно обошелся с нами, зная срочность своего дела, которое требовало его присутствия в его краях. Если бы он уведомил нас заранее, мы могли бы договориться и сообща принять свои меры. Обнимаю крепко вас и детей. — Е. Боратынский».

147. И. В. Киреевскому

1831, сентябрь, до 21, Каймары

«Отвечаю разом на два твои письма, милый Киреевский, потому что они пришли в одно время. Не дивись этому: московская почта приходит в Казань два раза в неделю, а мы из своей деревни посылаем в город только раз. Благодарю тебя за хлопоты о «Наложнице». Авось, разойдется зимою. Впрочем, успех и неуспех ее для меня теперь равнодушен. Я как-то остыл к ее участи. Ты меня истинно обрадовал намерением издавать журнал. Боюсь только, чтобы оно не было одним из тысячи наших планов, которые остались — планами. Ежели дело дойдет до дела, то я — непременный и усердный твой сотрудник, тем более что все меня клонит к прозе.

Надеюсь в год доставить тебе две-три повести и помогать тебе живо вести полемику. Критик на «Наложницу» я не читал; я не получаю журналов. Ежели б ты мог мне прислать № Телескопа, в котором напечатано возражение на мое предисловие, я бы непременно отвечал, и отвечал дельно и обширно. Я еще более обдумал мой предмет со времени выхода в свет «Наложницы», обдумал со всеми вопросами, к нему прикосновенными, и надеюсь разрешить их, ни в чем не противореча первым моим положениям. Статья моя пригодилась бы для твоего журнала. Я сберегу тебе твой № «Телескопа» и перешлю обратно, как скоро статья моя будет готова. Ты напрасно почитаешь меня неумолимым критиком Руссо; напротив, он совершенно увлек меня. В «Элоизе» я критикую только роман, так же, как можно критиковать создание поэм Байрона. Когда-то сравнивали Байрона с Руссо, и это сравнение я нахожу весьма справедливым. В творениях того и другого не должно искать независимой фантазии, а только выражение их индивидуальности. Оба — поэты самости; но Байрон безусловно предается думе о себе самом; Руссо, рожденный с душою более разборчивою, имеет нужду себя обманывать; он морализует и в своей морали выражает требования души своей, мнительной и нежной. В «Элоизе» желание показать возвышенное понятие свое о нравственном совершенстве человека, блистательно разрешить некоторые трудные задачи совести беспрестанно заставляет его забывать драматическую правдоподобность. Любовь по природе своей — чувство исключительное, не терпящее никакой совместности, оттого-то «Элоиза», в которой Руссо чаще предается вдохновению нравоучительному, нежели страстному, производит такое странное, неудовлетворительное впечатление. Мы видим в «Confessions», что любовь к m-me Houdetot внушила ему «Элоизу»; но по тому несоразмерному участку, который занимает в ней мораль и философия (кровная собственность Руссо), мы чувствуем, что идеал любовницы Saint-Lambert всегда уступал в его воображении идеалу Жан-Жака. В составе души Руссо еще более, нежели в составе его романа, находятся недостатки последнего. «Элоиза» мне нравится менее других произведений Руссо. Роман, я стою в том, творение, совершенно противоречащее его гению. В то время как в «Элоизе» меня сердит каждая страница, когда мне досаждают даже красоты ее, все другие его произведения увлекают меня неодолимо. Теплота его слова проникает мою душу, искренняя любовь к добру меня трогает, раздражительная чувствительность сообщается моему сердцу. Видишь, как я с тобою заболтался. Жена моя, которая тебя очень любит, тебе кланяется. Обнимаю тебя. — Е. Боратынский».

148. Н. М. Языкову

1831, сентябрь, до 21, Каймары

«Благодарю тебя, милый Языков, за приписку ко мне. Это великий подвиг, увы, твоей лени и настоящее доказательство дружбы. Заняв мое место у Гермеса, ты обязан вполне заменить меня. Я служил два года с отличной ревностью, за что и удостоился повышения в чине. Расспроси Киреевского о моих служебных подвигах: я уверен, что это воспламенит тебя благодарным соревнованием. Кажется, бог поэтов ныне не Аполлон, но Гермес: кроме тебя и меня, служил у него когда-то Вяземский. Как бы написать ему стихи, в которых хорошенько похвалить его за то, что под его управлением и Межевая канцелярия превратилась в Геликон. Кстати — о стихах: я как-то от них отстал, и в уме у меня все прозаические планы. Это очень грустно.

Бывало, отрок, звонким кликом Лесное эхо я будил, И верный отклик в лесе диком Меня смятенно веселил. Пора другая наступила,

И рифма юношу пленила, Лесное эхо заменя. Игра стихов, игра златая! Как звуки, звукам отвечая, Бывало, нежили меня! Но все проходит: остываю Я и к гармонии стихов И как дубров не окликаю, Так не ищу созвучных слов.

Вот единственная пьеса, которую написал я с тех пор, как с тобою расстался, стараясь в ней выразить мое горе. Что ты поделываешь и скоро ли будешь писать стихотворения? Пришли, что напишешь. Это разбудит во мне вдохновение. — Киреевский принимается за журнал. Весть эта меня очень обрадовала. Будем помогать ему всеми силами: дело непременно пойдет на лад. Прощай, обнимаю тебя очень дружески. — Е. Боратынский».

149. И. В. Киреевскому

«Спасибо тебе за твою записку. Это истинно дружеское внимание, и ежели б ты знал, какое удовольствие приносят пустыннику самые коротенькие строки из живого места (не говоря уже, как приятно видеть, что нас помнят те, которых мы любим), ты бы всегда делал, как нынче. Не всегда мы расположены писать, не всегда есть мысли, не всегда есть время на длинное письмо; но всегда можно сказать: здравствуй и прощай, которые в письме более значат, нежели в горнице. Я буду следовать твоему примеру, но не переставай мне давать его. Это отстранит от нашей переписки всякое принуждение, всякую обдуманность; да к тому же, садясь за бумагу с тем, чтобы написать два слова, всегда напишешь более, и в этой прибавке будет истинное вдохновение. Сегодня голова моя довольно пуста, и я кончаю письмо мое известием, что я жив и здоров; а чтоб оно было не совсем пусто, переписываю тебе две небольшие пьесы, написанные мною недавно.

Не славь, обманутый Орфей, Мне залетийские селенья. Элизий в памяти моей, И в нем не льется вод забвенья. В нем мир цветущей старины Умерших тени населяют, Привычки жизни сохраняют И чувств ее не лишены. Там жив ты, Дельвиг; там за чашей Еще со мною шутишь ты, Поешь веселье дружбы нашей И сердца юные мечты. В дни безграничных увлечений, В дни необузданных страстей, Со мною жил превратный гений — Наперсник юности моей. Он жар восторгов несогласных Во мне питал и раздувал; Но соразмерностей прекрасных

В душе носил я идеал.
Когда лишь праздников смятенья
Алкал безумец молодой,
Поэта мерные творенья
Блистали стройной красотой.
Страстей порывы утихают,
Страстей нечистые мечты
Передо мной не затмевают
Законов вечной красоты,
И поэтического мира
Огромный очерк я узрел
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотел.

Эти пьесы, равно, как и та, которую я написал Языкову для тебя и для твоих. Не показывай и не давай их посторонним. Обнимаю тебя от всей души. — Е. Боратынский».

150. И. В. Киреевскому

1831, октябрь, до 8, Каймары

«Спасибо тебе за стихи Пушкина и Жуковского. Я хотел было их выписать, но ты меня предупредил. Стихи Жуковского читал я без подписи в «Северной Пчеле» и никак не мог угадать автора. Необыкновенные рифмы и примерная твердость слога меня поразили, но фамильярный тон удалил всякую мысль о Жуковском. Первое стихотворение Пушкина мне более нравится, нежели второе. В нем сказано дело и указана настоящая точка, с которой должно смотреть на нашу войну с Польшей. Ты подчеркнул стих: «Стальной щетиною сверкая». Ты, вероятно, находишь его слишком изысканным. Может быть, ты прав, однако он силен и живописен. — Я уже отвечал тебе о журнале. Принимайся с Богом за дело. Что касается до названия, мне кажется, всего лучше выбрать такое, которое бы ровно ничего не значило и не показывало бы никаких притязаний. «Европеец», вовсе не понятый публикой, будет понят журналистами в обидном смысле; а зачем вооружать их прежде времени? Нельзя ли назвать журнал «Северным Вестником», «Орионом» или своенравно, но вместе незначительно, вроде «Nain jaune» <«Желтый карлик»>, издаваемого при Людовике XVIII наполеонистами? Ты слишком много на меня надеешься, и я сомневаюсь, исполню ли в половину твоих надежд. Могу тебя уверить в одном: в усердии. Твой журнал очень возбуждает меня к деятельности. Я написал еще несколько мелких стихотворных пьес, кроме тех, которые тебе послал. Теперь пишу небольшую драму, первый мой опыт в этом роде, которая как ни будет плоха, но все годится для журнала. Вероятно, я ее кончу на этой неделе и пришлю тебе. Не говори о ней никому, но прочти и скажи мне свое мнение. В журнале я помещу ее без имени. Не говорю тебе о дальнейших моих замыслах из суеверия". Никогда того не пишешь, чем заранее похвастаешь. Мне очень любопытно знать, что ты скажешь о романах Загоскина. Все его сочинения вместе показывают дарование и глупость. Загоскин — отменно любопытное психологическое явление. Пришли мне статью твою, как напишешь. Настоящим образом я помогать тебе буду, когда ворочусь в Москву. Я должен писать к спеху, чтобы писать много. Мне нужно предаваться журнализму, как разговору, со всею живостью вопросов и ответов, а не то я слишком сам к себе требователен, и эта требовательность часто охлаждает меня и к хорошим моим мыслям. Между тем все, что удастся мне написать в моем уединении, будет принадлежать твоему журналу. Прощай, кланяйся твоим. — Е. Боратынский. — Скажи Языкову, что на него сердится Розен за то, что он не только не прислал ему стихов прошлого года, но даже не отвечал на письмо. Он жалуется на это очень и даже трогательно».

151. И. В. Киреевскому

1831, октябрь, после 8 до 26, Каймары

«Пишу тебе два слова, милый Киреевский, а почему — увидишь из письма моего к твоей маминьке. Я получил повестку на деньги: это, верно, твои хлопоты. Вероятно, при деньгах есть и письмо; но я не успел еще послать в город. Прощай, мой милый. Я кончил драму, о которой тебе писал, и очень посредственно ею доволен. Еще раз прошу тебя, не говори никому, что я что-либо пишу. Я отвечаю всем альманашникам, что у меня стихов нет, и на днях тем же буду отвечать Пушкину. Обнимаю тебя. — Е. Боратынский».

152. И. В. Киреевскому

1831, октябрь, до 26, Каймары

«Со мною сто раз случалось в обществе это тупоумие, о котором ты говоришь. Я на себя сердился, но признаюсь, в хорошем мнении о самом себе: не упрекал себя в глупости, особенно сравнивая себя с теми, которые отличаются этою наметанностию, которой мне недоставало. Чтобы тебя еще более утешить в твоем горе (горе я ставлю для шутки), скажу тебе, что ни один смертный так не блистал в petits jeux и особенно в secrütaire, как Василий Львович Пушкин и даже брат его Сергей Львович. Сей последний, на вопрос: Quelle difference y a-t-il entre m-r Pouchkine et le soleil? — отвечал: Tous les deux font faire le grimace. < Қаково различие между г-ном Пушкиным и солнцем? — От того и другого щуришься>. Впрочем, говорить нечего, хотя мы заглядываем в свет, мы — не светские люди. Наш ум иначе образован, привычки его иные. Светский разговор для нас ученый труд, драматическое создание, ибо мы чужды настоящей жизни, настоящих страстей светского общества. Замечу еще одно: этот laisser aller <непринужденность>, который делает нас ловкими в обществе, есть природное качество людей ограниченных. Им дает его самонадеянность, всегда нераздельная с глупостию. Люди другого рода приобретают его опытом. Долго сравнивая силы свои с силами других, они, наконец, замечают преимущество свое и дают себе свободу не столько по чувству собственного достоинства, сколько по уверенности в ничтожности большей части своих совместников. Не посылаю еще моего драматического опыта потому, что надо еще переписать, а моя переписчица еще в постели. Благодарю тебя за деньги и за Villemain. У меня на душе стало легче, когда увидел я этот замаранный том, который меня порядочно помучил. Я прочел уже две части: много хорошего и хорошо сказанного; но Villemain часто выдает за новость и за собственное соображение — давно известное у немцев и ими отысканное. Многое лишь для успеха минуты и рукоплесканий партии. Еще одно замечание: у Villemain часто заметна аффектация аттицизма, аффектация наилучшего тона. Его скромные оговорки, во-первых, однообразны, во-вторых, несколько изысканны. Чувствуешь, что он любуется своим светско-эстетическим смирением. Это не мешает творению его быть очень занимательным. О Гизо скажу тебе, что у меня теперь нет денег. Ежели ты можешь ссудить меня нужною суммою до января, то возьми его; ежели нет, то скажи Urbain, что Гизо мне не нужен, или попроси подождать денег. Прощай; все мои тебе кланяются. Языкову буду писать на будущей почте, а покуда обнимаю. — Е. Боратынский».

153. И. В. Киреевскому

1831, ноябрь, начало месяца, Каймары

«Благодарю тебя за твое дружеское поздравление и милые шутки. Впрочем, я тебя ловлю на слове: в год рождения моей Машеньки должен непременно издаваться «Европеец»; а там, ежели в 12 лет она будет в состоянии слушать твои лекции, прошу в самом деле позаботиться о ее просвещении. Не беда, что моя пьеса пошла по рукам. Я послал Пушкину и другую: «Не славь, обманутый Орфей», но уверяю, что больше нет ничего за душою. Я не отказываюсь

писать; но хочется на время, и даже долгое время, перестать печатать. Поэзия для меня не самолюбивое наслаждение. Я не имею нужды в похвалах (разумеется, черни), но не вижу, почему обязан подвергаться ее ругательствам. Я прочел критику Надеждина. Не знаю, буду ли отвечать на нее и что отвечать? Он во всем со мной согласен, только укоряет меня в том, что я будто полагаю, что изящество не нужно изящной литературе; между тем как я очень ясно сказал, что не говорю о прекрасном, потому что буду понят немногими. Критика эта меня порадовала; она мне показала, что я вполне достигнул своей цели: опроверг убедительно для всех общий предрассудок, и что всякий несколько мыслящий читатель, видя, что нельзя искать нравственности литературных произведений ни в выборе предмета, ни в поручениях, ни в том, ни в этом, заключит вместе со мною, что должно искать ее только в истине или прекрасном, которое не что иное, как высочайшая истина. Хорош бы я был, ежели б я говорил языком Надеждина. Из тысячи его подписчиков вряд ли найдется один, который что-нибудь бы понял из этой страницы, в которой он хочет объяснить прекрасное. А что всего забавнее — это то, что перевод ее находится именно в предисловии, которое он критикует. Ежели буду отвечать, то потому только, что мне совестно перед тобою, заставив тебя понапрасну отыскивать и посылать журнал. Я пишу, но не пишу ничего порядочного. Очень недоволен собою. Ne pas perdre du temps c'est en gagner < не терять времени — значит его выигрывать >, говорил Вольтер. Я утешаю себя этим правилом. Теперь пишу я жизнь Дельвига. Это только для тебя. Ты мне напоминаешь о Свербеевых, которых, впрочем, я не забыл. Поклонись им от меня и скажи, что ежели они останутся будущую зиму в Москве, я надеюсь провести у них много приятных часов. Обнимаю тебя. — Е. Б.».

154. Н. М. Языкову

1831, ноябрь, до 16 (?), Каймары

«Языков, буйства молодого Певец роскошный и лихой! По воле случая слепого Я познакомился с тобой В те осмотрительные лета, Когда смиренная диета Нужна здоровью моему, Когда и тошный опыт света Меня наставил кой-чему, Когда от бурных увлечений Желанным отдыхом дыша, Для благочинных размышлений Созрела томная душа; Но я люблю восторг удалый, Разгульный жар твоих стихов. Дай руку мне; ты славный малый, Ты в цвете жизни, ты здоров; И неумеренную радость, Счастливец, славить ты в правах; Звучит лирическая младость В твоих лирических грехах. Не буду строгим моралистом Или бездушным журналистом;

Приходит все своим чредом: Послушный голосу природы, Предупредить не должен годы Ты педантическим пером; Другого счастия поэтом Ты позже будешь, милый мой, И сам искупишь перед светом Проказы музы молодой.

Вот тебе, милый Языков, несколько неладных рифм, которые, однако ж, показывают, что я <0> тебе думал. Когда-то увидимся! Признаюсь, я неумеренно порадуюсь нашему свиданию. Киреевский мне обещал прислать твои новые пьесы и все не присылает, а мне очень хочется их видеть. Кто эти бесфамильные красавицы, которых ты воспеваешь? Где ты их отыскал, и неужели уже изменил своей Тане. Я любовался на твою печать: мысль очень счастливая и милая <смелая?>. Свети им твоя поэзия: она украсит всякой подсвечник. Обнимаю тебя — Е. Боратынский».

155. И. В. Киреевскому

1831, ноябрь, 29, Каймары

 $\ll 29$ ноября. — Вот тебе и число. Я пропустил одну почту оттого, что в моем глубоком уединении

Позабыл все дни недели Называть по именам.

Я думал, что был понедельник, когда была среда. В это время, однако ж, трудился для твоего журнала. Отвечал Надеждину. Статья моя, я думаю, вдвое больше моего предисловия. Сам удивляюсь, что мог написать столько прозы. Драма моя почти переписана набело. Теперь сижу за повестью, которую ты помнишь: «Перстень». Все это ты получишь по будущей тяжелой почте. Все это посредственно; но для журнала годится. Благодарю тебя за обещание прислать повести малороссийского автора. Как скоро прочту, так и напишу о них. О Загоскине писать что-то страшно. Я вовсе не из числа его ревностных поклонников. «Милославский» его дрянь, а «Рославлев», быть может, еще хуже. В «Рославлеве» роман ничтожен; исторический взгляд вместе глуп и неверен. Но как сказать эти крутые истины автору, который все-таки написал лучшие романы, какие у нас есть? Мне очень жаль, что Жуковскому не нравится название моей поэмы. В ответе моем Надеждину я стараюсь оправдать его. Не могу понять, почему люди умные и просвещенные так оскорбляются словом, которого полный смысл допущен во всех разговорах. Скажи мне, что он думает о самой поэме, что хвалит и что осуждает. Не бойся меня опечалить. Мнение Жуковского для меня особенно важно, и его критики будут мне полезнее. У меня план новой поэмы, со всех сторон обдуманный. Хороша ли будет, Бог знает. На днях примусь писать. Не отдаю тебе отчета в моем плане, потому что это охлаждает. Кстати, послание к Языкову и элегия, которую ты называешь европейской, принадлежит «Европейцу». По будущей почте пришлю тебе еще две-три пьесы. Прощай, поклонись от меня милой твоей маменьке, которой не успеваю писать сегодня. Напомни обо мне Алексею Андреевичу. Каково его здоровье, и совершенно ли он успокоился насчет холеры? — Е. Боратынский. — Жена моя на богомолье в соседней пустыни и будет отвечать твоей маменьке по будущей почте».

156. И. В. Киреевскому

1831, декабрь, начало месяца, Каймары

«Вот тебе для «Европейца». Извини, что все это так дурно переписано: ты знаешь страсть мою к переправкам. Я не мог от них удержаться и при том, что тебе посылаю. Особенно мне совестно за мою драму, которая их не стоит. И я ни за что бы тебе ее не послал, ежели б не думал, что в журнале и посредственное годится для занятия нескольких листов. Пересмотри мою антикритику, и что тебе в ней покажется лишним, выбрось. Боюсь очень, что я в ней не держусь немецкого правоверия и что в нее прокрались кой-какие ереси. Драму напечатай без имени и не читай ее никому как мое сочинение. Под сказкой поставь имя сочинителя. Я читал твое объявление: оно написано как нельзя лучше, и я тотчас узнал, что оно твое. Ты истолковал название журнала и умно и скромно. Но у нас не понимают скромности, и я боюсь, что в твоем объявлении не довольно шарлатанства для приобретения подписчиков. Впрочем, воля Божия. Я подпишусь в будущий год на некоторые из русских журналов и буду за тебя отбраниваться, когда нужно. У меня, кроме плана поэмы, в запасе довольно желчи; я буду рад как-нибудь ее излить. Это письмо — совершенно деловое. Я должен тебе дать препоручение, конечно не литературное, а между тем не совсем ей чуждое, ибо дело идет о моем желудке. Посылаю тебе 50 рублей. Вели, сделай одолжение, купить мне полпуда какао и отправь это по тяжелой почте. Он продается в Охотном ряду: спроси у кого-нибудь, хоть у Эйнброда, как узнавать свежий от несвежего. Прощай, обнимаю тебя очень усердно. Что у меня еще напишется, пришлю. Мы переезжаем из деревни в город. Буду рекомендовать «Европейца» моим казанским знакомым. — Е. Боратынский».

157. И. В. Киреевскому

1831, декабрь, конец 10-х — начало 20-х чисел, Казань «Ежели уже получено позволение издавать журнал под фирмою «Европейца», пусть он остается «Европейцем». Не в имени дело. Ты меня приводишь в стыд слишком хорошим мнением о моей драме. Спешу тебе сказать, что это только драматический опыт; несколько сцен с самою легкою завязкою. Я от нее не в отчаянии только потому, что надеюсь со временем написать что-нибудь подельнее. Ежели б я вполне следовал своему чувству, я бы поступил с нею, как ты поступаешь с некоторыми из своих творений, то есть бросил бы в печь. Кстати: я не нахожу тебя в этом отменно благоразумным. Во-первых, не мне быть судьею в собственном деле; во-вторых, каждый, принимающийся за перо, поражен какою-либо красотою, следственно, и в его творении, как бы оно ни поддавалось критике, наверно есть что-нибудь хорошее. Что ж касается до совершенства, оно кажется не дано человеку, и мысль о нем может скорее охладить, нежели воспламенить писателя. Это думает и Жуковский, который советует

От убивающия дар Надменной мысли совершенства.

беречься

Жуковский будет в Москве. Как жаль, что я в Казани. Поклонись ему от меня как можно усерднее. Я видел в газетах объявление о выходе его новых баллад. Не терпится прочесть их. «Повести Белкина» я знаю. Пушкин мне читал их в рукописи. Напиши мне о них свое мнение. Спасибо тебе за то, что не ленишься писать. После каждого твоего письма я, ежели можно, еще более к тебе привязываюсь. Засвидетельствуй мое почтение милой твоей маменьке. Что с нею было? Нечего тебе сказать, что я искренне радуюсь ее выздоровлению. Обними за меня Языкова, да пришли же мне новые его пьесы. — Е. Б.

— Ты мне пишешь о портретах известных людей. Но подумай, что у нас их весьма немного, что эти портреты должны быть панегириками и тогда ни для кого не будут занимательными. Ты

скажешь, что не надо называть поименно всех, но по двум или трем приметам легко узнать знакомого человека, особенно автора, а тень невосхищения будет уже обидою и личностию. Оставим наших соотечественников, но не мешает тебе положить на бумагу все, что ты знаешь о Шеллинге и других отличных людях Германии. Загадывать их не нужно, ибо надо их знать, чтобы ценить их; а многие ли с ними знакомы, не только лично, но и по сочинениям? Вот тебе мое мнение: суди сам, справедливо ли оно, или нет».

158. И. В. Киреевскому

1831, декабрь, конец месяца, Қазань

«Спасибо тебе за дельную критику. В конце моего ответа Надеждину я очень некстати разговорился. Вот тебе переправка: «Первые строки мы охотно принимаем за иронию, за небрежную, следственно, шутку над неблагонамеренною привязчивостью «Московского Телеграфа». Не будем оспаривать чувства собственного преимущества, которое их внушило; мы заметим только, что они не на своем месте и что могут принять их за неосторожное признание. Отдадим справедливость критику: в пристрастном разборе его видно» etc. — «Недостаток логики» замени «Недостатком обдуманности», ежели еще какое-нибудь выражение покажется тебе жестким, препоручаю тебе его смягчить. — Первый № твоего журнала великолепен. Нельзя сомневаться в успехе. Мне кажется, надо задрать журналистов, для того чтобы своими ответами они разгласили о существовании оппозиционного журнала. Твое объявление было слишком скромно. Скажи, много ли у тебя подписчиков. Напечатай в московских газетах, какие и какие статьи помещены в 1-м № «Европейца». Это будет тебе очень полезно. — Я и все мои усердно поздравляем тебя и твоих с праздниками и новым годом. Дай Бог, чтоб будущий нашел нас вместе. — Мы переехали из деревни в город: я замучен скучными визитами. Знакомлюсь с здешним обществом, не надеясь найти в этом никакого удовольствия. Нечего делать: надо повиноваться обычаю, тем более, что обычай по большей части благоразумен. Я гляжу на себя, как на путешественника, который проезжает скучные, однообразные степи. Проехав, он с удовольствием скажет: я их видел. Прощай, до будущей недели. — Е. Б. — Благодарю тебя за какао. Вероятно, рублей 15 стоила пересылка; на остальные, если можно, пришли новые баллады Жуковского».

159. И. В. Киреевскому

1832, январь, начало месяца (?), Казань

«Сейчас получил от тебя неожиданную и прелестную новинку, Гизо, которого мне очень хотелось иметь. Спасибо тебе. Я замечаю, что эту фразу мне приходится повторять в каждом из моих писем. Напиши, много ли я тебе должен: теперь я в деньгах. — Я мало еще познакомился с здешним городом. С первого дня моего приезда я сильно простудился и не мог выезжать. Знаешь ли, однако ж, что, по-моему, провинциальный город оживленнее столицы. Говоря оживленнее, я не говорю — приятнее; но здесь есть то, чего нет в Москве, — действие. Разговоры некоторых из наших гостей были для меня очень занимательны. Всякий говорит о своих делах или о делах губернии, бранит или хвалит. Всякий, сколько можно заметить, деятельно стремится к положительной цели и оттого имеет физиономию. Не могу тебе развить всей моей мысли, скажу только, что в губерниях вовсе нет этого равнодушия ко всему, которое составляет характер большей части наших московских знакомцев. В губерниях больше гражданственности, больше увлечения, больше элементов политических и поэтических. Всмотрясь внимательнее в общество, я, может быть, напишу что-нибудь о нем для твоего журнала; но я уже довольно видел, чтобы местом действия русского романа всегда предпочесть губернский город столичному. Хвалю здесь твоего «Европейца»; не знаю только, заставят ли мои похвалы кого-нибудь на него подписаться. Здесь выписывают книги и журналы только два

или три дома и ссужают ими потом своих знакомых. Здесь живет страшный Арцыбашев: я с ним говорил, не зная, что это он. Я постараюсь с ним сблизиться, чтобы рассмотреть его натуру. Когда мне в первый раз указали Каченовского, я глядел не него с отменным любопытством? однако воображение меня обмануло: «Je le vis, son aspect n'avait rien de farouche» <Я видел его, но в его наружности не нашел ничего дикого>. — Обнимаю тебя, ты же от меня обними Языкова. Поклон всем твоим».

160. Н. М. Языкову

1832, январь, до 7 (?), Казань

«Плющом и гроздием венчая Чело высокое свое, Бывало, муза молодая С тобой разгульное житье И удалую радость пела, И к ней безумна и слепа, То забываясь, пламенела Любовью грубою толпа; То на свободные напевы Сердяся в ханжестве тупом, Она ругалась чудной девы Ей непонятным божеством, Во взорах пламень вдохновенья, Огонь восторга на щеках Был жар хмельной в ее глазах Или багрянец вожделенья. Она высоко рождена, Ей много славы подобает: Лишь для любовника она Наряд Менады надевает. Яви ж, яви ее скорей, Певец, в достойном блеске миру: Наперснице души твоей Дай диадиму и порфиру; Державный сан ее открой: Да изумит своей красой! Да величавый взор смущает Ее злословного судью Да со стыдом он в ней познает Свою Царицу и мою!

Вот что внушило мне твое послание, исполненное и свежести, и красоты, и грусти, и восторга. Мало одного таланта, чтобы писать по-своему, надо быть вдохновенным сердцем и наличною жизнию. Только твои стихи расшевеливают мне душу. Твои студенческие элегии дойдут до потомства; но ты прав, что хочешь избрать другую дорогу. С возмужалостью поэта должна мужать и его поэзия, без того не будет истины и настоящего вдохновения. Жду с нетерпением первого № «Европейца» <нрзб.> очень хочется увидеть, какого он может ожидать успеха. Объявление было слишком скромно. Ты напрасно боишься его важности. Наша публика это

любит. Она мало способна к увлечению и не понимает прекрасного. Но уважает ученость и на наличные деньги вечно покупает наличные сведения. Прощай, мой милый Языков. Я люблю тебя от всей души. — Е. Боратынский».

161. И. В. Киреевскому

1832, январь, около 7 (?), Казань

«Благодарю тебя и за коротенькое письмо, но не ленись и на обещанное пространное. Ты, я думаю, теперь чрезвычайно озабочен своим журналом, и тебе остается мало времени на переписку. Мне немного совестно заставлять тебя думать обо мне, но ты извинишь мне это. Я тоже не без забот, хотя другого рода. Губернская светская жизнь довольно утомительна, и то выезжая, то принимая, у меня мало остается досуга. Языков расшевелил меня своим посланием. Оно — прелесть. Такая ясная грусть, такое грациозное добродушие. Такая свежая чувствительность! Как цветущая его муза превосходит все наши бледные и хилые! У наших — истерика, а у ней настоящее вдохновение! Я познакомился с Арцыбашевым. Человек очень ученый и в разговоре более приличный, нежели в печати, впрочем весь погрязший в изысканиях. Выше хронологических чисел он ничего не видит в истории. Здешние литераторы (можешь вообразить — какие) задумали издавать журнал и просят меня в нем участвовать. Это — в числе неприятностей моей здешней жизни. Многие имеют здесь мои труды и Пушкина, но переписные, а не печатные. Надо продавать книги наши подешевле. Отсылаю тебе «Телескоп». Прощай, спешу посылать на почту, где между прочим лежит ко мне посылка, надеюсь, что от тебя с Европейцем».

162. А. П. Елагиной

1832, январь, Казань

«Ваше письмо, милая Авдотья Петровна, заставило меня печально пересчитать месяцы, которые мне остается провести далеко от вас, в моем Қазанском изгнании. Право, нельзя быть добрее вас, и кто вас не любит, у того дурное сердце. Скажу ли, что мое вам беспредельно предано? Вы не сомневаетесь в этом, иначе вы, и ко мне и к себе, были бы очень несправедливы. Москва мне мила вами, и я бы жалел о ней, ежели бы и не собралось туда столько людей, мне давно знакомых и любезных. Стихи Жуковского тешили меня целую неделю. Кто бы подумал, что они писаны меланхоликом и придворным! Я особенно люблю Жуковского в его шалостях: так утешительно видеть в человеке с отличным умом это детское простодушие, которое удостоверяет, что могущество мысли не препятствует сердечному счастию. Ежели в других творениях Жуковского я люблю поэта, я люблю его самого в его шутках; но, кажется, мне нечего вам хвалить Жуковского. На вас уже сердится Алексей Андреевич, боюсь, чтоб и мне не досталось. Скажу вам однако ж (это уже не шутка), что я понимаю волшебство вашего свидания, все счастие и всю грусть его. Вы провели вместе детство и молодость, и впечатления прошедшего, которые незаметно прикованы одни к другим, все ожили и заговорили в одно время. Этот праздник, как все большие праздники, миновался, оставив нас смущенными и встревоженными, и долго после мы не можем приноровиться к обыкновенной нашей жизни. Понимаю пустоту, оставленную вам отъездом Жуковского. Я тружусь усердно для «Европейца», и на днях вы получите материалов на целый номер. У меня в голове поэма; но я еще за нее не принимался: продолжительный труд пугает мою лень. Прощайте, моя милая, моя добрая Авдотья Петровна. Будьте здоровы: когда-то пройдет столько лет, что и наша дружба будет иметь свои воспоминания. — Е. Боратынский».

163. И. В. Киреевскому

1832, январь, до 18, Казань

«Давно не получал я от тебя писем, милый Киреевский, и не жалуюсь, ибо знаю, что хлопот у тебя много. У меня к тебе просьба: если не напечатано первое мое послание к Языкову, не печатай его: оно мне кажется довольно слабо. Напечатай лучше второе, которым я более доволен. Я здесь веду самую глупую жизнь, рассеянную без удовольствия, и жду не дождусь возвращения нашего в деревню. Мы переезжаем на первой неделе великого поста. Там я надеюсь употребить время с пользою для себя и для «Европейца», а здесь — нет никакой возможности. Подумай, кого я нашел в Казани? Молодого Перцова, известного своими стихотворными шалостями, которого нам хвалил Пушкин; но мало, что человек очень умный — и очень образованный, с решительным талантом. Он мне читал отрывки из своей комедии в стихах, исполненные живости и отстроумия. Я постараюсь их выпросить у него для «Европейца». С ним одним я здесь говорю натуральным моим языком. Вот тебе бюллетень моего житья-бытия. Что ты не шлешь мне «Европейца»? Я получил баллады Жуковского. В некоторых необыкновенное совершенство слога и простота, которую не имел Жуковский в прежних его произведениях. Он мне даже дает охоту рифмовать легенды. Прощай, обнимаю тебя. — Е. Боратынский».

164. И. В. Киреевскому

1832, январь, конец месяца — февраль, начало (?), Казань «"Европеец" твой бесподобен. Мысли, образ выражения, выбор статей, все небывалое в наших журналах со времен «Вестника Европы» Карамзина, и я думаю, что он будет иметь столько же успеха, как сей последний, ибо для своего времени он имеет все достоинства, которые тот имел для своего. Только не покидай своего дела. Все статьи, тобою писанные, особенно замечательны. Обозрение 19-го века богато мыслями, но ежели б мы были вместе, я в некоторых с тобою бы поспорил. Это не критика. Предмет так обширен, что можно глядеть на него с множества разных точек, и замечание мое доказывает только, что ты разбудил во мне мысленную деятельность. О слоге Вильмена статья прекрасная. Нельзя более сказать в меньших словах с такою ясностию, с таким вкусом, с такою правдою. И Вильмен, и Бальзак оценены вполне и отменно справедливо. Разбор «Годунова» отличается тою же верностию, тою же простотою взгляда. Ты не можешь себе представить, с каким восхищением я читал просвещенные страницы твоего журнала, сам себе почти не веря, что читаю русскую прозу, так я привык почерпать подобные впечатления только в иностранных книгах. Посылаю тебе небольшое стихотворение Перцова, которым я очень недоволен. Он много мне читал лучшего, и не знаю, почему выбрал эту пьесу для «Европейца». Я с ним об этом поговорю. Он мне читал комедию, написанную прекраснейшими стихами, исполненную остроумия, и ее многие характеры изображены верно и живо. Он с решительным талантом; но видно, не все роды ему одинаково даются. — Здорова ли твоя маменька? Давно мы от нее ничего не имеем. Поцелуй у нее за меня ручки и напомни обо мне Алексею Андреевичу. — Скажи, сделай одолжение, отправил ли ты мне мой какао? Я до сих пор его не получил. — Вот тебе в заключение эпиграмма, которую должно напечатать без имени:

Кто непременный мой ругатель? Необходимый мой предатель? Завистник непременный мой? Тут думать нечего — родной. Нам чаще друга враг полезен,

Подлунный мир устроен так. О как же дорог, как любезен Самой природой данный враг!»

165. И. В. Киреевскому

1832, февраль, около 14-15, Казань

«Поздравляю тебя с масляницей. Это значит, что мне писать тебе недосуг. Вот тебе другая пьеса Перцова, которая лучше первой. Еще просьба: напечатай в «Европейце» мое: «Бывало, отрок», etc. Я не знаю, отчего Пушкин отказал ей место в «Северных цветах». Прощай, обнимаю тебя. На той неделе буду более твоим, нежели на этой. — Е. Боратынский».

166. И. В. Киреевскому

1832, февраль, около 16-18 (?), Казань

«Понимаю, брат Киреевский, что хлопотливая жизнь журналиста и особенно разногласные толки и пересуды волнуют тебя неприятным образом. Я предчувствовал твое положение, и жаль мне, что я не с тобою, потому что у нас есть сходство в образе воззрения, и мы друг друга же в нем утверждали. Мнение Жуковского, Пушкина и Вяземского мне кажется несправедливым. Приноровляясь к публике, мы ее не подвинем. Писатели учат публику, и ежели она находит что-нибудь в них непонятное, это вселяет в нее еще более уважения к сведениям, которых она не имеет, заставляет ее отыскивать их, стыдяся своего невежества. Надеюсь, что Полевой менее ясен, нежели ты, однако ж журнал его расходится и, нет сомнения, приносит большую пользу, ибо ежели не дает мыслей, то будит оные, а ты и даешь их, и будишь. Бранить публику вправе всякий, и публика за это никогда не сердится, ибо никто из ее членов не принимает на свой счет сказанного о собирательном теле. Вяземский сказал острое слово — и только. Ежели ты имеешь мало подписчиков, тому причиною: 1-е — слишком скромное объявление, 2-е — неизвестность твоя в литературе, 3-е — исключение мод. Но имей терпение издавать еще на будущий год, я ручаюсь в успехе. По прочтении 1-го № «Европейца» здесь в Казани мы на него подписались. Вообще журнал очень понравился. Нашли его и умным, и ученым, и разнообразным. Поверь мне, русские имеют особенную способность и особенную нужду мыслить. Давай им пищу: они тебе скажут спасибо. Не упускай, однако ж, из виду пестроты и новостей, без чего журнал не будет журналом, а книгою. Статья твоя о 19-м веке непонятна для публики только там, где дело идет о философии, и в самом деле, итоги твои вразумительны только тем, которые посвящены в таинства новейшей метафизики, зато выводы литературные, приложение этой философии к действительности отменно ясны и знакомым чувством с этой философией, еще не совершенно понятной для ума. Не знаю, поймешь ли ты меня; но таков ход ума человеческого, что мы прежде верим, нежели исследуем, или, лучше сказать, исследуем для того только, чтобы доказать себе, что мы правы в нашей вере. Вот почему я нахожу полезным поступать как ты, то есть знакомить своих читателей с результатами науки, дабы, заставив полюбить оную, принудить заняться ею. Постараюсь что-нибудь прислать тебе для № 3. Ты прав, что Казань была для меня мало вдохновительной. Надеюсь, однако ж, что несколько впечатлений и наблюдений, приобретенных мною, не пропадут. Прощай. Не предавайся унынию. Литературный труд сам себе награда; у нас, слава Богу, степень уважения, которую мы приобретаем, как писатели, не соразмеряется торговым успехом. Это я знаю достоверно и по опыту. Булгарин, несмотря на успехи свои в этом роде, презрен даже в провинциях. Я до сих пор еще не встречался с людьми, для которых он пишет. — Е. Боратынский».

167. И. В. Киреевскому

1832, февраль, до 22, Казань

«Начинаю письмо мое пенями на тебя, а у меня их набралось нарочитое количество. Вопервых, ты мне не пишешь, много ли я тебе должен за Гизота и за другие мелочи. Нам с тобою нечего чиниться, особенно в этом. Во-вторых, позволь мне побранить тебя за то, что ты не говоришь мне своего мнения о моей драме. Вероятно, она тебе не нравится; но неужели ты так мало меня знаешь, что боишься обидеть мое авторское самолюбие, сказав мне откровенно, что я написал вздор? Я больше буду рад твоим похвалам, когда увижу, что ты меня не балуешь. Я получил вторую книжку «Европейца». Разбор «Наложницы» для меня — истинная услуга. Жаль, что у нас мало пишут, особенно хорошего, а то бы ты себе сделал имя своими эстетическими критиками. Ты меня понял совершенно, вошел в душу поэта, схватив поэзию, которая мне мечтается, когда я пишу. Твоя фраза: «переносит нас в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную» заставила меня встрепенуться от радости, ибо это-то самое достоинство я подозревал в себе в минуты авторского самолюбия, но выражал его хуже. Не могу не верить твоей искренности: нет поэзии без убеждения, а твоя фраза принадлежит поэту. Нимало не сержусь за то, что ты порицаешь род, мною избранный. Я сам о нем то же думаю и хочу его оставить. 2-я книжка «Европейца» вообще не уступает первой. — Мы переезжаем из города в деревню. Надеюсь, что буду писать, по крайней мере, у меня твердое намерение не баловать моей лени. Если будут упрямиться стихи, примусь за прозу. Прощай, обнимаю тебя. — Е. Боратынский. — Я получил какао».

168. И. М. Симонову

1832, март (?), Каймары

«Милостивый государь Иван Михаилович! — Прибегаю к вам с покорнейшею просьбою. Денис Васильевич Давыдов желает иметь при своих детях хорошего учителя математики и русского языка, который согласился бы с ним ехать в деревню, находящуюся в Саратовской губернии. Может быть, при университете находятся люди, которым предложение его будет сподручно. Вы бы весьма меня одолжили, ежели б довели оное до их сведения и буде найдется желающий, уведомили о его условиях. Я не слишком совещусь обременить вас этим препоручением, потому что оно может доставить вам случай пристроить хорошего человека к хорошему месту. — С истинным почтением и совершенною преданностию честь имею быть, Милостивый государь, ваш покорнейший слуга — Е. Боратынский».

169. И. М. Симонову

1832, март (?), Қаймары

«Милостивый государь Иван Михайлович! — Денис Васильевич Давыдов, которому сообщил я ваш ответ касательно нужного ему учителя, усердно вас благодарит за посредничество ваше в этом деле. Он охотно будет ожидать назначенного вами времени; но вы сами чувствуете, что надобно заранее уговориться. Денис Васильевич желает иметь учителя русского языка и математики по новой методе (так он выражается) и предлагает от 600 до 1000 ежегодного жалования. В случае согласия он просит теперь же дать ему верное слово, дабы положась на оное, ему не нужно было более хлопотать в Москве. Наконец он просит доставить ему адрес гна учителя. — Обстоятельными ответами вашими вы ободрили меня снова Вас обеспокоить. При первом приезде своем в Казань я не премину лично снова засвидетельствовать вам чрезвычайную мою признательность. — С истиннейшим почтением и совершенною признательностью честь имею быть, — милостивый государь, ваш покорный слуга — Е. Боратынский».

170. И. В. Киреевскому

1832, март, начало месяца (около 7-10) (?), Каймары

«Ты разбираешь мою драматическую попытку серьезнее, нежели она стоит. Я учился форме и думал более расположить сценами анекдоты, нежели написать настоящую драму. Я вы брал ничтожный предмет для того, чтобы ученическим пером не испортить хорошего. Ежели есть некоторая занимательность в ходе, некоторая естественность в разговоре, я собой доволен, ибо я не помышлял о красотах высшего рода. — Читал ли ты 8-ю главу «Онегина» и что ты думаешь о ней и вообще об «Онегине», конченном теперь Пушкиным? В разные времена я думал о нем разное. Иногда мне «Онегин» казался лучшим произведением Пушкина, иногда напротив. Ежели б все, что есть в «Онегине», было собственностию Пушкина, то без сомнения, он ручался бы за гений писателя. Но форма принадлежит Байрону, тон тоже. Множество поэтических подробностей заимствовано у того и у другого. Пушкину принадлежат в Онегине характеры его героев и местные описания России. Характеры его бледны. Онегин развит не глубоко. Татьяна не имеет особенности. Ленский ничтожен. Местные описания прекрасны, но только там, где чистая пластика. Нет ничего такого, что бы решительно характеризовало наш русский быт. Вообще это произведение носит на себе печать первого опыта, хотя опыта человека с большим дарованием. Оно блестящее; но почти все ученическое, потому что почти все подражательное. Так пишут обыкновенно в первой молодости из любви к поэтическим формам более, нежели из настоящей потребности выражаться. Вот тебе теперешнее мое мнение об «Онегине». Поверяю его тебе за тайну и надеюсь, что оно останется между нами, ибо мне весьма некстати строго критиковать Пушкина. От тебя же утаить настоящий мой образ мыслей мне совестно. — Покуда я заготовлял тебе это письмо, я получил от тебя другое. Перцов тебе соврал: будущую зиму я непременно проведу в Москве, но не надеюсь остаться постоянным ее жителем и на всякий случай строю дом в деревне. Я тебе уже говорил, что мы будем жить особо. Это введет нас в издержки, которые прежде опыта мы определить не можем. Не мудрено, что московская жизнь придется нам не по состоянию, и тогда хоть нехотя, надо будет поселиться в деревне. Планы твои не однажды были моими, и поэтому ты легко поверишь, что ежели я увижу какую-нибудь возможность остаться в твоей Москве, то ее не оставлю. Знакомец мой Перцов, кажется, не очень тебе понравился. Признаюсь, и у меня не весьма лежит к нему сердце. Может быть, он человек с умом и даже с хорошими душевными качествами, но как-то существо его не гармонирует с моим. Мне с ним неловко и невесело. Правда ли, что Горскина выходит за Щербатова? Она сначала была в довольно частой переписке с сестрою Соничкой, но теперь месяца три как уже к ней не пишет. Когда ты ее увидишь, попрекни ей от сестры этой недружеской переменой. — В здешний университет пришла бумага от министра просвещения, в которой рекомендуется строгое смотрение за тем, чтобы студенты не читали ни «Телеграфа», ни «Телескопа» как журналов, распространяющих вредные мысли. Говорят, что издание их прекращено. Правда ли это? Прощай, мой милый, обнимаю тебя от всей души. Сердечно радуюсь лучшему здоровью твоей маменьки и усердно целую ее ручки. — Е. Боратынский».

171. И. В. Киреевскому

1832, март,до 14, Каймары

«Я приписывал молчание твое недосугу и не воображал ничего неприятного; можешь себе представить, как меня поразило письмо твое, в котором ты меня извещаешь о стольких домашних печалях и, наконец, о запрещении твоего журнала! Болезнь твоей маменьки (да и она не первая с тех пор, как мы расстались) крайне нас огорчила, несмотря на то, что, по письму твоему, ей лучше. От запрещения твоего журнала не могу опомниться. Нет сомнения, что тут действовал тайный, подлый и несправедливый доносчик, но что в этом утешительного? Где

найти на него суд? Что после этого можно предпринять в литературе? Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным. Запрещение твоего журнала просто наводит на меня хандру, и, судя по письму твоему, и на тебя навело меланхолию. Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным. Поблагодарим Провидение за то, что оно нас подружило и что каждый из нас нашел в другом человека, его понимающего, что есть еще несколько людей нам по уму и по сердцу. Заключимся в своем кругу, как первые братия христиане, обладатели света, гонимого в свое время, а ныне торжествующего. Будем писать, не печатая. Может быть, придет благопоспешное время. Прощай, мой милый, обнимаю тебя. Пиши ко мне. Письма твои мне нужны. Ты найдешь убеждение это сильным. — Е. Боратынский. — Жена моя усердно тебя просит извещать нас о выздоровлении твоей маменьки».

172. И. М. Симонову

1832, апрель, 7, Қаймары

«Милостивый государь Иван Михайлович! — Много меня одолжите, ежели доставите окончательный ответ о математическом учителе, чтобы до отъезда Дениса Васильевича в деревню я мог с ним списаться. Вашему суду я более верю, нежели собственному. Надеюсь увидеться с вами, когда установится летняя дорога и еще раз поговорить о земле и нас. — С истинным почтением и совершенною преданностию честь имею быть, — Милостивый государь, вашим покорнейшим слугою. — Е. Боратынский. — 1832 года — Апреля 7 дня».

173. И. В. Киреевскому

1832, апрель, до 12, Каймары

«Ты провел день рождения твоего довольно печально. Надеюсь, что народное замечание не сбудется и что этот день не будет для тебя образчиком всех последующих сего года. Много минут жизни, в которых нас поражает ее бессмыслица: одни почерпают в них заключения, подобные твоим, другие — надежду другого, лучшего бытия. Я принадлежу к последним. Не стану теперь рассуждать о предмете, который может наполнить томы, но с удовольствием переношусь мыслию в то время, когда мы опять примемся за наши бесконечные споры. «Вечера на Диканьке», без сомнения, показывают человека с дарованием. Я приписывал их Перовскому, хоть я вовсе в них не узнавал его. В них вообще меньше толку и больше жизни и оригинальности, чем в сочинениях сего последнего. Молодость Яновского служит достаточным извинением тому, что в его повестях есть неполного и поверхностного. Я очень рад буду с ним познакомиться. О свадьбе Скаря-тина мы поговорим, когда увидимся. Может быть, я докажу тебе, что предположения наши не были особенно неблагоразумны. Прощай. Я и жена моя поздравляем тебя и твоих с праздником. Твой Е. Боратынский».

174. И. В. Киреевскому

1832, апрель, конец месяца — май, начало, Каймары

«Я так давно к тебе не писал, что, право, совестно. Молчал не от лени, не от недосуга, а так. Это mak — русский абсолют, но толковать его невозможно. Сегодня мне по-настоящему некогда писать писем, потому что пишу стихи, а вот я за грамотою к тебе. Как это делается, ежели не так? Я очень благодарен Яновскому за его подарок. Я очень бы желал с ним познакомиться. Еще не было у нас автора с такою веселою веселостью, у нас на севере она великая редкость. Яновский — человек с решительным талантом. Слог его жив, оригинален, исполнен красок и часто вкуса. Во многих местах в нем виден наблюдатель, и в повести своей «Страшная месть» он не однажды был поэтом. Нашего полку прибыло: это заключение

немножко нескромно, но оно хорошо выражает мое чувство к Яновскому. — О трагедии Хомякова ты мне писал только то, что она кончена. Поговори мне о ней подробнее. Мне пишет из Петербурга брат, которому Хомяков ее читал, что она далеко превосходит «Бориса» Пушкина, но не говорит ничего такого, по чему можно бы составить себе о ней понятие. Надеюсь в этом на тебя. — Поблагодари за меня милую Каролину за перевод «Переселения душ». Никогда мне не бывало так досадно, что я не знаю по-немецки. Я уверен, что она перевела меня прекрасно, и мне бы веселее было читать себя в ее переводе, нежели в своем оригинале: как в несколько флатированном портрете охотнее узнаешь себя, нежели в зеркале. — Сестра Соничка сердится за то, что ты подозреваешь в Горскиной немного кокетства. Дело не в этом, а в том, что до нее дошли слухи, что ты между ними находишь большое сходство, из чего следует, что ты и о ней того же мнения, а в справедливости его она не признается. — Прощай, мой милый; напиши, сделай милость, какой у тебя чин: мне это нужно для того, чтобы адресовать тебе квитанцию из Опекунского совета. Это тебе не доставит никаких хлопот: тебе вручат и только. Что Свербеевы? Поклонись им от меня, равно как и всем своим. — Твой Боратынский. — Напиши мне скорее о своем чине. 25 мая я выезжаю отсюда».

175. И. В. Киреевскому

1832, май, до 16, Каймары

«Я поставлю себе за правило не пропускать ни одной почты и писать тебе хоть два слова, но еженедельно. Писать к тебе уже мне сердечная потребность, и мне легко будет не отступать от сего правила. Что ты говоришь о басне нового мира — мне кажется очень справедливым. Я не знаю человека богаче тебя истинно критическими мыслями. Я написал всего одну пьесу в этом роде и потому не могу присвоить себе чести, которую ты приписываешь. Изобретение этого рода будет нам принадлежать вдвоем, ибо замечание твое меня поразило, и я непременно постараюсь написать десятка два подобных эпиграмм. Писать их не трудно, но трудно находить мысли, достойные выражения. Мы накануне нашего отъезда отсюда. Тесть мой едет в Москву, а я с женою в Тамбовскую губернию к моей матери. Пиши однако мне все в Казань, покуда не получишь от меня письма, в котором я решительно уведомлю тебя о моем отъезде. Мы увидимся в конце августа, а ежели Бог даст, долго поживем вместе. Прощай, обнимаю тебя. — Е. Боратынский. — Что поделывает Языков? Этот лентяй из лентяев пишет ли что-нибудь? прошу его пожалеть обо мне: одна из здешних дам, женщина степенных лет, не потерявшая еще притязаний на красоту, написала мне послание в стихах без меры, на которые я должен отвечать».

176. И. В. Киреевскому

1832, май, до 30, Каймары

«Тесть мой поехал в Москву. Я должен был выехать в одно время в Тамбов к моей матери, где я намерен был провести лето, но нездоровье моей жены меня удержало. Пиши мне попрежнему в Казань. Не могу вообразить, что такое трагедия Хомякова. Дмитрий Самозванец — лицо отменно историческое; воображение наше поневоле дает ему физиономию, сообразную с сказаниями летописцев. Идеализировать его — верх искусства. Байронов Сарданапал — лицо туманное, которому поэт мог дать такое выражение, какое ему было угодно. Некому сказать: не похож. Но Дмитрия мы все как будто видели и судим поэта как портретного живописца. Род, избранный Хомяковым, отменно увлекателен: он представляет широкую раму для поэзии. Но мне кажется, что Ермаку он приходится лучше, нежели Дмитрию. Скоро ли он напечатает свою трагедию? Мне не терпится ее прочесть, тем более что ее издание противоречит всем моим понятиям, и я надеюсь в ней почерпнуть совершенно новые поэтические впечатления. Это время я писал все мелкие пьесы. Теперь у меня их пять, в том числе одна, на смерть Гете,

которою я более доволен, чем другими. Не посылаю тебе этого всего, чтоб было мне что прочесть, когда увидимся. Извини мне это Хвостовское чувство. Прощай. Наши проведут дня три в Москве. Повидайся с ними: они расскажут тебе о похождениях наших в Қазани».

177. С. Л. Энгельгардт

1832, май, конец месяца — июнь, первая половина, Қазань «Моя милая, добрая Софи, твое отсутствие оставило нам томительную пустоту. Мы только и говорим, что о тебе, и наши сердца полны печали и любви. Этот год, каким бы мучительным он ни был, лишь привязал нас друг ко другу еще прочнее, и моя глубокая тоска служит доказательством того, что мы не можем жить порознь. У тебя любящее сердце, бесценная Софи, избери себе надежного друга, и мы будем счастливы, а ты сможешь не страшиться, что тебя обманут. Прощай, мое милое дитя, обнимаю тебя с большей нежностью, чем кого-либо из моих родственников. Ты дитя моего сердца, сестра моей избранницы. Қак могли мы так часто не понимать друг друга? Прощай, да хранит тебя Господь. Из Мары к нам не пишут; тем лучше: мы сможем скорее увидеться».

178. С. Л. Энгельгардт

1832, май, конец месяца — июнь, первая половина, Казань «1-го июня. Благодарю, моя душинька, за все нежные слова, сказанные тобою. Ты стала мне еще дороже, чем прежде, милое мое дитя. С тех пор, как ты уехала, я тоже почти не принимаю <1 нрзб>. Пишу тебе с головною болью, но это следствие не оргии, а сорока верст, которые нам пришлось проделать до Казани, потому что мы уже обосновались в Князь-Камаево. Из Мары ко мне не пишут, и тем лучше: мы сможем поскорее вернуться в Москву. Я более не стараюсь проникнуть в опеку; это знак того, что <нрзб> случится, если ж нет, я знаю, что не рассержусь на это так сильно, как предполагал. Прощай, мой добрый друг».

179. С. Л. Энгельгардт

1832, май, конец месяца — июнь, первая половина, Казань и Князь-Камаево «Настинька присвоила себе право излагать все подробности, и потому мне, любезный друг, остается только нежно тебя обнять. Сейчас я очень занят сельским управлением, потому что хочу как можно скорее отослать назад Яшку, согласно желанию папеньки. Можешь вообразить, какого напряжения нервов мне это стоит. Прощай, моя добрая Софи, дай тебе Бог терпения, в котором ты так нуждаешься, и да пошлет тебе Провидение маленькие приятные развлечения».

180. И. В. Киреевскому

1832, июнь, первая половина (?), Казань

«Ты мне развил мысль свою о басне с разительною ясностию. Мне бы хотелось, чтоб ты написал статью об этом. Мысль твоя нова и, по моему убеждению, справедлива: она того стоит. Я берегу твои письма, и когда мы увидимся в Москве, я отыщу те два, в которых ты говоришь о басне. Ты перенесешь сказанное в них в твою статью, ибо мудрено выразиться лучше. Ты необыкновенный критик, и запрещение «Европейца» для тебя большая потеря. Неужели ты с тех пор ничего не пишешь? Что твой роман? Виланд, кажется, говорил, что ежели б он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделывал бы свои стихи, как в кругу любителей литературы. Надобно нам доказать, что Виланд говорил от сердца. Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления. Я прочитал здесь «Царя

Салтана». Это — совершенно русская сказка, и в этом, мне кажется, ее недостаток. Что за поэзия — слово в слово привести в рифмы Еруслана Лазаревича или Жар-птицу? И что это прибавляет к литературному нашему богатству? Оставим материалы народной поэзии в их первобытном виде или соберем их в одно полное целое, которое настолько бы их превосходило, сколько хорошая история превосходит современные записки. Материалы поэтические иначе нельзя собрать в одно целое, как через поэтический вымысел, соответственный их духу и по возможности все их обнимающий. Этого далеко нет у Пушкина. Его сказка равна достоинством одной из наших старых сказок — и только. Можно даже сказать, что между ними она не лучшая. Как далеко от этого подражания русским сказкам до подражания русским песням Дельвига! Одним словом, меня сказка Пушкина вовсе не удовлетворила. Прощай, поздравь от меня Свербеева и жену его. Пиши мне по-старому в Казань. Я не знаю, долго ли здесь пробуду. В июле постараюсь быть в Москве, чтобы увидеть Жуковского и скорее тебя обнять, но можно ли будет, еще не знаю».

181. И. В. Киреевскому

1832, июнь, до 13, Князь-Камаево

«Я все еще в моей Казанской деревне и не знаю, когда выеду. Пишу к тебе, чтоб не пропустить почты, по нашему условию. Когда решусь ехать, я тебя уведомлю, а покуда пиши на старый адрес. Прощай, обнимаю тебя. — Е. Боратынский».

182. С. Л. Энгельгардт

1832, июнь, до 19, Казань

Перевод: «Мы отправляемся в Мару, любезная Софи, и я вполне этим доволен, ибо это путешествие было неизбежно в этом или следующем году, и чем долее оно откладывалось бы, тем более неприятным бы стало. Ты не можешь представить себе ни того, какую жестокую боль причиняет мне поведение маменьки по отношению ко мне, ни того, как борются во мне негодование и чувство почтения, которое я обязан питать к ней как сын. Ее письмо, которое ты прочтешь, по крайней мере снимает с наших отношений тот налет ратклифичности, мельмотичности и особенно непристойности, который они могли приобрести, и мы будем с нею вежливо обходительны. Мы должны выехать отсюда 19. Возьмем почтовых лошадей и 26 или 27 числа окажемся в объятиях достолюбезного семейства. Прощай, мой ангел. Все устроилось так, что мы увидимся двумя неделями позже, но станем утешаться тем, что на несколько лет вперед мы будем свободны. Прибавь к этому, что наши письма будут весьма занимательны. Обнимаю тебя, милый, добрый друг, от всего сердца. Поцелуй за меня маленькую Соничку, если отважишься. Будь здорова, пиши нам так же часто, как и до сих пор».

183. И. В. Киреевскому

1832, июнь, до 19, Казань

«Пишу тебе в последний раз из Казани, 19-го числа я выезжаю в Тамбов. Адресуй мне теперь свои письма: Тамбовской губернии, в город Кирсанов. Что ты мне говоришь о Hugo и Barbier заставляет меня, ежели можно, еще нетерпеливее желать моего возвращения в Москву. Для создания новой поэзии именно недоставало новых сердечных убеждений, просвещенного фанатизма: это, как я вижу, явилось в Barbier. Но вряд ли он найдет в нас отзыв. Поэзия веры не для нас. Мы так далеко от сферы новой деятельности, что весьма неполно ее разумеем и еще менее чувствуем. На европейских энтузиастов мы смотрим почти так, как трезвые на пьяных, и ежели порывы их иногда понятны нашему уму, они почти не увлекают сердца. Что для них действительность, то для нас отвлеченность. Поэзия индивидуальная одна для нас естественна.

Эгоизм — наше законное божество, ибо мы свергнули старые кумиры и еще не уверовали в новые. Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно углубиться в себе. Вот покаместь наше назначение. Может быть, мы и вздумаем подражать, но в этих систематических попытках не будет ничего живого, и сила вещей поворотит нас на дорогу, более нам естественную. Прощай, поклонись от меня твоим. Когда-то я попрошу тебя нанять себе дом в Москве! Когда-то мы с тобой просидим с 8 часов вечера до трех или четырех утра за философическими мечтами, не видя, как летит время! Однажды в Москве надеюсь долго с тобой не разлучаться и дать своей жизни давно мною желанную оседлость».

184. И. В. Киреевскому

1832, июль-август (?), Мураново (?)

«Вот тебе Lapidaire, которого я все забывал отослать. Свояченица моя тебе скажет, почему я тебе не писал с нею. Оправдание отменно убедительное, и которым или в роде которого я воспользуюсь при родственных переписках. Говоря дельно, я не писал тебе до сих пор не потому, что тебя забыл, не потому, что мне нечего было тебе сказать, а потому, что я предпочитаю разговоры переписке и надеюсь скоро с тобою увидеться. Начал писать мой роман, но дело идет мешкотно. Я отвык от работы, отвык от долгого внимания. В мыслях моих нечто кочевое, отзыв жизни, которую я вел до сего времени. Вздыхаю по жизни более оседлой, по моей московской квартире, из которой ежедневно до 3-х часов не буду выходить ни на шаг и заставлю свой ум снова любить последовательность, постоянство в думах. Прощай, поклонись от меня Одоевскому, который мне очень по сердцу. Обнимаю тебя. Извини мою прежнюю <лень> и не приписывай ничему, кроме ей, редкость моих писем. — Е. Боратынский».

185. И. В. Киреевскому

1832, июль (?) ... апрель (?) 1833

«Отсылаю тебе «Contes brunes» < «Темные истории»>, кажется, в том виде, в каком получил, и надеюсь, что Чадаев на тебя не будет сердиться. Хотя они не стоят «Scenes <de la vie> privees» < «Сцены частной жизни» Бальзака>, но все видна кисть мастера и взгляд человека, принадлежащего к малому числу своеобразных мыслителей. Надеюсь сдержать слово и скоро с тобой увидеться... Прощай. Я и жена сердечно благодарим тебя за твое братское гостеприимство. Усердно тебя обнимаю. — Е. Боратынский».

186. П. А. Вяземскому

1832, август, вторая половина (?), Мураново

«Не доезжая до тамбовской деревни, куда мне была дорога, обстоятельства заставили меня вдруг повернуть в Москву, и таким образом я разъехался с вашею посылкою, которая теперь в руках моего брата и будет мне доставлена им самим только зимою. Я истинно был тронут этим знаком вашей памяти. Я видел в нем внимание к связи отдаленной, но в которой вы справедливо полагаете много душевного. Я провел несколько дней в Пензе, куда предо мною приехал Д. Давыдов. Это было в самую ярмарку. Гуляя по рядам, где и вы гуляли третьего году, мы много о всем говорили, и я досадовал на судьбу, которая, выбирая не в пору, привела меня двумя годами позже или вас двумя годами раньше в Пензу. Между многими из ваших знакомых, кажется, всех живее вас помнит хорошенькая Золотарева. Навестил я воспетую вами головку: она стоит ваших стихов и своей славы. О Москве мне сказать вам нечего. Я живу в подмосковной

и приезжаю в город изредка и случайно. В последнюю мою поездку я познакомился с княг. Одоевской, которая мне показывала стихи ваши Авроре Шернваль, которая была некогда и моей вдохновительницей. Судя по ним, она все еще заслуживает свое имя и как прежде румяна и блистательна. Когда я вас увижу? И так как <зачеркнуто> провела зиму в Петербурге, следственно, и вы его не скоро покинете. Будьте по крайней мере мыслию в Москве. Проживать можно где хочешь и где судьбе угодно, но жить надобно дома. Прощайте, любезный князь, еще раз благодарю вас за вашу память. Убеждение в приязни вашей одна из моих потребностей. — Е. Боратынский».

187. П. А. Вяземскому

1832, декабрь, вторая половина — январь 1833 г. (?), Москва «Письмо это отдаст вам мой брат, которого прошу вас, любезный князь, принять в свое благоволение. Литературные связи иногда стоют кровных, и я препоручаю его вам, доверяясь вполне этой мысли. — Долго не отвечал я на ваше милое, дружеское письмо, но глубоко вам за него признателен. Вы недостаете Москве. Нет общества, в котором бы вас не вспоминали и не сетовали на ваше отсутствие. Я познакомился с старым вашим знакомым М. Орловым и с отменно любезной женой его. В кругу, который некогда был вашим привычным, еще чувствительнее ваше удаление. Д. Давыдов прислал мне начало вашего послания к нему, в котором вы поэтически подделались к его слогу. Он думает недели на две прискакать в Москву. Не решитесь ли и вы последовать его примеру и пригласить с собою Пушкина? Тогда слово будет делом, тогда

Будут дружеской артели Все ребята налицо.

Я не пишу ничего нового и вожусь с старым. Я продал Смирдину полное собрание моих стихотворений. Кажется, оно в самом деле будет последним и я к нему ничего не прибавлю. Время поэзии индивидуальной прошло, другой еще не созрело. — Засвидетельствуйте мое почтение княгине и верьте моей всегдашней вам преданности. — Е. Боратынский».

188. П. А. Вяземскому

1833, февраль, до 3, Москва

«Наша московская литературная братия задумала издать альманах к светлому празднику, и мне препоручено, любезный князь, просить вашего содействия. Подайте нам руку помощи во имя Москвы, вами любимой. Здешние вкладчики — Киреевский, Языков, Чадаев (в переводе), я и несколько других молодых людей, вам незнакомых, но которых, может быть, выгодно с вами познакомить. Попросите Пушкина нас не оставить и дать хоть безделицу в знак товарищества. Вероятно, у вас бывает Гоголь, автор «Вечеров на Диканьке», и наверное он часто видится с Пушкиным. У него много в запасе. Попросите у него от всех нас посильной вкладчины. Не забудьте и Козлова. Одним словом, похлопочите об нас с дружеским радушием. Надеюсь на вашу любовь к Москве, к литературе, а я несколько полагаюсь на ваше доброе расположение к некоторым из участников. Прошу вас поклониться от меня Пушкину. Я ему очень благодарен за участие, которое он принял в продаже полного собрания моих стихотворений. Я ему обязан тем, что продал его за семь тысяч вместо пяти. — Прощайте, любезный князь, от души желаю вам всего лучшего. Адрес мой: у Арбатских ворот, в доме Загряжского. — Е. Боратынский».

189. С. Л. Энгельгардт

1833, май, конец месяца — июнь, начало, Ефремов (?)

Перевод: «Обнимаю тебя, моя душинька, будь здорова и весела и не волнуйся о нас. Благодарение Богу, что мы свиделись. Как ни грустно мне было покидать тебя на такое долгое время, я увожу из Скуратова драгоценные воспоминания. Прощай, мы напишем тебе из Тамбова».

190. С. Л. Энгельгардт

1833, май, конец месяца — июнь, начало, Козлов «Обнимаю тебя, добрая Софи, писать больше не могу, потому что меня отвлекают из-за лошадей. До Мары».

191. С. Л. Энгельгардт

1833, июнь, начало месяца. Не доезжая Мары (Тамбов?)

Перевод: «Благодарю, мой ангел, за письмо, за твою драгоценную дружбу. Подробности, которые ты нам сообщаешь, еще усугубляют грусть в том роковом стечении обстоятельств, которое нас преследует. С горечью вспоминаешь: а счастье было так возможно, так близко! Настинька пишет обо всем наиподробнейшим образом, и мне нечего к этому прибавить. Эти <фамилия не разобрана> приедут ко мне вечером на днях. Постараюсь приложить все усилия и понять, что происходит. Вообрази, что наш экипаж не может быть готов ранее 10 числа. Я задерживаюсь <нрзб> нам придется ехать прямиком в Мару. Буду с нетерпением ожидать новостей о переменах, к дурному или к хорошему, в твоей жизни. Собери все силы рассудка и души. Будь сама для себя наилучшим другом. Готовь себя к будущему, которое еще может быть счастливым. Оно и будет таким, любезная Софи, не могу избавиться от этого предчувствия. Обнимаю тебя, мой ангел. Пиши нам аккуратно».

192. С. Л. Энгельгардт

1833, июнь, середина месяца, Мара

Перевод: «Мы не получали еще писем от тебя, милая Софи, но я уверен, что не по твоей вине. Все же это весьма грустно, и оба мы обеспокоены. Твое письмо было бы нам необходимо даже в том случае, если бы мы были совершенно покойны на твой счет; нам было бы так сладостно услышать твой дружеский голос. Мы добрались целыми и невредимыми до Мары. И мы и дети здоровы. Ничего не прибавляю к этим беглым новостям. Настинька займется подробностями. Мне тебя не хватает, добрый друг, даже в кругу моего семейства, и я с глубокой печалью принужден вспоминать, что одна из моих сестер сейчас далеко от меня. Прощай, милое мое дитя, обнимаю тебя от всего сердца. Пиши нам: будем обманывать разлуку, насколько это возможно. Читая твое письмо, я бы мечтал, что дышу тем же воздухом, что и ты, и наслаждался бы тем, что ты рядом. Это будет отрадно моему сердцу. Прощай. Будь всегда такой, какой я тебя узнал. — Е. Боратынский».

193. С. Л. Энгельгардт

1833, июнь, вторая половина. Мара

Перевод: «Завтра мы получим вести от тебя, милая Софинька. Ожидаю их с великим нетерпением. Не пишу тебе ничего о том, что мы нашли здесь, потому что Настинька уже позаботилась об этом. Скажу лишь, что среди новых людей и новых занятий воспоминание о московских дрязгах утратило свою свежесть. Не обнаруживай сердечных сожалений, но знай, что они законны, за них нельзя упрекнуть нас в мелочности. Я надеюсь вскоре приняться за работу и смогу что-нибудь тебе переслать. Мы живем в доме моего дяди. Маменька велико-душно на это согласилась, но мы обедаем и ужинаем у нее, что несколько неудобно; это меня будет стеснять, в особенности тогда, когда я что-то пишу. Прощай, мой ангел, обнимаю тебя множество раз. Поцелуй за меня Митиньку и напиши, забавляет и развлекает ли он тебя».

194. С. Л. Энгельгардт

1833, июнь, вторая половина. Мара

Перевод: «Только сейчас мы начали получать твои письма, до такой степени эта отвратительная чернская почта неточна. Благодарю тебя, мой милый ангел, за все, что ты нам пишешь. Твоя добрая и нежная душа дышит в каждой строчке. Не упрекай меня за умеренность, с какой я веду себя здесь. Я чувствую ко всему, что происходит, великолепное равнодушие. Перейдена какая-то граница, и отношения, некогда столь тяжкие, сделались в высшей степени простыми. Решившись не горячиться и не говорить ледяным голосом, я не выхожу из себя, с кем бы ни беседовал. Я безупречно вежлив, исполнен дружелюбия, не возвращаюсь к прошлому, словно оно забыто ко всеобщей выгоде. Забавно, что здесь не замечают происшедшей со мной разительной перемены и еще обращаются ко мне с тем притворством, которым так долго меня дурачили. Все же это весьма печально: после тридцати лет нежности и любви найти такой холод в отношениях с теми, кого любил. Я в этом не виноват <зачеркнута 1 строка> — вот что меня утешает. Перестав любить, даже с полным на то правом, всегда чувствуешь, что стал хуже, чем прежде, и сам жалеешь об этом. Где это письмо найдет тебя, милый мой друг? Я бы желал, чтобы ты уже была в Москве, хотя в этом случае ты получишь его позже. Когда ты вернешься в Москву, наша переписка сделается совершенно регулярной. Кстати о Москве — я до сих пор еще не написал К<иреевскому>; предполагаю сделать это в пятницу. Сейчас, когда я об этом думаю, воспоминание о склоках этой зимы, которых я не забыл, просыпается во мне и увеличивает мое негодование. Если я и напишу этому человеку, то для того лишь, чтобы желчно попенять ему за его недоброжелательство к тебе. Благодарю за добрые вести, которые ты сообщаешь мне о Митиньке. Ты не можешь себе представить, как радует меня твоя привязанность к нему. Обнимаю тебя нежно, мой ангел, будь здорова. Даст Бог, зимой мы свидимся, и время здесь пройдет незаметно. Поцелуй за меня Митиньку».

195. С. Л. Энгельгардт

1833, июль — август, *М*ара

Перевод: «Благодарю, любезная Софи, за письма, за все милые слова, которые ты нам говоришь. Я ношу присланный тобою образок, как ты об этом и мечтала. Нелегко дать тебе отчет о той жизни, которую мы ведем в Маре. Это существование монотонное и в то же время беспокойное. Мы на ногах с утра до вечера. Маменьке то лучше, то хуже. Собой я весьма доволен. Сцены, которые когда-то так меня угнетали, уже не настолько волнуют. Вижу, что время от времени полезно рассуждать и что я не утрачу самого себя, выговаривая себе. Мне было очень радостно возобновить нашу дружбу с Сергеем, он славный малый. В его поведении появилась законченность, да и впереди у него еще есть время. Прощай, ангел мой, обнимаю тебя от всего сердца. Очень рад, что Митинька тебя тешит. Поцелуй его за меня».

196. И. В. Киреевскому

1833, август, до 4, Мара

«Что ты делаешь и почему ко мне не пишешь? Неужели в самом деле потому, что не мог затвердить моего адреса? Признайся, что с твоей стороны есть небольшое упрямство, которое ты не оправдаешь никакой диалектикой. Чтоб у тебя не было отговорки, вот мой адрес: Тамбовской губернии, в Кирсанов. Он весьма несложен. Я до сих пор не писал тебе просто от неимоверных жаров нынешнего лета, отнимавших у меня всякую деятельность, умственную и физическую. Я откладывал от почты до почты, и таким образом прошло довольно времени. Я ехал в деревню предполагая найти в ней досуг и беспечность, но ошибся. Я принужден принимать участие в хлопотах хозяйственных: деревня стала вотчиной, а разница между ними необъятна. Всего хуже то, что хозяйственная деятельность сама по себе увлекательна; поневоле весь в нее вдаешься. С тех пор, как я здесь, я еще ни разу не думал о литературе. Оставляю все поэтические планы к осени, после уборки хлеба. Ты что делаешь? Ты хотел усердно работать пером, и у тебя нет моих отговорок. Надеюсь, что ты не даром заручил свое слово мне и Хомякову. Недавно тебя видели у Берже. Это с твоей стороны очень мило. Похож ли твой портрет и скоро ли ты мне пришлешь его? Прощай, мое почтение всем твоим. Ежели увидишь Ширяева, сделай одолжение, скажи ему, что я весьма неисправно получаю корректуру. Лист должен оборотиться в три недели, а он оборачивается в пять. Ежели все так пойдет, то я не напечатаюсь и к будущему году. — Е. Боратынский».

197. И. В. Киреевскому

1833, октябрь, до 27, Мара

«Сердечно благодарю тебя за твой подарок. Я получил твой портрет. Он похож и даже очень; но как все портреты и все переводы — неудовлетворителен. Странно, что живописцы, занимающиеся исключительно портретом, не умеют ловить на лету, во время разговора, настоящей физиономии оригинала и списывают только пациента. Я помню бездушную систему Берже, объясненную мне им самим. По его мнению, портретный живописец не должен давать волю своему воображению, не должен толковать своевольно списываемое лицо, но аккуратно следовать всем материальным линиям и доверить сходство этой точности. Он и здесь был верен своей системе, отчего твой портрет может привести в восхищение всех людей, которые тебя знают не так особенно, как я, а меня оставляет весьма довольным присылкой, но недовольным живописцем. О себе мне тебе почти сказать нечего. Я весь погряз в хозяйственных расчетах. Немудрено: у нас совершенный голод. Для продовольствия крестьян нужно нам купить 2000 четвертей ржи. Это, по нынешним ценам, составляет 40000. Такие обстоятельства могут заставить задуматься. На мне же, как на старшем в семействе, лежат все распорядительные меры. Прощай, усердно кланяюсь всем твоим. — Е. Боратынский».

198. С. Л. Энгельгардт

1833, октябрь, конец месяца — ноябрь, Мара

Перевод: «Твое последнее письмо сильно опечалило меня, милая Софи, и я удручен тем, что тебе не удается теперь спать так же долго, как раньше. Даже то, что у тебя почти прошла тяжесть в желудке, не очень утешает меня, и внезапная перемена беспокоит меня, несмотря на доводы рассудка. Дай-то Бог, чтобы все было хорошо, и мои опасения воплотились бы однажды в безграничное счастие, когда я увижу тебя совершенно здоровой. Не отягощай себя меланхолией, которой исполнены эти строчки. Ты знаешь, как легко я поддаюсь панике. Мне и без того невесело, потому что я должен отказаться от мысли увидеть тебя в скором времени, как надеялся. Настинька расскажет, почему нам приходится отложить возвращение в Москву до времени

после ее родов. Это и тебя немало огорчит, мой милый ангел; но попытайся не печалиться. Три месяца пройдут быстро, и мы снова будем вместе. Скажи, отказался ли папенька от покупки той деревни в окрестностях Москвы, о которой он мне говорил? я отложил это, пока торговался о цене дядиного имения. Я уже давно писал папеньке о том, что мой дядя передумал и больше ничего не продает. Если следовать доводам разума, то мне надо было стараться приобрести это имение; но так как от меня здесь ничто не зависело, эта покупка не состоялась. Я бы очень желал обосноваться поближе к Москве и к вам. Здешняя жизнь не по мне. Тут нет ни общества, ни одиночества, не говоря уже о том, как приходится страдать морально. Прощай, моя добрая Софи, обнимаю тебя от всего сердца. Поцелуй за меня Митиньку. — Е. Б.»

199. И. В. Киреевскому

1833, ноябрь, до 28, Мара

«На днях получил я от Смирдина программу его журнала с пригласительным письмом к участию. Не знаю, удастся ли ему эта спекуляция. Французские писатели не нашим чета; но ничего нет беднее и бледнее Ладвокатова «Cent et un». Все-таки надо помочь ему. Его смелость и деятельность достойны всякого одобрения. Приготовляешь ли ты чего-нибудь для него? Знаешь ли ты, что у тебя есть готовая и прекрасная статья для журнала? Это — теория туалета, которую можно напечатать отрывком. Я о ней вспомнил недавно, читая недавно теорию походки Бальзака. Сравнивая обе статьи, я нашел, что вы имеете большое сходство в обороте ума и даже в слоге, с тою разницею, что перед тобою еще широкое поприще и что ты можешь избегнуть его недостатков. У тебя теперь, что было у него вначале: совестливая изысканность выражений. Он заметил их эффектность, стал менее совестлив и еще более изыскан. Ты останешься совестлив и будешь избегать принужденности. У тебя, как у него, потребность генерализировать понятия, желание указать сочувствие и соответственность каждого предмета и каждого факта с целою системою мира; но он, мне кажется, грешит излишним хвастовством учености, театральным заимствованием цеховых выражений каждой науки. Успех его несколько избаловал. Я не люблю также его слишком общего, слишком легкомысленного сентилизма. Постоянное притязание на глубокомыслие не совсем скрывает его французскую ветреность. Как признаться мыслителю, что он не достиг ни одного убеждения и еще более, не смешно ли хвалиться этим! Ты можешь быть Бальзаком с двумя или тремя мнениями, которые дадут тебе точку опоры, которая ему недостает, с языком более прямым и быстрым, и столько же отчетливым. Прощай, кланяюсь твоим. — Е. Боратынский. — Сделай одолжение: узнай деревенский и городской адрес Пушкина; мне нужно к нему написать. Нарочно для этого распечатываю письмо».

200. И. В. Киреевскому

1833, декабрь, до 22, Мара

«Ты меня печалишь своими дурными вестями. Что твои глаза? Надеюсь, что это письмо застанет тебя зрячим. Мне случалось хвалить уединение, но не то, которое доставляет слепота. Кстати об уединении. Ты возобновляешь вопрос о том, что предпочтительнее: светская жизнь или затворническая? Та и другая необходимы для нашего развития. Нужно получать впечатления, нужно их и резюмировать. Так нужны сон и бдение, пища и пищеварение. Остается определить, в какой доле одно будет к другому. Это зависит от темперамента каждого. Что касается до меня, то я скажу об обществе то, что Фамусов говорит об обедах:

Ешь три часа, а в три дни не сварится.

Ты принадлежишь новому поколению, которое жаждет волнений, я — старому, которое молило бога от них избавить. Ты назовешь счастием пламенную деятельность; меня она пугает,

и я охотнее вижу счастие в покое. Каждый из нас почерпнул сии мнения в своем веке. Но это — не только мнения, это — чувства. Органы наши образовались соответственно понятиям, которыми питался наш ум. Ежели бы теоретически каждый из нас принял систему другого, мы все бы не переменились существенно. Потребности наших душ остались бы те же. Под уединением я не разумею одиночества; я воображаю

Приют, от светских посещений Надежной дверью запертой. Но с благодарною душой Открытый дружеству и девам вдохновений.

Таковой я себе устрою рано или поздно и надеюсь, что ты меня в нем посетишь. Обнимаю тебя. — Е. Боратынский».

201. С. А. Боратынскому и С. М. Боратынской

1834...1843

«Что вам сказать, милые друзья мои Сергей и Соничка? Верьте, что мне очень без вас грустно; но меня утешает будущее, которое сулит мне частые свидания. Будьте здоровы и помните старого друга. Е. Боратынский».

202. И. В. Киреевскому

1834, февраль (?). Мара

«Виноват, что так давно тебе не писал, милый Киреевский. Этому причиною, во-первых, головные боли, к которым я склонен, и посетившие меня как нарочно два почтовых дня сряду; потом, я живу среди таких забот и нахожусь под влиянием таких впечатлений (я слегка говорил тебе, в каком бедственном положении здоровье моей матери), что не всегда в силах приняться за перо. Мне ли тебе задавать темы для литературных статей? Я давно выпустил из виду общие вопросы для исключительного существования. Но не задать ли тебе, например, тот самый предмет, о котором я говорю: жизнь общественная и жизнь индивидуальная. Сколько человек по законам известной совести должен уделить первой и может дать последней? Законны ли одинокие потребности? Какие отношения и перевес (balance) наружной и внутренней жизни в государствах наипаче просвещенных, и что в России? Я бы желал видеть сии вопросы обдуманными и решенными тобою. Мне нужно твое пособие в сношениях моих с Ширяевым. Вот уже два месяца, как я не получаю корректуры. Я предполагаю, что для скорости он решился печатать по моей рукописи, не заботясь о том, что я могу сделать несколько поправок. На всякий случай посылаю тебе давно мною исправленную «Эду» и «Пиры», но теперь только приготовленные к отсылке. Доказательство той моральной лени, которою я одержим с некоторого времени. Посылаю тебе также предисловие в стихах к новому изданию и заглавный лист с музыкальным эпиграфом. Я желаю, чтобы Ширяев согласился на гравировку или литографировку этого листа. Он может мне сделать это снисхождение за лишнюю пьесу, которую я ему посылаю. Обнимаю тебя и кланяюсь всем твоим. — Е. Боратынский. — Надеюсь, что маменька и брат теперь здоровы. У нас тоже всю зиму были жестокие поветрия, и все мы один за другим перехворали».

203. Д. В. Давыдову

1834, февраль, 16, Пенза

«Вы переписываетесь с Языковым; поклонитесь ему от меня. Дай Бог здоровья ему и его музе. Он поэт в душе. У нас не умеют его ценить; но когда гнилая наша поэзия еще будет гнилее и будет пахнуть мертвечиной, мы почувствуем все достоинство его бессмертной свежести».

204. Маменьке

1834, апрель, до 23, Москва

Перевод: «Поздравляю вас с днем ваших именин, любезная маменька, сердце мое полно самых нежных пожеланий. Сегодня — первый погожий день за весь апрель: он предвещает весну. Московская жизнь так однообразна, так глупа, что удовольствия можно получить только от безоблачных небес. Свет все тот же, все так надоели друг другу, что при встречах зевают. Новых книг нет. Словесность во всех странах сейчас истощена. Развлечение доставляют нам только свадьбы. Одна совершилась в нашем доме. Графиня Платова, внучка славного генерала, вчера обвенчалась с князем Голицыным. Все последнее время у нас было множество хлопот с учителями для детей, гувернерами и гувернантками. Все сменились. Вы не представляете, как трудно подыскать приличных учителей. Вообразите, что с той поры, как мы держим иностранцев и иностранок, мы еще не нанимали ни одного, кто умел бы заточить перо — я не шучу. Прощайте, любезная и милая маменька, от всего сердца целую ваши ручки. — Е. Боратынский».

205. Е. Ф. Кривцовой

1834, май (?), Москва

Перевод: «Тысяча благодарностей, сударыня, за вашу безмерную доброту, доказательства коей вы явили нам известив о своей жизни. Кажется, уединение в Любичах более оживлено, нежели в столичном граде Москве. Вот уже два месяца, как фортуна отвернулась от нас: ни единой, даже самой крохотной сплетни, никаких, даже невинных скандалов. По видимости, небеса пекутся о вас, а нас забыли. На сем молю Господа Вседержителя, дабы он производил вокруг вас как можно более бурное кипение страстей, дабы вы по возвращении в Москву поведали нам о них с присущим вам изяществом, кое нам так хорошо известно. Искренне полагаюсь на вашу дружбу. — Е. Боратынский. — Жена и сестра кланяются вам с лучшими воспоминаниями».

206. С. Л. Энгельгардт

1834, ноябрь, начало месяца, Мара или Казань

«Вот тебе, моя душенька, корректура. Похлопочи обо мне. По будущей почте пришлю тебе послание к Вяземскому и эпиграмму. Совсем позабыл о моем обещании за хозяйственными хлопотами. Вот тебе еще поручение. В 4-й главе Наложницы я было уничтожил последнюю тираду со стиха: Елецкой, проводив гостей. Я ее возобновляю и пишу об этом в типографию, но боюсь, что меня не поймут. Прежде нежели мне пошлешь корректуру, взгляни на нее и, ежели мое желание не исполнено, отошли назад и вели им растолковать, в чем дело. Прощай, обнимаю тебя. Скажи, как тебе покажутся мои переправки».

207. С. А. Соболевскому

1835, май-июнь, начало месяца, Москва

«Не можешь себе представить, как мне досадно, что до сих пор тебя не видел. На авось приехал к тебе, хотя не совсем надеялся тебя застать дома. Завтра поутру опять буду и мы условимся, надеюсь, в частых свиданиях. Я рад тебе со всем чувством старой дружбы. Мои тебе кланяются. До завтра. — Е. Боратынский».

208. М. П. Погодину

1835, май, 4. Москва

«К крайнему моему сожалению, почтенный Михаиле Петрович, должен я изменить данному слову и лишиться великого удовольствия быть у вас. Знаю, что я пропускаю случай познакомиться с новым произведением нашего веселого и глубокого Гоголя, и несказанно сетую на встретившееся препятствие. Препровождаю вам ответ Д. В. Давыдова, который не менее меня сожалеет о невозможности сегодня воспользоваться вашим приглашением. — Е. Боратынский».

209. Маменьке

1835, июнь-август, Москва или Мураново

Перевод: «Последний месяц я провел в больших волнениях, любезная маменька. Сначала разболелась Сашинька, и нам пришлось перебраться в Москву. Едва мы вернулись в Мураново, заболел Левушка, и притом преопасно — мы снова возвратились в город, и там долго тревожились за его жизнь. Слава Богу, нынче он поправляется, хотя еще очень слаб. У него было ни больше, ни меньше, как воспаление легких. Сейчас я занят необходимыми починками в доме, который купил. Обходится это довольно дорого, но все же мне больше повезло, чем многим из тех, кто совершает такие покупки. Я переделываю только мелочи. Правительство приказало проложить от Москвы до Ярославля дорогу: она пройдет через принадлежащую нам деревню в Переяславском округе. Работы должны кончиться в два года. Это удвоит наши доходы и, главное, облегчит мне доставку в Москву великого строевого леса, какого в моем владении 150 арпанов. Прощайте, любезная маменька, целую ваши ручки, равно как жена моя и ваши внуки».

210. С. А. Соболевскому

1835, июнь, 8 (?), Москва

«9-го июня день моей свадьбы, и к этому числу вероятно приедет мой тесть, следовательно нам завтра т. е. сегодня должно отправляться в Мураново. Приезжай завтра, т. е. воскресенье в 2 часа к нам обедать. Потом поедем вместе в Мураново. Мы там проведем вечер понедельника и во вторник после обеда отправимся в Москву. У меня есть для тебя место pour aller et retour sur <туда и обратно наверняка>. Стриневской едет с нами. — Е. Боратынской. — 9-го июня день принадлежащий тебе: нельзя отказаться».

211. С. А. Соболевскому

1835, июнь, 13 (?), Москва

«Хочешь ли завтра ехать к Свербеевым? Пятница их приемный день. Если ты свободен, скажи: да, и я к ним напишу, что мы будем. Каков ты после нашего путешествия? Ты человек аккуратный, прошу об ответе завтра в 10 часов по полуночи. — Четверг. — Боратынский».

212. С. А. Боратынскому и его жене

1835, ноябрь, конец месяца, Москва

«Настя родила благополучно, а у меня еще сын, который по желанию его киевской прабабушки назван Николаем. Уведомляю вас об этом, милые мои Сергей и Соничка. Жена моя хоть не так бодра, как бывало, но не страдает ничем особенным. Зная, как вы ее любите, спешу с вами поделиться доброй вестью и вас успокоить. — Е. Боратынский».

213. Жене

1836, июнь, около 9, Москва

Перевод: «Я отыскал и бумажник, так что будь спокойна. Чувствую себя хорошо, но слегка пьян. Мы только и говорим о тебе с Стриневским. Он говорит мне вещи, которые привязывают меня к нему все более и более. Он нам брат. Я позволил ему самому к тебе писать, а сам обнимаю тебя так же нежно, мой ангел, как в первый день женитьбы. Впрочем, вздор: я тебя люблю теперь несравненно больше, но невозможно это изъяснить. Знаешь ли, десять лет со дня свадьбы — это событие торжественное! Это договор, который я продлеваю еще на десять лет? Это закон законов. Прощай, мой милый друг, мое дорогое дитя. Не пеняй на дурачество моего письма. Несмотря на прекрасное настроение, я немного грустен оттого, что тебя нет рядом со мною. Храни тебя Господь».

214. А. И. Тургеневу

1836, ноябрь, 10 или 11, Москва

«Возражение мое далеко не приведено в порядок, а теперь, посреди разных положительных забот, вы можете себе представить, как мне трудно за него приняться. При первом досуге приложу к нему последнюю руку и попрошу вас доставить его князю Вяземскому».

215. П. А. Вяземскому

1837, февраль, 5, Москва

«Пишу к вам под громовым впечатлением, произведенным во мне и не во мне одном ужасною вестью о погибели Пушкина. Как русский, как товарищ, как семьянин скорблю и негодую. Мы лишились таланта первостепенного, может быть, еще не достигшего своего полного развития, который совершил бы непредвиденное, если б разрешились сети, расставленные ему обстоятельствами, если б в последней, отчаянной его схватке с ними судьба преклонила весы свои в его пользу. Не могу выразить, что я чувствую; знаю только, что я потрясен глубоко и со слезами, ропотом, недоумением беспрестанно себя спрашиваю: зачем это так, а не иначе? Естественно ли, чтобы великий человек, в зрелых летах, погиб на поединке, как неосторожный мальчик? Сколько тут вины его собственной, чужой, несчастного предопределения? В какой внезапной неблагосклонности к возникающему голосу России Провидение отвело око свое от поэта, давно составлявшего ее славу и еще бывшего (что бы ни говорили злоба и зависть) ее великою надеждой? Я навестил отца < Сергея Львовича > в ту самую минуту, как его уведомили о страшном происшествии. Он, как безумный, долго не хотел верить. Наконец на общие весьма неубедительные увещания сказал: «Мне остается одно: молить Бога не отнять у меня памяти, чтоб я его не забыл». Это было произнесено с раздирающею ласковостию. — Есть люди в Москве, узнавшие об общественном бедствии с отвратительным равнодушием, но участвующее пораженное большинство скоро принудит их к пристойному лицемерию. — Если до сих пор не отвечал на письмо ваше, тому виною обстоятельства, может быть, вам уже известные. Я лишился моего тестя, и смерть его передала мне много забот положительных. Сверх того, хотелось к письму моему приложить что-нибудь для вашего литературного сборника, ждал минуты досуга и вдохновения, но по сию пору напрасно. — E. Боратынский. — Φ евраля 5-го 1837».

216. П. А. Вяземскому

1837, март (?), Москва

«Препровождаю вам дань мою «Современнику». Известие о смерти Пушкина застало меня на последних строфах этого стихотворения. Всякий работает по-своему. Лирическую пьесу я с первого приема всегда набрасываю более чем с небрежностию; стихами иногда без меры, иногда без рифмы, думая об одном ее ходе, и потом уже принимаюсь за отделку подробностей. Брошенную на бумагу, но далеко не написанную, я надолго оставил мою элегию. Многим в ней я теперь недоволен, но решаюсь быть к самому себе снисходительным, тем более что небрежности, мною оставленные, кажется, угодны судьбе. Препоручаю себя вашей дружеской памяти. — Е. Боратынский».

217. Жене

1837, май, 11, Подольск

Перевод: «Пишу тебе из Подольска, где нашел почтовых лошадей, и меня уверяют, что в них не будет недостатка и впредь. Я совершенно разбит от усталости. Три часа кормили лошадей, и это единственное время, когда я спал. Теперь 6 утра. Целую тебя, любезная моя жена. Да благословит, да хранит тебя Господь и да продлит Он твою любовь ко мне. Поцелуй детей».

218. Жене

1837, май, 11, Тула

«Милый дружок мой Настя, нечего тебе говорить, как мне тяжело было с тобою расстаться и что грустного и нежного я об тебе передумал. Пишу тебе из Тулы где сегодня, вторник, я обедал. Завтра часам к 10 утра надеюсь быть в Скуратове. Еду, как видишь, довольно скоро. Погода прекрасная, в поле прелестно, и если б ты была со мною, мой путь был бы восхитительной прогулкой. Целую тебя мою милую, будь здорова и жди меня терпеливо. Поцелуй за меня всех наших деток. Слава Богу, я здоров. За магнезию твою еще не принимался. Люди мои все исправны. Скажи Соничке, что Степка не забыл на самой первой станции, как только я после обеда проснулся, явиться ко мне с апельсином. Как мне не было грустно, он заставил меня рассмеяться. Обнимаю Соничку. Лошади мои уже готовы, и только что запечатаю это письмо, пущусь далее. Спешу туда, чтобы скорее быть оттуда. Если Бог даст, по моему расчету в воскресенье мне должно быть в Маре. — Е. Боратынский».

219. Жене

1837, май, 12 или 13, Скуратово Тульской губ.

Перевод: «Пишу я тебе в минуту отъезда из Скуратова, претерпев болтовню Ивана и объятия Феклы. Благодаря Бога я нашел все в порядке и не имел жалоб от крестьян. Обнимаю тебя, моя Попинька. Я отправил две подставы, так что сделаю сто верст за день».

220. Жене

1837, май, 15, Тамбов

«Вот я и в Тамбове, душенька моя Настя. На своих подставных доехал в один день до Ефремова, а тут нашел почтовых. Пишу тебе в субботу вечером, пока перепрягают лошадей.

Спешу по прохладе переехать пески. Дни стоят нестерпимо жаркие. Послал за Чичериным и как с ним повидаюсь, так и поеду. Слава Богу здоров. Обнимаю тебя, детей и Соничку. Завтра, Бог даст, найду от тебя в Маре письмо. Это меня туда тянет. Только и думаю что о возвратном моем пути. — Е. Боратынский. — Сейчас воротили мне мою записку к Чичерину. Его нет в Тамбове».

221. Жене

1837, май, до 28, Мара

Перевод: «Только что вернулся я из Любичей, ужасно устал. Пишу только, чтобы не оставлять тебя без письма. Получил я твое письмо, моя душинька, и письма от наших дорогих малышей. Передай им, что я их нежно целую. Я думал им ответить, но недосуг. Да благословит тебя Господь. Надеюсь, скоро уже увидимся. Е. Боратынский».

222. Жене

1837, июнь, до 15, на пути между Тамбовом и Москвой

Перевод: «Случилось то, что я предвидел: у смотрителя нет лошадей, и я вынужден ехать на своих. Лошадей не нашли даже за двойные прогоны. Записку шлю с нарочным (с оказией?). Сейчас три часа ночи, и я с ног валюсь от желания спать. Целую тебя, моя Попинька, и детей тоже, а сам сажусь в коляску».

223. Маменьке

1837, июнь, 20-е числа. Петровское

Перевод: «Я счастливо закончил свое путешествие, любезная маменька, и вот уже четыре дня как живу в Петровском. Мне было очень отрадно повидать вас и как жалко, что я не смог пробыть у вас дольше. Но я очень надеюсь на следующее лето. Все свое семейство я нашел, слава Богу, в добром здравии. Жизнь в Петровском восхитительна. Старшие мои познакомились с детьми их возраста, и по возвращении я нашел их вращающимися в свете. Оттого что город близко, учителей найти легко, и занятия идут своим чередом. Целую нежно ваши ручки, любезная маменька, и прошу вашего благословения для себя и для ваших внуков».

224. Н. В. Чичерину

1837 ... 1838 г.

«Любезный друг Николай Васильевич. — Мой вяжлинский управитель получил приказ мой уплатить тебе должные мною 2000 р., уже отославши прямо ко мне все находящиеся у него суммы. Сделай одолжение, пришли мою росписку в Москву хоть Иван Михайловичу, хоть Кривцову. Я в деньгах и тотчас выдам мой долг подателю, останется благодарность за одолжение. За тобой моих денег 100 р. с чем то, выданных мною Кичееву по распоряжению Стриневского. Пусть они заменят нарост облигаций и весовые. Не так ли? Обнимаю тебя крепко, свидетельствуя мое почтение Катерине Борисовне. — Е. Боратынский».

225. Н. И. Кривцову

1837, июль, до 10, Петровское

Перевод: «Не было никакой возможности отвечать вам в минуту моего отъезда из Мары, особенно потому, что ваше мнение подкрепляло мои собственные догадки и усиливало мое поначалу безотчетное волнение. Приехав же сюда, я был в ужасной тревоге, что не получал

никаких известий из Мары целых две почты. Наконец тревогу рассеяло письмо Софи, и я чувствую себя в силах к вам писать, чтобы сердечно поблагодарить вас за ваше искреннее и дружеское внимание к моему брату. Позвольте сказать вам, что он того заслуживает своим глубоким уважением и пылкой привязанностью к вам — той вдохновенной привязанностью, на которую способны только немногие молодые люди нашего времени и которую вы умеете ценить так высоко. Софи глубоко тронута вашими заботами о ее муже. Чичерин, явившийся по вашему приглашению, развлек его. Вы стараетесь отправить его к нам. Надеюсь на успех ваших усилий. К вашему голосу он прислушивается более, чем к чьему-либо другому. Впрочем, по моим понятиям, самый опасный момент уже миновал. Меланхолическое неистовство имеет свою критическую точку и не может длиться долго, оно непременно сменяется упадком сил. Конечно, когда я говорю все это себе в утешение, тревога не покидает меня. Вы находитесь поблизости и можете наблюдать развитие этого злосчастного недуга, вы не оставите моего брата и будете по-прежнему окружать его своими заботами. Благоволите передать мои поклоны вашей жене и дочери и примите уверения в моей искренней преданности. — Е. Боратынский».

226. Н. В. Путяте

1838, февраль, 10 — 20-е числа, *Москва*

«На место Макарова предлагает себя к нам в управители бывший уже у нас правителем Дьяков. Посылаю тебе письмо тестя, в котором он его благодарит за управление. Сверх того писарь при мне, человек, управлявший нашим тамошним имением в то время, как Дьяков правил остальною частью, которого я о нем расспрашивал, он говорит, что Дьяков отменно знает дело, всегда трезв и деятелен, одним словом, лучший из управителей, когда-либо у нас бывших. Я полагаю это обстоятельство очень счастливым, ибо очень трудно найти управителя (не говорю уже честного, ибо таких нет и всякий требует присмотра), но деятельного и знающего. При сих двух последних условиях, если управитель еще знает край и способ <?> имения, поступающего под его надзор, по-моему, нечего и думать; почему для имения, находящегося под опекою, и для своего я решаюсь на Дьякова. Если ты поверишь и свое имение ему, я не думаю, чтобы ты сделал ошибки; но как все должно предвидеть, если у тебя есть в виду сколько-нибудь знающий человек, то теперь удобный случай, не обижая никого, отделить управление имением Сонички от общего, что имеет многие выгоды: удобность ближе присматривать соревнование с соседним управителем, контроль и строжайшая проверка. — Завтра пошлю вам 1000 из скуратовских доходов. На первой неделе поста заплатит Чивалев, и я отправлю вам следуемые вам 6000 и 2000 долгу нашего Соничке. К святой окончательный отчет и расчет вместе с суммами, следующими на вашу долю. — Обнимаю вас, мои милые, будьте здоровы. Пришлите мне куплеты Вяземского, петые на празднике, данном Крылову. — Е. Боратынский».

227. Маменьке

1838, май-июнь, Москва

Перевод: «Пишу вам из Москвы, любезная маменька, где я занят исключительно своим строительством. Я стараюсь, чтобы оно шло как можно живее, ибо надобно скорее все окончить. Нигде так не нужен хозяйский глаз, а осенью я намереваюсь отлучиться довольно надолго. Я хочу повидать чужие края. Собираюсь проехаться по Германии, остановиться в Мюнхене — этих нынешних немецких Афинах, где живут Шеллинг, Гейне, Мендель и почти все знаменитые мыслители нашего времени, после же отправлюсь в Италию — главную цель моей поездки. Мне тяжело расставаться с семьей, но это путешествие — нравственный долг перед самим собой, ибо настанет, может быть, эпоха, когда я упрекну себя в том, что не сделал этого вовремя. 1 сентября надеюсь сесть в дилижанс. Отправлюсь я по главной европейской дороге через

Ливонию и Курляндию, но возвращаться буду через Киев и, если на то будет Божья воля, приеду повидать вас, любезная маменька, со всеми причудами, свойственными путешественникам. Нежно целую вашу ручку. — Е. Боратынский».

228. Маменьке

1838, июнь-июль (?), Москва

Перевод: «Как я благодарен вам, любезная маменька, за ваше исполненное доброты письмо. Оно родило во мне самые теплые чувства, и сердце мое преисполнилось неизъяснимой благодарности. Отчего вы просите прощения за то, что редко пишете? Разве могу я подумать о том, что вы меня забыли, и разве не должен я неизменно надеяться, что ваше молчание вовсе не означает, что я обойден вашей любовью и заботой? Натали, кажется довольна жизнью в Москве, а я очень счастлив, что могу доставить ей приятные развлечения. Она нашла здесь старых друзей и завязала новые знакомства. Ее присутствие оживляет нашу повседневную жизнь, и если жизнь эта подчас ей приносит некоторые развлечения, то этим она обязана не столько нам, сколько себе самой. На днях у нас состоялось чтение. Павлов прочел нам только что законченный им рассказ, исполненный истинного таланта. Вечер закончился оживленнейшим литературным спором. Я все еще озабочен своими перестройками, чрезвычайно меня утомившими. Я совершил несколько оплошностей, к счастью, однако, не слишком важных, и успел их исправить. Целую ваши ручки, любезнейшая маменька, и прошу вашего благословения для себя и ваших внуков. — Е. Боратынский

229. Н. В. Путяте

1838, август, Москва

«Чивалев еще не заплатил; но заплатит скоро. Замедление происходит от того, что, не имея наличных денег, он должен перезаложить дом, а как и нам нельзя рисковать довольно большою суммой, то дело делается установленным порядком через гражданскую палату, которая все не кончает всех справок. Посылая вам в счет чивалевских денег 2000 асе., между тем должен предупредить, что доходы наши нынешний год примерно плохие. Скуратово даст не более 6000, из коих почти 2000 следует в Опекунский совет. С Каймар дай Бог, чтобы посчастливилось нам по 2000 т. Жду ответа от Дьякова. Если он примет мои условия, состоящие в 1600 жалованья, из коего на вашу часть придется 400, то на нынешний год мы можем быть совершенно спокойны. Узнав, что ты собираешься в Казань, я думал было с тобою ехать; но не могу: присутствие мое нужно в Москве для конечной отстройки дома. Я надеюсь, что мы будем довольны Дьяковым; если же нет, то в ту пору и примем нужные меры, которые между тем и успеем обдумать. По всем вероятностям, не в первые два года он предастся беспечности или собственным расчетам. Обнимаю тебя от всей души. — Е. Боратынский».

230. Маменьке

1838, сентябрь, до 24, Москва

Перевод: «Вы уже знаете, дорогая маменька, о нашем горе: мы потеряли малышку Софи. Я уже давно разуверился в ее выздоровлении, но жена моя все не могла расстаться с надеждой, и в роковую минуту еще питала иллюзии. Оба мы много выстрадали. Теперь, слава Богу, несколько успокоились. Все лето провел я в волнениях, связанных с перестройками. Наконец, живу в собственном доме, но это стоило мне столько сил, что я дал себе слово больше ни за что подобное не браться. Вы не можете себе представить, что значит — иметь дело с московскими рабочими и до какой степени доходят их жульничество и наглость. Я очень устал и думаю, если бы мне предстояло благоустроить еще один дом, я заболел бы. Город нынче почти совсем пуст,

и мы не видим никого, или почти никого. Это время отдыха, коим я наслаждаюсь. Прощайте, любезная и милая маменька, целую ваши ручки от всего сердца. — Е. Боратынский».

231. Маменьке

1838, ноябрь, 20-е числа, Москва

Перевод: «Мы были очень огорчены, узнав о несчастии в Козловке, любезная маменька. Ираклий только что уехал в Калугу, и эти дурные вести узнал, видимо, в одиночестве — в добавление к хлопотам по рекрутскому набору. Потеря велика сама по себе, да к тому же приводит в уныние. Аннета уехала по первому снегу к мужу. Император пробыл здесь три дня, представляя публике прекрасного жениха своей дочери. Имя его отца < Евгений де Богарне, пасынок Наполеона> напоминает о великой истории и о другом имени <Наполеон>, которое невольно приходит на уста буквально всем, так что одно известное лицо сочло своим долгом резюмировать: «Кто что ни говори, а это великий человек». Москва нынче просто несносна. Почти не осталось приличных домов. Смерть старой Пашковой лишила нас единственного дома, гостеприимного на старинный лад, где принимали всех, старых и молодых, в каком-либо роде замечательных персон, не исключая даже и тех добрых людей, которые более всего любят посидеть за партией в вист. Теперь город разделился на маленькие кружки, а точнее, все наносят друг другу частные визиты, не оставляющие в душе ничего, кроме усталости и возвышенного сознания исполненного долга. У нас много хлопот с иностранцами и иностранками, которых приходится добывать для детей. Настинька вот уже три месяца выбивается из сил, а все равно нашли пока не всех. Еще нет англичанки. Дети, слава Богу, здоровы и целуют ваши ручки, любезная маменька, равно как и я. Поздравляю любезную тетеньку с днем ее ангела».

232. Н. В. Путяте

1838, декабрь, середина месяца (?), Москва

«Посылаю тебе, милый Путята, отчеты в дворянскую опеку, которые должно подписать Соничке. Под подписью моей жены одинаким образом с нею. Соничка нам говорит, что ты все собираешься к нам писать и, не успевая, совестишься. Полно, брат, заботиться об этом. Самая дружеская переписка есть деловая. Кстати о деле. Поскорее пришли мне обратно бумаги, подписанные Соничкой. Они должны быть поданы не позже 4-го января. В будущем году я буду их заготовлять пораньше. Прощай, обнимаю тебя как друг и брат. Поцелуй за меня Соничку. — Е. Боратынский. — Р. S. Прошу полюбоваться моим трудолюбием и заметить, что все отчеты в опеку писаны моей рукой. Соничкины пять подписей, два раза в книге, под рапортом, и в двух местах под кратким счетом».

233. Н. В. Путяте

1839, февраль, 20-е числа — март (?), Москва

«Вероятно, тебя, как и Соничку, удивило намерение наше ехать в Крым. Это давнишнее наше желание, к тому же морские ванны жене и мне необходимы. Если мы для чего-нибудь едем, то это для здоровья. Наше путешествие делает необходимым разные перемены в общем нашем хозяйстве, и я прошу тебя, любезный друг, принять в свое распоряжение имение, находящееся под опекою. Ты намерен был ехать нынешний год в Казань. Если б в конце апреля или начале мая вы бы собрались, то мы май месяц провели бы вместе в Москве, кроме дней десяти, которые ты бы провел в Казани, и во всем бы условились. — Насчет Скуратова, которое также будет под твоим надзором: Иван нашел на свое место управителя, грамотного унтерофицера. Я перевожу его в Мураново, с тем, чтобы он имел право ревизировать им же самим выбранного управляющего и в случае каких-либо дел ездил на место их схлопотывать.

Управителю жалованья 300 и весьма умеренное содержание. — Напиши, будешь ли ты в Москве или нет. Очень бы нужно мне было с тобою видеться (говорю теперь в одном деловом смысле). Надо сдать мне тебе все бумаги. На словах все бы пошло легко, а письменно объяснить почти невозможно. Если мы не увидимся, я пришлю тебе доверенность полную от жены и на Каймары и на Скуратове. Бумаги приведу в порядок и пришлю тебе. Самое трудное — отношение с опекой. Думаю ввести в смысл их быта твоего Ивана Васильевича, который в затруднительных случаях может о нас похлопотать. Обнимаю тебя, Соничку и Настю, ожидая с нетерпением твоего ответа. — Е. Боратынский. — Доставь, сделай одолжение, прилагаемое письмо Плетневу».

234. П. А. Плетневу

1839, февраль, 20-е числа — март (?), Москва

«Милый мой, всегда по-старому милый Плетнев! Родственница моя Путята пишет мне, что ты на меня сердишься. Спасибо тебе за это. Кто сердится, тот помнит, а может быть, любит. Пьеса, напечатанная в «Отечественных Записках», была у меня вырвана из-под пера братом моим Сергеем, с которым ты, может быть, и познакомился, потому что он теперь в Петербурге, — оттого-то она и несколько слаба слогом. Давно, давно нет между нами никаких сношений; зато давно, давно я не пишу стихов, и мной оставлен тот мир, в котором некогда мы сошлись и сблизились. Можешь ли ты думать, что прошедшее мною забыто? Что бы после этого помнить! Но судьба, в молодости удалившая меня от людей, от их обычаев, от условий светской жизни, наградившая меня друзьями такими, как ты, неопытного, давно обманутого, бросила потом и в свет, и в мелочи обыкновенной жизни. Мужем мне нужно было учиться тому, чему учатся дети, понимать отношения, приобретать привычки, угадывать то, что другие твердо знают. Эти последние десять лет существования, на первый взгляд не имеющего никакой особенности, были мне тяжелее всех годов моего финляндского заточения. Я утомился, впал в хандру. Не тебя я поставил в уровень с людьми, которых узнал после; но при новых впечатлениях, которых постепенность и связь тебе неизвестна, при этой долгой и сложной повести, которая меня так глубоко изменила, с чего начать? Как передать себя дружбе давних лет, а не хочется посылать холодные и неполные строки. Не по этой ли причине старики молчаливы? Вся эта болтовня значит в крайнем выводе: ты, дружба твоя, память прошедшего мне драгоценны, а если в какуюлибо минуту тебе показалось иначе, тебя обманывала наружность. — Посылаю тебе несколько небольших пьес, набросанных мною на прошедшей неделе. — Я теперь в суетах, происходящих от приготовлений к большому путешествию. Я еду с семейством на южный берег Крыма, где проведу около полутора года. Хочется солнца и досуга, ничем не прерываемого уединения и тишины, если возможно, беспредельной. Думаю опять приняться за перо, и, если все, что скопилось у меня в уме и легло на сердце, найдет себе исход и выражение, надеюсь быть добрым слугою «Современника». — Прощай. Нежно тебя обнимаю. Сохрани мне старую твою дружбу. — Е. Боратынский».

235. Маменьке

1839, август, после 28 — сентябрь, начало месяца, Мураново (?)

Перевод: «Сообщаю вам, любезная маменька, о благополучном разрешении моей жены. У нас еще одна дочь. Ее будут звать Зинаида, и она, кажется, не будет дурнушкой. Настинька постепенно оправляется, хотя и медленнее, чем прежде. Теперь, после родов, мы можем наконец решить, когда отправимся в путешествие. Осенью мы собираемся ехать в Одессу. Частые роды расстроили нервы жены, и все советуют ей морские ванны. Климат юга должен пойти на пользу и детям, которые часто простужаются, а в Одессе есть все возможности найти им учителей. — Очень хотелось бы, любезная маменька, чтобы вы позволили и Натали поехать с нами. Ее

недомогания, как говорят врачи, могут быть окончательно излечены только морскими купаниями. Мы хотим провести зиму в Одессе, весной посетить южный берег Крыма, а в начале осени надеемся, что будем иметь счастье повидать вас в Маре. Путешествие это радует мое воображение, которое давно уже переселилось на юг и старается угадать его очертания. Древнее побережье соединяет в себе, как говорят, красоты Швейцарии и Италии. Я случайно нашел в библиотеке тестя превосходное сочинение Сестренцевича о древностях Тавриды. Оно будет служить нам путеводителем в наших экскурсиях. Прощайте, любезная маменька, прошу вашего благословения для новорожденной и для всех старших, включая жену мою и меня самого. — Е. Боратынский. — Настинька не пишет вам сама, ибо еще очень слаба».

236. Маменьке

1839, сентябрь, вторая половина — октябрь (?), Москва Перевод: «Мы только что вернулись в город, любезная маменька; оттого что погода стоит до сих пор хорошая, здесь еще довольно пустынно. Однако нам предстоит много визитов. Время, проведенное в деревне, было неплохо использовано детьми. Наконец нам удалось найти англичанку, которая не говорит решительно ни на каком языке, кроме родного. Сейчас все дети болтают между собой по-английски, а Сашинька уже читает для собственного удовольствия то, что ей понятно. Среди новостей, занимающих все умы в Москве, есть одна, которая может вас заинтересовать. Один из Федоровых, товарищ нашего детства, женится на девице Новосильцевой, прелестной особе 17 лет с тремя тысячами душ, домом, бриллиантами и огромным капиталом. Партия столь блестящая, что известие о ней вызвало почти у всех завистливое возмущение. Когда будущая теща представляла жениха своей дочери в разных знакомых семьях, ему приходилось выслушивать комплименты по поводу его удачи, которые звучали столь вызывающе, что госпоже Новосильцевой пришлось даже порвать с одним семейством, где намерение оскорбить было слишком очевидно. Прощайте, любезная маменька, нежно целую ваши ручки. — Е. Боратынский».

237. Н. В. Путяте

1839, ноябрь-декабрь (?), Москва

«Посылаю для подписания Сонички опекунские отчеты, которые нынешний год стоили двойного труда от перевода ассигнаций на серебро. Возвратите мне их как можно скорее. Что ты мне пишешь о расчетах опеки по деньгам, полученным из Монахова? Нам должно на будущий год показать <?> их в приходе, да и только. Нам из них следует 2/7. Остальное Пьеру. Считай покуда, что я вам должен из скуратовских доходов 200. — 800 ты получил. На будущий год, когда Пьер не будет жить у Саблера, а так сказать, своим домом, с отчетами легко будет ладить. — Бекера я не думал посылать для заведения нового порядка, а только поверить, точно ли почти весь каймарский овес жат в прозелень и не годится ни на пищу, ни в продажу; взглянуть на мельницы и оценить их перестройку. Вообще разведать, что там делается и какой оброк расположены дать крестьяне, но это стороной и без всяких от меня предложений. С тех пор я еще много думал. Не решусь ни на что опрометчиво и не приняв предварительно твоего совета. Дела мудреные. Примерь 10 раз, а отрежь раз. Я писал Дьякову подробно обо всем, чем не доволен. Покуда что надеюсь, что внимание, которое я обращаю на хозяйство, сделает его осторожным. — Соничке надобно подписаться в обеих тетрадях. В той, которая за печатью в одном месте, в конце, под подписью Насти. В другой — в двух местах: под итогом < нрзб. 1 слово> и итогом хлебным; то же под Настей и точно так же, как она».

238. Маменьке

1839, декабрь, до 18 (?), Москва

Перевод: «Тысяча благодарностей, любезная и милая маменька, за труды, кои вы совершили, торгуясь за меня, и с таким успехом. Я последовал вашим советам буквально и перевел ваши строки слово в слово, когда сочинял официальный ответ добрейшему Лапату. Как счастлив я знать, что вы погружены в приятные заботы: я имею в виду изящно обставленные комнаты и новую мебель. Очень хотелось бы, чтобы и вы могли бросить взгляд на наше теперешнее жилище. Оно на втором зтаже, комнаты небольшие, но обставлены элегантно благодаря хорошо подобранной мебели. Это был начальный пункт моей спекуляции. Я сказал себе: у нас никто не понимает, как разорительна жизнь на широкую ногу, которой требует нынешняя мода. За границей роскошество в меблировке доступно теперь большинству, у нас же — немногим счастливцам и является только источником разорения. Сообразив это, я сдаю внаем мой первый этаж тщеславцам, благодаря чему добавляю кое-что к обстановке своего жилища каждый день, ибо их деньги дают мне такую возможность. В Москве уже нашлись люди, последовавшие моему примеру после посещения нашего уголка — например, семейство Колошиных. Все это неожиданно, и мне могут сказать: «Вы ювелир, г-н Жосс». Но знаете ли, что можно отвечать? Что заблуждения рассеиваются и что сейчас многие были бы рады вернуться к своему собственному я, изгнанному образованностью и осмеянному — к тому самому я, отсутствие которого всегда изгоняло из общества всякое простодушие и придавало общению беспримерную скуку, пошлость и холодность. Я уверен, что люди, вынужденные вращаться в свете, будут изумлены справедливостью этого замечания. А наш маленький свет нынче в добром здравии. Мы вполне довольны учителями, нанятыми для детей. Помаленьку, как мы говорим, дело пойдет. Гоголь, автор «Ревизора», сочинил большой роман под названием «Мертвые души». На днях он должен приехать в Москву, и я надеюсь, прочтет нам некоторые страницы. Прощайте, любезная, милая маменька, целую ваши ручки от всего сердца. — Е. Боратынский».

239. Н. В. Путяте

1840-43

«Посылаю тебе, любезный друг, новые условия Дьякова о сдаче мельницы, более выгодные, где арендная сумма уже 3.500 и новых построек гораздо меньше. Ты увидишь из письма его, что он требует от меня скорого ответа. Боясь в переписке упустить счастливую спекуляцию, я послал ему согласие. Крестьянам эта возка не будет слишком обременительна. Крестьянам с лошадью все равно, так или иначе работают на господина три дня в неделю. К тому же по числу каймарских тягол те же крестьяне будут поступать на возку только один раз в пять лет. Если же будет ропот, можно дать им некоторые льготы и успокоить их. Не вини меня в опрометчивости. Я долго колебался, наконец, посоветовавшись с здешними хозяевами, решился. — Вижу по письму твоему, что у тебя куча дела. Авось этому будет добрый исход. Обнимаю тебя, Соничку и малюток. — Е. Боратынский».

240. Н. В. Путяте

1840-43

«Посылаю тебе, любезный друг, 10.000 каймарского дохода; из них 5.600 для уплаты процентов в заемный банк, остальные pour vos mkmes plaisirs <для ваших удовольствий>. Тысячи с две еще нам придется, в круглом счете. Из Скуратова будет около 16 т. с уплатою процентов, с третьею частью прошлогодней просрочки придется нам по 6.500. Доход порядочный. Пишу из Москвы. Хлопот у меня много и потому не вхожу в подробности. Будьте все здоровы».

241. Маменьке

1840, январь, 20-е числа, Москва

Перевод: «С обозом тетиньки Софии Ивановны мы получили столько свидетельств вашей заботы, любезная маменька, что я, право, не знаю, как вас благодарить. Платье для малышки прелестно: мы поспешили одеть его на нее, и в нем она совершила первый выход из своей комнаты в другие. Превосходное ваше варенье украшает по вечерам наш стол, когда мы принимаем гостей, а это бывает часто, кроме того, жена и Натали время от времени гурманствуют, оставаясь одни. Пишу к вам накануне своего отъезда в Петербург. Мне пришло в голову воспользоваться удобством путешествия в дилижансе и провести две недели в обществе брата, невесток (жёны Ираклия и Путяты) и старых моих друзей. Есть и практический смысл: я намерен выгодно продать Смирдину, единственному из наших издателей, располагающему капиталом, право на третье издание моих рифмоплетений, прибавив к ним еще один том последних своих грехов. Деньги, при этом вырученные, весьма пригодятся для путешествия в Крым. Вот уже 15 лет, как я не был в Петербурге и 15 лет не видел многих из тех, с кем был очень дружен. Найду много перемен. Наверное, впечатления будут печальны — впечатления, налагающие последнюю печать на образованного зрелого мужа. Надо принять это как должное. Прощайте, любезная и милая маменька, и я и ваши внуки целуем нежно вашу ручку. — Е. Боратынский».

242. Жене

1840, февраль, 3, Петербург

Перевод: «Я приехал в Петербург в пятницу вечером прекраснейшей дорогой, удобнейшим образом, не страдая даже от скуки, благодаря моему спутнику, оказавшимся человеком со здравым смыслом и практической сметкой, которыми так отличаются русские купцы. Нет нужды говорить, как были рады моему приезду Софи и ее муж. Дома были только Софи и Анна Васильевна. Именно она увидела меня первой, тотчас испустила крик радости и готова была броситься в мои объятия. Я не заметил и тени того недоброжелательства, которое наблюдал в Москве, она была совершенно искренней, тем не менее я попытался показать, что не забыл прошлого. Что же до Николая Васильевича, то он принял меня с такой нежностью, что растрогал меня. Словом, первые впечатления от Петербурга во всем более чем благоприятны. По приезде я послал сказать Ираклию, что остановился у Путят. Он передал мне, что болен, и я отправился к нему. Действительно я застал его в постели, впрочем, ничего опасного — спазмы. Аннета прибежала обнять меня. Насколько искренни были ее приветствия — Бог весть. Тут же я нашел Лазареву-Бирон с мужем и князя Абамелека, сопровождавшего свою сестру Екатерину на бал родственники Анны Давыдовны, жены Ираклия Абрамовичах Я передал ему письмо Натали. Ни Аннета, ни Ираклий о ней ничего не спросили. Как ты это находишь? Прощай, моя Попинька. Пишу тебе в субботу утром. До обеда собираюсь повидать Плетнева, Ираклия и отобедаю у него или дома, смотря по тому, отмечают сегодня именины Аннеты или нет. Обнимаю тебя и детей. Настинька прелестна и, кажется, узнала меня. Завтра сообщу тебе новые подробности, а сейчас голова моя идет кругом, и мысли в беспорядке. Обнимаю Натали».

Приписка на рус. яз.: «Сложив письмо, вдруг вспомнил о деле. При опекунских отчетах я позабыл отправить квитанции, которые при них всегда прилагаются. Квитанции эти в среднем ящике моего бюро, а ключ от него в самом верхнем, где у меня пашпорты. Квитанций три. 2ве 1839-го года и одна 1840. По залогу Каймар в 80.000, Наташиной части Атамышь, кажется, в 4000, по Муранову в 16.000. Отыщи, моя душинька, и доставь Ивану. Напиши мне, сыскала или нет. Меня это упущение беспокоит».

243. Жене

1840, февраль, 4, Петербург

«Получил твое письмецо, моя душенька Настя, и очень ему обрадовался. Спасибо тебе, что тотчас вслед за мной написала. Продолжаю мой П-бургский журнал и для порядка начинаю с того, что имеет сношение с Москвою. С Анной Васильевной я имел шутовскую экспликацию. Она в самом деле сердилась и за то, что при Лизе Чирковой я у нас на вечере поддразнивал ее Корсаковым: вы совсем мной пожертвовали, говорила она, и мне было очень неловко. А потом у меня свои были заботы, и я была не в духе. Теперь мы с ней в большой дружбе. В субботу поутру ездил с визитами. Был у Плетнева, Жуковского, Вяземского. Никого не застал. Мой добрый, мой милый Плетнев часов в 7 после обеда приехал ко мне. Ни в чем не изменился: ни в дружбе ко мне, ни <в> общем своем святом простодушии. Звал меня во вторник обедать вдвоем. Не правда ли, что этот зов целая характеристика? Говорил мне о своей дочери. <1 строка нрзб. > любит и кажется очень < их > жалеет. Вздыхает по старым товарищам. Теперь после долгих трудов я имею независимость и даже более, все есть, что я желал, да не с кем поделиться этим благосостоянием. Звал меня на житье в П-бург. Вяземской в ответ на мою карточку написал мне несколько милых слов, предлагая ко мне приехать. Было уже поздно, и мы согласились съехаться у Одоевских. <Зачеркнуто 12 строк> также познакомился там с Мятлевым, которого ты знаешь несколько шутовских стихов: «Таракан как в стакан» etc. Я думал найти молодого повесу. Что ж? это человек важный, придворный забавник, лет 45. Жуковской стал меня расспрашивать о своих. Я ему отвечал так и сяк. Познакомился с Лермонтовым, который прочел прекрасную новую пьесу; человек без сомнения с большим талантом, но мне морально не понравился. Что-то нерадушное, московское. Мятлев читал свое путешествие г-жи Курдюковой по чужим краям, в стихах, вперемешку русского с французским. Много веселости, и он мастерски читает. Потом тешил всех разного рода анекдотами; но меня менее других, потому что напоминал мне брата Льва, который решительно его превосходит и особенно вкусом и чувством некоторого приличия даже в этом роде. Мятлев заключил вечер. Пишу тебе в воскресенье утром. Завтра еще что нибудь прибавлю».

244. Жене

1840, февраль, 5, Петербург

«Сегодня, моя душенька, некогда много писать. Встал позже обыкновенного и спешу к Жуковского <так!> которого можно застать только до 12 часов. Вчера обедали мы все у Ираклия. Вечером я был у Карамзиных. Обнимаю тебя и детей».

245. Жене

1840, февраль, 6, Петербург

«Сейчас получил твое третье письмо, мой милый друг, и вижу, как ты права, что просила меня писать к тебе всякой день. Твои писульки для меня необходимость, и сегодня утром уже я с тоской поджидал почтальона. Я прочел некоторые места из твоего письма Николаю Васильевичу (Соничка еще не вставала), и он очень смеялся. Здесь о наших сопостатах никто и не поминает, даже Одоевской. Княгиня говорила мне об ужасном воспоминании, которое ей оставило пребывание ее у Елагиных. Она ненавидит Киреевского, а Авдотью Петровну, кажется, еще больше. Но надо тебе рассказывать по порядку: Sophie K<apamзина> чрезвычайно мила; мы с нею тотчас вошли в некоторую короткость; говорят, что и я был очень любезен. У Карам<зиных> в полном смысле salon. В продолжении двух часов, которые я там провел, явилось и исчезло человек двадцать. Тут был Вяземской. Приехал Блудов. Вяземской напомнил ему о старом его знакомстве со мною. Он очень мило притворился, что не забыл, говоря, что

мы вместе слушали в первый раз «Бориса Годунова». Это неправда, но разумеется, я ему не противуречил. Забыл тебе сказать, что от Ираклия, прежде Карамзиных мы слушали у Одоевского повесть Сологуба «Тарандас», украшенную виньетами полными искусства и воображения одного князя Гагарина. Виньеты прелесть, а повесть посредственна. Ее все критиковали. Я тоже пристал к критикам, но был умереннее других. Спор, завязавшийся у Одоевского, продолжился у Карамзиных и был главный предмет разговора. На другой день (вчера) я был у Жуковского. Провел у него часа три, разбирая ненапечатанные новые стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новых и духом и формою. Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала? Силою и глубиною! Он только что созревал. Что мы сделали, Россияне, и кого погребли! — слова Феофана на погребение Петра Великого. У меня несколько раз навертывались слезы художнического энтузиазма и горького сожаления. Обедал у Плетнева. Он мил и добр. Поехали в французской театр в ложу к<нягини> Абамелек. Давали «La lectrice, играла m-me Allan. Хороша; но не чрезвычайно. Говорят, она была не в духе и за кулисами ее кто-то обидел. К<нягиня> Одоевская сидела одна в своей ложе; встретясь со мною глазами, она меня поманила к себе, и я у нее просидел весь первый акт. Тут мы говорили об Елагиной и Киреевском. Поздний вечер провел со своими. Вот тебе не письмо, а журнал. Не передавай никому моих замечаний <зачеркнуто 2 слова >. Обнимаю тебя, мой милый друг, вместе с детьми. Меня уже тянет домой, хотя провожу время очень приятно».

246. Жене

1840, февраль, 7, Петербург

«Вот, моя душенька Настя, записка к Михею касательно Чичерина. Пошли ее по адресу. Чичерину же я пишу прямо отсюда. Уведомь Софью Михайловну, что дело сделано. Вчерашний день не был ничем замечателен. Утром я был у Вяземского и объезжал Арарат. Меня везде принимали. Познакомили с женою Христофора, которая носит на лице отпечаток своего восточного происхождения, но вовсе не восхитительный, и одевается так, что достоверно можно зреть, хороши ли у ней груди или нет. Обедал у Соболевского, а вечер провел со своими. Соничка велела тебе сказать, что покуда я здесь и пишу тебе всякой день, она к тебе писать не будет. Оно и дело. Соничка, слава Богу, очень поправилась. Она с мужем живут очень мило. Видно, что друг друга очень любят и почти на том же тоне друг с другом, как мы. Путята у себя дома гораздо более оживлен, нежели можно было думать. Я всякий день более его ценю. Настинька выросла не много; но начинает говорить, и за ней водятся разные жентильсы <gentillesse — любезность>. Теперь у нее идут зубы, и она немножко беспокойна. Сегодня мы все обедаем у Ираклия. Прощай, мой милый друг. Обнимаю тебя тысячу раз. Целую детей. Мне здесь очень весело. Вообрази, что еще ни разу не удалось после обеда спать, да я в том и не чувствую нужды».

247. Жене

1840, февраль, 8, Петербург

«Вчерашнее утро провел у Вяземского. Говорили о Пушкине. В<яземский> входил в подробности светских сношений, принудивших Пушкина к дуэлю. Ничего не сказал нового. Предложил мне ехать с ним к его вдове, говоря, что она очень признательна, когда старые друзья ее мужа ее посещают. Я намерен у нее быть. Она живет чрезвычайно уединенно. Бывает только у Карамзиных и то очень изредка. Разговорились не знаю как о здоровьи. — Vous etes

un peu malade imaginaire <Вы несколько похожи на мнимого больного>, — сказал мне Вяземской. Я засмеялся и спросил, почему он это знает? — Говорили это во время холеры. Впрочем, я сам склонен к этому. — Тем и кончился разговор, для меня очень любопытный. Я сказал ему, однако ж, что я вовсе не способен преувеличивать воображением какую-либо немощь, напротив, может быть, слишком незаботлив и не люблю лечиться. Видишь, что наш друг Киреевской еще тогда, в полном жару нашей связи, он или мать его были к обоим нам неприязненны. От Вяземского поехал к Вельгорскому, к Сологубу, наконец к Вязмитиновой. Она уже через девок своих знала о моем приезде в П-бург. Как будто обрадовалась. Потом стала жаловаться, что ее все оставили. Les Benkendorff ne m'ecrivent plus depuis deux ans. Je ne sais pas ce qu'ils font. < Бенкендорфы не пишут уже больше двух лет. Я не знаю, что они делают>. Постарела, но не очень. Еще весьма свежа. От нее пошел к <2,5 строки стёрты>. Удивилась моему явлению в П-бурге. У той и другой вместе я не провел более получаса. Остальное утро провел у Ираклия, который совсем уже оправился. О Наташе ни он, ни она ни полслова. Оп dirait c'est un parti pris < Видимо, умышленно>. Я нахожу, что это уж и не благопристойно. Обедал у своих, а вечером был в собрании. Видел наследника, в<еликого > к<нязя > Михаила, Лейхтенбергского, который не так хорош, как на портретах, но все-таки очень хорош и кажется еще лучше, когда всмотришься, нежели с первого взгляда. Государя, к сожалению моему, не было. Я поехал в собрание в особенности для того, чтобы видеть царскую фамилию. Встретил московского знакомца Брусилова. Он мне обрадовался. Жалеет о Москве. Встретил < 1 строка стерта>. Он здесь играет важную роль разумеется, не по стихам, а по службе и старается это дать заметить благородною неторопливостью манеров. Скажи Павлову, что благодаря Бога здесь еще меньше заботятся об отечественной литературе, нежели в Москве. Я отдал его письмо Одоевскому прошлую субботу; но с ним, на его рауте, не успел перемолвить двух слов. Одоевские обедают завтра у нас. Авось мне удастся довести до его слуха голос московской братии. Прощай, моя душенька. Целую тебя нежно. Очень ты мне недостаешь. Обнимаю деток».

248. Жене

1840, февраль, 9, Петербург

«Вчера я провел день вовсе безалаберно. Утром сделал несколько визитов, никого не заставая дома, потом обедал у Дюме с молодежью, в числе коей был однако ж Вяземской. Пели цыгане. Все мы порядочно подгуляли. Пили мое здоровье. Это меня тронуло. Впрочем, обед был прескверный, а заплатили мы дорого: по 65 с человека. Я издерживаю здесь очень мало. С этими 65 еще не дошло до 1000. Извощики здесь дешевле, чем в Москве. Ездивши с утра до вечера, мне никогда еще не случалось издержать больше трех двугривенных, а еще не торгуюсь. Вяземской за обедом сел возле меня и был очень любезен. Я в нем узнал прежнего Вяземского. Вообще он бодрее, чем в последний раз в Москве. Корил новое поколенье в неуменьи пить и веселиться. В это время племянник его Карамзин, немного навеселе, бросил на пол рюмку, которая не расшиблась. Видите, сказал Вяземской: мог уронить, а разбить силы не стало. Сегодня бенефис Тальони. Ираклий обещал достать мне билет. Мне начинает быть скучно. Я не привык к этому беспрерывному мытарству, в котором кружусь. Постоянно жить в П-бурге было бы приятно, имея между двумя днями рассеяния хоть один отдыха. Хочется домой, моя душенька, и я был бы готов уехать хоть сегодня. П-бург приятен отсутствием неприятных впечатлений, и я, конечно, с восторгом променял бы на него Москву. Но в нем веселишься потому, что это Петербург, слишком молодо. Был у дяди Петра Андреевича, который облил меня слезами. Ужасно жаловался на брата Сергея за его проделку. Вообрази, где я потом его видел? В <дворянском> собрании. Я от него ускользнул. Прощай, моя душенька Настя, обнимаю тебя и детей. — Е. Боратынский».

249. Жене

1840, февраль, 10, Петербург

«Хотел написать тебе длинное письмо; но не успеваю. У меня сидит Ираклий и пора на почту. Видел Талиони. Удивительна. Вечер провел у Карамзиных. Обнимаю тебя и детей. — Получил твое письмо где ты говоришь о Тимирязевой. Я почти всякой день вижу ее мужа. Он скоро выезжает из П-бурга. — Ираклий уехал, и я продолжаю мое письмо. Вчера обедали у наших. Одоевские, муж и жена, и Аннета с мужем. С князем и княгиней я хорошо познакомился. С обоими я в самых дружеских отношениях. В театре были вместе, где она меня познакомила с Графиней Лаваль. О Тальони не стану говорить. Все выше всякого чаяния. Смесь страсти и грации, которых нельзя описать: надобно видеть. Неожиданность, прелесть, правда поз: дух захватывает. У Қарамзиных видел почти все П-бургское высшее общество. Встретил вдову А. Пушкина. Вяземской меня к ней подвел, и мы возобновили знакомство. Все также прелестна и много выиграла от привычки к свету. Говорит ни умно ни глупо, но свободно. Общий тон общества истинно удовлетворяет идеалу, который составляешь себе о самом изящном, в молодости по книгам. Полная непринужденность и учтивость, обратившиеся в нравственное чувство. В Москве об этом и понятия не имеют. С Софьей Карамзиной мы в полной дружбе. Вчера Жуковский раздразнил ее до слез. Эта маленькая сцена была очень мила и забавна. В ней истинное оживление и непритворное баловство, грациозно умеренное некоторым уважением приличий. Это ее отличает от Аннеты Блохиной, с которой она имеет много сходства. Сейчас получил детские письма и твое, мой милый друг. О гувернантке мне самому хлопотать будет некогда. Передам поручения Аннете и Соничке. Благодарю деток за их письма. Поцелуй их поочередно за меня. Прощай, спешу печатать и на почту».

250. Жене

1840, февраль, 12, Петербург

«В субботу был в Академии художеств и видел Последний день Помпеи Брюлова. Все прежнее искусство бледнеет перед этим произведением; но одно искусство, а не сущность живописи. Колорит, перспектива, округлость тел, фигуры, выходящие как будто вон из полотна, все это выше всякого описания; но думаю, что изучающий Рафаэля, Михель Анджела, Тициана найдет в них больше мысли, больше красоты. На лицах Брюлова однообразное выражение ужаса, и нет ни одной фигуры идеально прекрасной. Был также в его мастерской. Видел прекрасный портрет Жуковского, Крылова и несколько начатых картин. Самого его не видал, он болен. Обедал у Христофора Лазарева на Арарате, как говорил Ираклий. Было ужасно скучно, хотя я сидел подле Аннеты. Христофор меня преследовал литературными вопросами и между прочим добивался, чтоб я ему сказал откровенно, у кого больше таланта — у Николая или у Ксенофонта Полевого. От Лазаревых поехал во французский театр в ложу к нашим. С ними была и княгиня Одоевская. Давали «Le gamin de Paris» <«Парижский озорник»>, пьеса, которая в Москве мне вовсе не нравилась и которую здесь я нашел очень умной и милой. Вечер провел у Одоевских. На этот раз он был похож на вечера Свербеевых. Педант Саломирской завел философический спор, у меня сердце сбесилось. В воскресенье обедал у дяди вместе с братом Ираклием. В 4 часа мы были уже свободны и я поехал к брату, где в первый раз с тех пор, как я в П-бурге, мне удалось часик заснуть после обеда. В 8 часов был у одного чудака Шишмарева, с которым познакомил меня Вяземской у Дюме. Он очень богатый человек, не знающий никакого языка, кроме русского, умный и сметливый. Прикидывается простяком. Принимает гостей своих (гостей высшего круга) в чекмене, любит попить и погулять. У него

пели и плясали цыгане, и сам он пел и плясал вместе с ними. Еп resume <в общем> было скучно. Вечер провел у Карамзиных очень приятно. Чувствую благорасположение всего здешнего общества, и ты знаешь, как это славно действует. Со всем тем устаю. Жизнь, которую я здесь веду, мне не в мочь. Прощай, мой милый друг, целую тебя тысячу раз. Обнимаю детей. Скажи им, что писать каждому особо из них мне некогда, а они так мило об этом просят, что иначе я бы не отказался их потешить. Обнимаю Наташу».

251. Жене

1840, февраль, 13, Петербург

«Ты два дня ко мне не писала, моя милая Настя, и я начинал уже беспокоиться, когда приехавшая Стремоухова уведомила меня, что она пред отъездом тебя видела и что вы слава Богу. Графиня Лаваль дала мне знать через брата Ираклия, что она желает со мною познакомиться короче и будет дома в таком-то часу. Вчера я у нее был. Она очень говорлива, следственно любезна. Обедал у брата Ираклия. Это был день его рождения. Из русских был только я. Армяне несносны. Христофор Лазарев опять насел на меня с литературными вопросами. Этот раз речь завел о профессоре Давыдове и добивался, от чего курс словесности сего последнего скучнее Вилеменя! Вечером все были у нас. Прощай. Пришел Соболевской и мешает. Обнимаю тебя и детей».

252. Маменьке

1840, февраль, 20-е числа (?), Москва

Перевод: «Я возвратился из Петербурга, любезная маменька, и в лучшем настроении, нежели мог ожидать. Старых друзей своих я нашел столь же расположенными ко мне, что и прежде, и завязал новые весьма приятные связи. В их числе семейство Карамзиных. Следовало бы остаться еще недели на две, чтобы несколько укрепить новые знакомства, но мне не терпелось вернуться в семью. Ираклия и Аннету оставил я в добром здравии. Когда я уезжал из Петербурга, все были встревожены судьбой корпуса в 12 тысяч человек, под командованием Перовского, наступающего на Хиву, — о нем не было никаких известий. Нынче выяснилось, что он вынужден был отступить, ибо пустыня оказалась покрыта глубоким снегом и от тридцатиградусного мороза погибло много верблюдов и людей. 7-ми тысячам, расположенным под Москвой, приказано идти на помощь Перовскому. Этот корпус пройдет через Тамбовскую губернию, ибо направляется в Астрахань. Прохождение войск поднимет еще выше цену на зерно, вот почему я вам о нем говорю. Мое маленькое, а точнее, большое семейство в добром здравии. Мы очень довольны нашим гувернером. Он превосходный человек, и дети под его руководством делают значительные успехи. Сашинька сильно продвинулась вперед в музыке. Мне весьма горестно было узнать о том, что любезная тетушка так тяжело болела. Желаю ей быстрого и полного выздоровления. Обнимаю сестру и целую Вам нежно ручки. — Е. Боратынский».

253. Н. А. Маркевичу

1840, февраль, 20-е числа — март, до 10 (?), Москва

Перевод: «Мой любезный кузен, Варинькин учитель музыки просит меня рекомендовать его вам. Ему весьма любопытно узнать ваш талант, будьте же так добры, не откажите в любезности произвести впечатление, чем весьма меня обяжете».

254. Н. А. Маркевичу

1840, февраль, 20-е числа — март, до 10 (?), Москва

«Очень жалею, что ни вы не застали меня дома, ни я вас. Нетерпеливо желаю вас видеть и познакомиться с вашим новым произведением. Я всегда дома по вечерам часов с 8-ми кроме (и только что на нынешней неделе) субботы и воскресенья. Очень обяжете вашим посещением преданного вам — Е. Боратынского».

255. Маменьке

1840, апрель, около 14, Москва

Перевод: «Поздравляю вас с праздниками, любезная и милая маменька. Вы уже можете праздновать, наслаждаясь хорошей погодой; а мы провели всю страстную неделю в суете визитов и в постоянных заботах, как бы кого не забыть и тем не навлечь на себя неблагосклонность этого семейства. Теперь долг перед обществом почти полностью выполнен; последнюю точку поставит сегодняшний обед, который мы даем Закревскому, Ермолову, Вяземскому, Тургеневу и некоторым другим московским знаменитостям. Нет в мире человека лучше, чем граф Закревский. Можно подумать, что это я оказал ему услугу, а он хранит признательную память о моем пребывании в его доме — настолько он добр со мною. Приуготовления к обеду создают в доме небольшую суету, и я пишу вам, отдавая одновременно приказания и тотчас их отменяя. Поздравляю также любезную тетушку и сестру и нежно целую ваши ручки. — Е. Боратынский».

256. Жене

1840, май, 10, Москва

«Ты не можешь себе представить, как мне грустно, что мы на расставанье с тобой повздорили. Особенно мне наедине с самим собою очень тяжело. К тому же отсутствие Маши и Мити очень чувствительно в доме. Саша и Левушка грустны, и в комнатах пусто. Англичанка к нам приехала. Она кажется очень порядочна. Был на обеде у Гоголя: нашел всю братию, кроме кого бы ты думала? Киреевского и Павлова. С Орловым сошелся опять очень дружески. Вообще не получил ни одного неприятного впечатления. Обнимаю тебя от всего сердца. Спешу отослать эти строки на почту. Это взяло у меня время, а письмо все-таки не готово, и я его оставляю до завтра. Прощай, Настя. Целую детей».

257. Жене

1840, май, 10 — май, 11, Москва

«Милая моя Настя, теперь пишу к тебе на досуге. Чувствую себя очень неправым перед тобою; но неужели ты не поняла, что у меня против тебя не было никакого озлобления, а просто я расшумелся, как будто я с тобою не расстаюсь, и есть еще время поменяться несколько живыми словами! В этом случае я позабыл часы, как ты их иногда забываешь. Дело в том, что мне без тебя было бы грустно и так, а эта размолвка примешивает к этому неимоверно тяжелое чувство. Я сижу один с Демоном болезненного воображения и, может быть, равно болезненной совести. Ты знаешь меня по себе. Жду от тебя несколько слов, которые могли бы меня успокоить, и моя лучшая вера состоит в том, что ты их точно напишешь; да полно, об этом я бы не кончил. Я так чувствую отсутствие Маши и Мити, что уже не думаю просить тебя оставить Николиньку и Юлиньку, уезжая в чужие краи. Нет, мы их возьмем с собою. Теперь я сужу о тебе по себе. Я получил деньги из Казани. 19600 не помню сколько рублей. Скажи Соничке,

что не рассчитываюсь с ними до их приезда в Москву. В Мураново все по возможности готово; сегодня расчелся с щекотуром и маляром. По возможности отделан дом и тот флигель, где прежде жила Соничка, за 120 +. Колошина написала очень милую записку Сашиньке, на которую я отвечал вместо ее. Мне показалось, что так ловче. На обеде Гоголя Орлов был пьян, и ты не можешь себе представить, как в особенности был дружелюбен со мною. То, что я накомерил Вяземскому, принесло наилучшие плоды <накомерил — насплетничал; от фр. commerage>. От Гоголя мы уехали вместе. Я ему сказал: «Наша жизнь разделяется на две половины: как быть с людьми, которых любишь, как быть с людьми равнодушными? Может быть, я это узнаю в чужих краях. J'ai eu ici bien du fil a retordre < Мне о многом надобно поразмыслить>. Он одобрительно промычал. Расстались хорошо. Чадаев у Гоголя стал тоже со мною експликоваться и приглашал меня на свои понедельники. «Вязем < ский >, — сказал он мне, — m'a fait un commerage amical; mais un commerage inamical a du le preceder», et (au milieu de toute la societe) я ему отвечал: «Се qu'il y a de mieux a faire, c'est de suivre le precepte de M-me Genlis, de s'en tenir aux relations personnelles et ne pas ecouter les cancans» < Вяземский со мной дружески сплетничал, а прежде сплетничал, должно быть, недружески», и (при всех) я ему отвечал: «Лучше всего следовать правилу мадам Жанлис — поддерживать личные отношения, а сплетен не слушать»>. Я не думал быть остроумным и говорил от души, но мне после сказали, что я был очень зол. Видно, ничего нет злее правды. Tu concois que M-me Genlis citee a Чадаев le mettait tout de suite au nombre des vieillards < Ты понимаешь, что цитировать мадам Жанлис Чаадаеву — значит зачислять его в старики>. Я об этом не думал. Пишу тебе в пятницу вечером. Завтра прибавлю еще несколько слов. Целую тебя заочно, как обыкновенно целую тебя на ночь. Продолжаю в субботу поутру. Все мы, слава Богу, здоровы. Сашинька гдето отыскала письмо, которое Левушка намеревался послать Александре Григорьевне Колошиной. Вот оно: — «Сударыня. — Честь имею известить вас, что я более не занимаюсь этими глупыми мыслями. Пишу к вам, чтобы мне не краснеть всякой день, когда я бываю у вас. Лев Боратынский». — Я переписал его течь в точь. Не правда ли, уморительно! Прощай, мой милой друг. Целую тебя, детей, Соничку с ее Настей. Обнимаю мужа ее — Е. Боратынский».

258 Жене

1840, май, 13, Москва

«Я получил твое письмо из Клина в воскресенье поутру. Сегодня же посылаю тюфяки. Они не могут тебе быть доставлены раньше, как дни четыре после твоего приезда. Но если ты свои дела кончишь прежде, ты сделай как-нибудь так, чтобы тебе их не дожидаться. Я адресую их на Соничкино имя. Я прочел письмо твое Сашиньке и Левушке. Левушка обещает тебя слушаться. Все твои наставления будут соблюдены. Англичанка очень добра и заботлива. За столом смотрит и за Николинькой, разрезает ему кушанья и обтирает рот. Сашинька, которую я об ней расспрашивал, тоже ее хвалит. Сашинька мне сказала: «Только она такая суета, точно Любовь Андреевна, беспрестанно меня закрывает одеялом <стерто 3 слова> и беспрестанно меня спрашивает, лучше ли мне». Все это по-моему недурно. Дмитрий, которого я посылал в контору транспортов с тюфяками, сейчас воротился и говорит: нельзя их будет отправить прежде вторника, следств<енно>, ты получишь их в пятницу. Был я у Михаиле Алекс. Салтыкова он даст нам 30 т<ысяч> по 6 процентов. Прощай, милая Настя, обнимаю тебя и детей».

259. П. А. Плетневу

1840, июль, до 5, Москва

«Благодарю тебя, старый друг, за все твои хлопоты о моих детях, за добрые советы жене и проч. Очень я рад, что ей наконец довелось с тобой познакомиться. Она возвратилась

из Петербурга вполне тебе признательная за твою дружбу. К нам приехали наши Путята. Sophie мне сказала, что ты, не убоясь детской беготни, непривычной в твоем уединенном кабинете, пригласил к себе на воскресенье мою Машу. Спасибо тебе; но мое отеческое сердце трепещет за ее проказы. Прощай, будь здоров. Бог даст, скоро увидимся. — Е. Боратынский».

260. Маменьке

1840, июль (?), Мураново

Перевод: «Любезная и милая маменька, возможно ли, что я опять пишу вам вместо того, чтобы целовать ваши ручки в Маре? Тысячи непредвиденных обстоятельств задержали мой выезд. Дела, которые я не мог закончить в отсутствие моей свояченицы Путята и которые я должен был завершить, пользуясь ее пребыванием здесь, потребовали больше времени, нежели я предполагал. Затем стали ходить слухи о том, что на дорогах неблагополучно из-за отчаяния умирающего с голоду народа, отчего мы и решили отложить поездку до той поры, когда останется уже недолго до нового урожая. Надеюсь, что скоро буду иметь счастье увидеть вас, но о путешествии за границу уже нет речи. Мы понесли значительные потери. Одна из наших казанских деревень, 34 крестьянских дома, сгорела, и хлеб, который мы рассчитывали продать, пошел на прокорм погорельцев, в Казани и Туле придется покупать зерно для сева на крестьянских землях. И они и мы твердо можем рассчитывать только на лебеду. На хороший урожай надеяться не приходилось, но кто мог предвидеть, что не хватит хлеба даже на семена! Поэтому все наши планы пошли прахом. Некоторое время мы опасались, что бесконечные дожди погубят в конце концов и яровые, но, благодарение Богу, теперь установилась хорошая погода. Крестьяне весело косят сочную траву. Прощайте, любезная и милая маменька, мне не терпится пуститься в дорогу, и с Божьей помощью это произойдет очень скоро. Жена и ваши внуки нежно целуют вам ручки. — Е. Боратынский».

261. С. А. Соболевскому

1840, август, до 6, Москва или Мураново

«Не откажи мне в просьбе, любезный друг Сергей Александрович, хотя я тебе поручаю дело хлопотливое. Я переселяюсь с семейством в П-бург, и мне к 1-му сентября и даже несколькими числами ранее нужна квартира. Прими на себя труд и приискать, и дать если потребуется какой-нибудь задаток, который я тебе и возвращу при недалеком свидании. Квартира же требуется вообще экономическая, и вот главные условия. — Понеже я не намерен держать лошадей, то сколько возможно в центре города между Ираклием и Путятами. — К ней одна людская, кухня, каретный сарай для одной 4хместной кареты и погреб. — Три особых т. е. не проходных комнаты для детей сверх обыкновенных приемн < ой >, спальни и кабинета. — Нет нужды, что в 3м этаже, что комнаты не высоки, одним словом даже размер прежней квартиры к<нязя> Одоевского. — Полагаю, что такую можно иметь тысячи за три в год, тем более что я имел в виду в доме <нрзб имя владельца> у Конногвардейских казарм за эту цену имянно мне нужное, но может быть эта квартира уже занята. Впрочем мне так необходимо иметь заготовленное пристанище, что я и не стесняю тебя точными условиями. Но год тяжелый, я человек семейный, и по всему тому, что я тебе пишу, ты видишь, что мне нужна самая строгая экономия. — Окажи мне эту для меня важную услугу и с твоей английской аккуратностью отвечай мне Тамбовской губер. в г. Кирсанов. Чем скорее я буду уверен в квартире, тем лучше. Как только ты меня в ней обнадежишь, так у меня в Москве тронется приготовленный обоз.— Нанимаю я на год. Прощай: пишу посреди всей суеты укладыванья. Сегодня же еду дней на 10 в Тамбовскую губернию к матушке, а оттуда хотелось бы прямо проехать в П-бург. — Е. Боратынский».

262. С. А. Соболевскому

1840, август, около 15-17, Мара

«Спасибо тебе, друг Соболевской, за то, что не слишком сердился на докучное мое поручение. За это Бог тебя награждает без отлагательства. Радуйся: я нашел здешнее мое имение в таком положении и получил из других такие вести, что я думать не могу ехать в П-бург. Остаюсь в деревне на год, кругом меня прекрасные степные виды, но дальнейшие мне не позволены. Поблагодари за меня Дмитрия Путята, который также обо мне хлопотал. Очень обязан тебе за участие, принятое тобою в моей заботе, и жалею, что еще долго тебя не увижу. Брат Сергей возымел жажду сам к тебе писать и я уступаю ему место. — Е. Боратынский».

263. Н. В. Путяте

1840, август, около 15-17(?), Мара

«Со всех сторон такие дурные вести и наступающий год так грозен бедностью доходов и предлежащими расходами, что мы решились отказаться от Петербурга и провести нынешний год в деревне. Посылаю за детьми надежного человека, бывшего моего дядьку Михея. Отправьте с ним, любезные друзья, в моей каришневой карете. Надеюсь видеться с вами в Москве. Я не со всем точно расчелся. Сколько помню, мне следует заплатить в О. С. < Опекунский совет > за имение Сонички 4.200, да 2.000 послано за вас в Скуратове — итого 6.200. Вы платите 5.600 в Государственный Совет за Пьера, да 500 я вам должен по мурановскому счету — итого 6.100. Теперь надобно справиться у Дмитрия в книге, сколько поступило к нему скуратовского овса. Вам следует половина. По этому расчету я буду у вас в небольшом долгу; но совершенно не помню, по какому соображению. Я полагал в Москве, что, напротив, небольшой долг будет за вами: есть издержки, которые я позабыл. У тебя все записано, брат Николай, справься, пожалуйста. Теперь об лесе. Кажется, что 600+ цена крайняя, равно нельзя соглашаться и более как на три срока. Если же уже дойти до 575, то все-таки лучше иметь с Царским, нежели с маломощными купцами. Кичеев предупреждал, и насчет контракта ты можешь говорить свободно. Касательно наших каймарских монахинь я одного с тобою мнения. Обнимаю вас от всей души. — Е. Боратынский».

264. Маменьке

1841, апрель, конец месяца — май, Мураново

Перевод: «Вы будете очень удивлены, любезная и милая маменька, что так поздно получаете от нас письмо, но редко когда выпадает путешествие более неудачное, чем наше. Сильные ливни смыли несколько мостов, паромы были еще не готовы, приходилось ждать с утра до вечера. Под нашей тяжелой каретой провалился один гнилой мост. Наконец, мы на месте, но еще не отдыхаем, ибо предстоит много дел. После покойной жизни в Маре я не могу привыкнуть к стольким волнениям. Со сладостным чувством вспоминаю я эти дни беспечности, которые в моей беспорядочной жизни стали решительно событием — необычным и милым сердцу. Я надеюсь, что Господь дарует мне еще такие же дни в том же месте, близ вас, любезная маменька, — близ той, кого я люблю со всей возможной нежностью, сколь живо, столь и благодарно. Целую вам ручки от всего сердца. — Е. Боратынский».

265. Маменьке

1841, июль, Мураново

Перевод: «Это письмо должно прийти к вам одновременно с мебелью. Вместе с обозом я послал вам пахитоски и конфеты. Ираклий и Аннета, должно быть, уже у вас. Поздравляю вас с их приездом. Ираклий насладится отдыхом после долгих трудов, к тому же он получит большое удовольствие от того, что не придется заниматься размежеванием, отложенным еще на пять лет. А здесь только и разговоров о всяких кражах и грабежах. Происходят ли они из-за дороговизны хлеба или это такой теперь обычай — вроде поджогов, но случаются они часто, и все вокруг измышляют невиданные доселе предосторожности. Больше никаких новостей нет, тем более, что в Москве сейчас нет общества в истинном значении этого слова. Прощайте, любезная маменька, целую ваши ручки от всего сердца. — Е. Боратынский».

266. Н. В. Путяте

1841, июль — сентябрь (?), **М**ураново

«Мне приходится все писать тебе о деле. Саблеру я заплатил 5 т. из денег, приготовленных мною для уплаты процентов, которым срок в октябре Черткову еще нет, потому что гражданская палата, как бы ей следовало, не прислала копии с данной мне доверенности в Опекунский Совет, почему замедлена выдача денег (надеюсь, только на несколько дней). Объявление на лампу <?> мы получили. За мурановский лес дают по 550 + асе. десятину: это составляет 82 т.; 20 т. — вперед, остальные в три срока. Кажется мне, что не должно колебаться — и продать. Цена хорошая и покупщик надежный. Скажи мне свое мнение, дабы я мог приступить к делу. Батюшка твой, которому я описал свойство и положение леса, оценил его в 500, но не помню — асс<игнациями> или монетой. Прощай, обнимаю тебя и Соничку. Свидетельствую мое почтение Настасье Николаевне».

267. Н. В. Путяте

1841, сентябрь-ноябрь, Мураново

«Долго я думал о сбыте нашего мурановского леса, о причинах, по которым он и за среднюю цену не продается, и нашел главных две: 1-е, что купцы так часто у беспорядочных дворян имеют случай покупать лесные дачи почти задаром, что им весьма мало льстит покупка, представляющая только 20 обыкновенных процентов: 2-е, боязнь ошибиться самим в настоящей ценности леса неровного, неправильно рубленного и проч. Из этого я на первый случай заключил, что должно хотя несколько десятин свести самому хозяину и постараться сбыть бревнами и дровами. Наконец вспомнил, что я в Финляндии видел пильную мельницу. Надобно, во-первых, вам сказать, что, думая сам сводить нашу лесную дачу и не зная, как предупредить злоупотребления и облегчить сбыт, я обратил внимание на нашего Бекера, который имеет очень много хозяйственных сведений и как купеческий сын сохранил в Москве по сию пору разные коммерческие связи. Я предложил ему взять на себя присмотр за сводом леса и продажу материалов за 10 процентов, когда выручка будет превышать 600 + за десятину, и он принял мое предложение. Я стал ему говорить о пильной мельнице. Вышло, что они очень обыкновенны в Курляндии и стоят вовсе недорого. Когда же я вычислил баснословную выгоду, которую нам может принести устроение подобной мельницы, я ухватился за мысль и тотчас принялся за дело. — Вот вкратце расчет. Я вымерил самую среднюю десятину и счел на ней 400 пней. — 400 пней дают 800 бревен (и с лишком, потому что лучшие деревья дают 3 бревна). — Каждое бревно дает 4 доски, итого 3200 досок. — В Москве доски самого последнего сорта стоят 200 сотня. — Если положить доску только по одному рублю, то десятина даст 3200. — Сверх того остаются: третье тонкое бревно, которое пилится на тес, и осиновой и березовой

лес, равно и горбыли, которые пилятся в дрова, макушки, которые пойдут на домашнее отопление и на кирпичный завод, который я хочу устроить в то же время. Крутом десятина, при самом среднем счастии, должна дать до 5000+. Я отыскал механика г-на Прагста, который подобную мельницу строил на Нарвском водопаде. Он приезжал ко мне в Мураново, потому что я сначала думал заменить нашу мукомольную мельницу пильною, но вода оказалась недостаточной. Наша мельница будет приведена в движение 8-ю лошадьми. Издержки

Машина	. 7000
Наружное строение	. 1500
10 пил, запас достаточный лет на 10	
16 лошадей	. 1600

Мельница будет давать до 500 досок в сутки; в год можности свести до 25 десятин. В пять лет вся операция будет окончена. Если же продажа будет успешна, то я поставлю другую мельницу, которую Прагст обязуется мне устроить за 5500, и тогда сведу лес в 21/2 года. — Ты видишь, какой ничтожный капитал нужен для самых блестящих результатов! Надеюсь, что ты не поколеблешься взять убытки на барыши предприятия пополам, но за свою мысль и за свои хлопоты я прошу 10 процентов, когда десятина будет приносить свыше 1000. — Контракт с Прагстом уже сделан. К наружному строению приступаю. — Главный ежегодный расход состоит в корме лошадей, но часть вознаградится лучшим удобрением полей. Я надеюсь, что все ежегодные издержки покроются одним доходом с кирпичного завода. — Прощайте, устал смертельно от длинного делового письма. — Главное: трудно сбыть товар, которого цена неопределенна как лес на корню. Когда он обратится в доски, в дрова, продашь дешево, но продашь как хлеб; а лес после хлеба первая необходимость. — Не удивляйся огромной выгоде, на которую я надеюсь. Купцу распилить 400 пней в доски обыкновенным способом стоит до 3000. Сверх того он платит за свалку и пилку в бревна, что у меня будут делать свои. Приложи к этому цену самого леса, и у тебя не останется никакого сомнения. — Кирпичный завод пойдет наймом. Берут 7+ с тысячи... На обжиг пойдет оборышь лесу, который без того пропал бы даром. — В Казань, разумеется, мы уже не едем. Мы нанимаем дом у Пальчиковой, в Артемове. Соничка знает эту деревню; она от нас 3 версты, а от лесу в том же расстоянии, как и Мураново. — Касательно казанского хозяйства, я, кажется, нашел верной способ завести там оброчное состояние, избегая обыкновенной его неудобности — неплатежа оброка. Мысль мою сообщу тебе в другой раз. — Надеюсь этим годом все наши хозяйственные дела, в том числе и опеку, устроить таким образом, что они вперед уже мало меня будут заботить и мне можно будет возвратиться к прежним, мне более привычным занятиям. — Все мы, слава Богу, здоровы. Я между прочим бодр и весел, как моряк, у которого в виду пристань. Дай Бог не ошибиться».

268. Н. А. Боратынской

1841, октябрь, конец месяца — ноябрь, начало, Артемово

Перевод: «Спасибо за письмо, любезная Натали, и за подробности о жизни маленькой марской колонии. Ты не можешь сомневаться в том удовольствии, которое я получу, когда увижу тебя и мы сможем заполнить пробелы наших писем. Чтобы попасть в Артемово, нужно проехать через лес, который мы называем Троицким, и первый барский дом версты через полторы и будет тот, где мы сейчас обитаем. Итак, приезжай сразу в Артемово, если, конечно, тебе не нужно делать никаких покупок в Москве и ты не предпочтешь остановиться во флигеле нашего дома, который мы оставляем за собой с 1-го ноября. Дмитрий известит нас о твоем приезде, и тогда мы проведем вместе несколько дней в Москве. В любом случае, чем останавливаться в

гостинице, воспользуйся нашим жилищем, где, может быть, окажемся и мы, ибо порой неотложные дела призывают нас в Москву. Но действительно ли ты приедешь? Ты ведь часто меняешь свои планы. Постарайся, чтобы твоя поездка не оставила нас без марских новостей и помогай Софи извещать нас обо всем происходящем в вашей округе. Прощай, любезная Натали, обнимаю тебя от всего сердца. — Е. Боратынский».

269. Маменьке

1841, ноябрь, вторая половина — декабрь, начало месяца, Артемово Перевод: «Мы живем в столь глубоком уединении, любезная маменька, что все новости, которые я могу вам сообщить, касаются только нашего здоровья, слава Богу, хорошего. Подмосковная усадьба зимой — убежище куда более мирное и тихое, нежели деревня в глубине России. Надо сказать, что у нас тут зима в разгаре — земля покрыта снегом, и установился санный путь. Мы собрались было починить четырехместный возок, чтобы на нем ездить в Москву, где бываем все же время от времени, но отказались от этого намерения из-за здешних дорог, таких узких в этом лесном краю, что в большом экипаже добраться до шоссе невозможно. Эти дороги — не что иное, как едва заметные следы от крестьянских саней, остающиеся после редких поездок какого-нибудь крестьянина в соседнюю деревню. Все барские дома кругом пустуют. Мы так мало ожидаем гостей, что в доме, который сняли (а это большой дом, построенный по-старинному, то есть очень неудобно), закрыли все двери и оставили только черный ход — это нужно как для того, чтобы защититься от ветров, дующих сквозь щели, так и для того, чтобы разместить всех наших домашних, а среди них пополнение: француженка, она также дает детям уроки музыки и рисования, учитель латыни, русского языка и математики. Прихожая, дверь из которой выходит на парадное крыльцо, теперь забита и служит обиталищем француженки. Жизнь наша течет в высшей степени однообразно. Часы отличаются один от другого лишь различными уроками детей да разными музыкальными пьесами, которые они разучивают; по ним мы и определяем время. У Сашиньки, кажется, открылся подлинный талант к живописи. Взяв несколько уроков, она уже сделала удивительные успехи, хотя сама учительница рисует весьма посредственно. Можно надеяться, что она усовершенствует свои способности. — Что до меня, то я все время занимался пильной мельницей. Здание уже закончено, а недели через две можно будет запустить машину. — Надеюсь, любезная маменька, что письмо это застанет вас в добром здравии. Целую ручки вам и тетушке от всего сердца. — Е. Боратынский».

270. Маменьке

1841, декабрь — январь (?) 1842 г., Артемово

Перевод: «Известия о вас, полученные мною от Александра Антоновича, были для меня отрадны, любезная маменька. Счастливый случай привел меня в Москву в день его приезда туда. Мы долго беседовали. С тех пор, как я занялся торговлей лесом, о чем вы уже знаете, я часто бываю в Москве. Мне понадобился в связи с этим небольшой заем, который, однако, я нашел не сразу, ибо деньги нынче редки. Я надеюсь преуспеть: превращу мой лес в доски (их легко перевозить, и на них есть стойкая цена) способом, который гораздо дешевле обычного. Мне давали 400 за арпан. А теперь смогу получить больше 5000. Собираюсь привлечь к этому делу нашего Бекера. Как только пильная мельница будет готова, он покинет свое место гувернера и станет надзирать за нею. Сын купца, он сохранил в Москве торговые связи и поможет моей торговле. Весной я надеюсь освободиться и иметь возможность обосноваться в Петербурге. Нежно целую ваши ручки, любезная маменька, и напоминаю о себе всем домашним. — Е. Боратынский».

271. С. Л. Путята

1841, декабрь (?) — январь (?) 1842 г., Артемово

Перевод: «Относительно П. скажу тебе, любезная Софи, что мера, на которую я решился, — пресрочная, что светские сплетни суть следствия, и тому, чего я желаю избежать, мы подчиняемся всякий год, и всякий год я провожу в ужасных терзаниях, зная, как трудно вернуться назад, сделав один неверный шаг. Меня много раз предупреждали об этом, советуя мне именно такое решение и говоря, что так просто нельзя удержаться, несмотря на все мыслимые усилия. Теперь оставим в стороне дела. Прошу тебя, поздравь от моего имени г-жу Мамонову и скажи ей, что я самым искренним образом молюсь о ее счастии. Я видел ее всего лишь раз, но это одна из тех встреч, о которых потом вспоминаешь. Она из людей, с коими охотно встречаешься в свете; достаточно однажды увидеть ее, чтобы желать ей всевозможных благ. Ты, должно быть, презабавно выглядишь в синих очках. Как раз по пословице: сама виновата. Ты всегда выговариваешь другим, а сама боишься, словно ты ребенок или словно у тебя первый ребенок. Ты спрашиваешь, зачем я собираюсь в Петербург весной? Чтобы на тебя поворчать. Не правда ли, достойная причина? Остаюсь в ожидании и обнимаю тебя, любезный, милый друг, а также твоего мужа и моих племянниц. — Е. Боратынский».

272. Маменьке

1842, февраль (?), Артемово

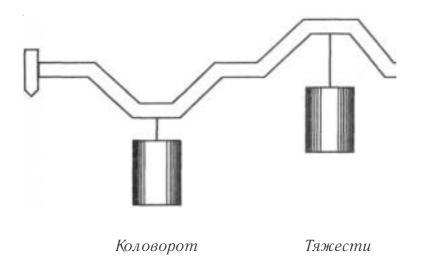
Перевод: «Тысячу раз спасибо, любезная маменька, за то, что вы были так добры и сами написали нам о себе. Ираклий и Аннета рассказали нам о вашей жизни во всех подробностях. Ираклий приехал к нам в Артемово, а затем я виделся с ним в Москве. Жена моя не могла меня сопровождать, бедняжка все это время была очень больна. Сначала у нее была лихорадка, которая, как говорится, носилась в воздухе. Я заболел первым, и хотя болезнь моя продолжалась всего два дня, но я так исхудал, что все одежды стали мне велики. Настинька болела дольше, к тому же простудила зубы. Теперь ей лучше, но недомогание еще сказывается, ей прописали хину. Дети, слава Богу, здоровы и нежно целуют вам ручки. Мы живем в добром согласии с нашими иностранцами и, благодаря расписанию уроков, очень ловко составленному Настинькой, видим их едва ли не только за едой, да и то я часто позволяю себе ужинать наедине с женой. Что касается моих промышленных предприятий, то я готовлю материалы для мельницы; уже срублены 4 арпана леса. Это стоило мне больших трудов, ибо здешние крестьяне не любят работать. Надеюсь к апрелю свести 16 арпанов. Тогда я узнаю истинную цену леса, которым мы владеем. До сих пор цена арпана не превосходила 1000 рублей, но предлагали мне только 300. Мы сейчас рубим самую невыгодную для продажи часть леса, находящуюся неподалеку от места, где я поставил пильную мельницу. Вот, любезная маменька, все частные и политические известия. Да сохранит Господь в добром здравии вас и всех наших в Маре. Целую ваши ручки от всего сердца. — Е. Боратынский».

273. Н. В. Путяте

1842, февраль, первая половина (?), Артемово

«Еще пределовое письмо, любезный друг. Посылаю тебе, во-первых, грамоту скуратовского управителя, который давно пристает ко мне о необходимости приобрести участок, состоящий из 30 десятин земли и при нем 4-х дворах г-жи Позняковой. Со всеми другими соседними помещиками мы теперь уже разошлись полюбовно; но с нею физически нельзя. Земля ее с ее дворами лежит в самом центре нашей, как остров, меняться не на что. Одна земля стоит 3000+, а в числе продаваемых душ два работника 22 лет, остальные тоже не совершенно стары. Она просит 4000. Цена настоящая, и для спокойного владения в будущем стоит

купить этот уголок. — Скуратово заложено на 26 лет, уплачено долгу 10000. За прошлый год проценты не плачены, за нынешний следует внести, всего за два года 5600, да возьмут за годовую просрочку около 200, за сим останется 4200. Дайте мне доверенность перезаложить Скуратово на 36 лет с правом взять уплаченный капитал. Долг останется тот же; вместо 7 процентов мы будем платить 6, что будет нам полегче. 6000 капитала пойдет на уплату процентов, а на остальные 4000 купим этот участок вместе, или Настя купит одна, а 2000 мы зачтем вам за пильную мельницу. — Посылаю тебе старые платежные квитанции по скуратовскому займу. По ним можно аккуратно написать доверенность. — Теперь о мурановской операции. В первой смете моей, как ты, вероятно, ожидал, я значительно ошибся, не так, однако ж, чтобы раскаяться в предпринятом. Лес наш до такой степени изведен, что нет десятины похожей одна на другую. Каждая дает новый результат. К тому же, как это открылось на деле, ели наши имеют весьма невыгодное свойство на половине необыкновенно суживаться, так что, судя по толщине пня, там, где я, как другие, думал из дерева иметь два бревна на пилку, выходит одно, где три, там два и т. д. Из этого следует, что дровяного леса больше, а способного к пилке меньше, чем я думал. — У меня сведено теперь 11 десятин. Одна на одну они дают, считая и сучья, по ценам, существующим на месте, только 740+ за всеми издержками. — Сведенные десятины те, в которых преизобилует дровяной лес. Теперь мы дошли до строевого участка. К маслянице сведется 10 десятин. О результате уведомлю. — Машину неделю тому назад пробовали начерно, т. е. на один готовый постав и без пил, чтобы испробовать тяжесть. На 8-ми лошадях, новая, не обтертая, она пошла хорошо и даже слишком. Лошади привели ее в первое движение с большим напряжением, но вдруг, почувствовав облегчение от действия махового колеса, понесли, все затрещало, и мужики наши разбежались в страхе. При двух поставах огромной силы, нужной для первого движения, уже не требуется. Ты, который знаешь механику, тотчас поймешь это из чертежа.



Чугунная рама, в которой натягиваются пилы второго постава, не была еще привешена. Когда обе на месте, тяжесть опускающейся помогает другой возвышаться. — Машина не будет в убыток. Пилка может производиться только в зимние месяцы. Летом от жару трескаются доски, и работа прекращается. Я прежде рассчитывал, что купленные лошади будут работать в машине 7 месяцев, а остальные пять возить доски и дрова в Москву. Складочным местом назначил я задний двор моего дома. — Теперь наши лошади, по недостатку материала, в машине будут работать 3, а возить семь месяцев. — Полагаю держать их до 20-ти. Прокормление их, по самой высшей цене теперешней, в неурожай ярового, стоит, полагая каждой в сутки по 3 гарнца овса и по 20 ф. сена, 2515. — При 20-ти лошадях для работы в машине, когда она в ходу, а потом для возки нужно 5 человек. Содержание их в год стоит 3000. — В каждую поездку, взяв среднюю цену, лошадь приносит 5 рублей: легко может сделать в неделю 2 поездки, в

месяц 8-мь, итого вырабатывает в 7 месяцев 280. — 20-ть лошадей в 7 месяцев принесут 5600. — Остается каждый год за издержками 2815+, что в 5 лет составит 13925+. Вся операция вознаградится с избытком; пилка обойдется ни по чем, следственно принесет значительный барыш, ибо руками проход доски стоит от 35 до 25 к.; тесу — от 20 до 15-ти. — Теперь об управлении. Ты знаешь, что я избрал Бекера. Он имел уже понятие об сельском хозяйстве, но курляндском. Нынешнее лето он следовал за всеми работами и очень вник в дело. Всю зиму находился при своде леса, отводил десятины, ибо знает землемерство. Сам же воспитывался для коммерции. Славно ведет книги, деятелен и подробен. — Я с ним условился за дорогую цену: но он не будет нам стоить дороже Ивана. Иван получал 300 жалованья, рублей на 300 же разной покупной провизии, говядины, свинины, постного масла, пшеничной муки, сальных свеч и проч. Сверх того получал на 11 душ обыкновенное продовольствие наших дворовых, выдаваемое натурой, положив в цену хоть по 5+ на человека, 660. Итого 1260. — Я дал Бекеру 2000 с тем, чтоб он взял к себе в товарищи и под присмотр Петра Львовича. 1200+, вносимые Саблеру, поступят ему, и Бекер нам будет стоить 266 рублями дешевле Ивана. — Этим я достигаю двух целей: нахожусь в состоянии дать приличное жалованье человеку способному и, вероятно, надежному, да облегчаю себе опекунские отчеты, которые нет возможности долее подавать в их теперешнем виде. Это мне говорят все. Нынешний год сойдет, потому что неурожайный. — 10 процентов, как ты знаешь, были выговорены в самом начале, если десятина даст свыше 600+. Русские лесничие, являвшиеся ко мне, тоже просили 10 процентов. — Вспомогательные средства. Я условился со скуратовским управляющим, рассудив, что, с тех пор как мы дозволили крестьянам нашим почтовую гоньбу, весь яровой хлеб наш расходится на месте, и возка хлеба для них уменьшилась вполовину, извлечь себе из этого ту пользу, чтобы скуратовские крестьяне делали ежегодно два обоза с рожью в Москву. Я недавно построил на дворе у себя амбар, и есть куда сыпать. При каждом обозе они обязаны пять раз съездить в Мураново за дровами или досками, смотря что в эту пору будет выгоднее. Он удостоверил меня, что крестьяне исполнят эту повинность безропотно. — Каждый год у меня такой же будет обоз и на тех же условиях из Тамбовской губ. Им я заменю 8 или 10 в <нрзб.>; а у себя в деревне буду копить хлеб. — Материал, перевезенный в Москву, до половины продан, и по двойной цене! Из Англии я получил 100 пил, каждая обошлась по 12 р. 50 к. Если машина чуть-чуть искусно сделана, нам некуда девать и 50-ти. 50 можно будет продать по 25. Пилы эти обыкновенные продольные, служащие и для ручной пилки, только вдвое лучше тульских, которые продаются за цену, поставленную мною выше. — Теперь мы толкуем о важном деле, о том, чтобы заменить лошадей волами. Вместо 20 лошадей нужно только 10 волов. Для машины они лучше, потому что идут ровнее, содержание дешевле вчетверо. Цена с лошадьми одна. Я колеблюсь, потому что, по крайней мере в Тамбовской губернии, на них часто бывает падеж; но тамбовский климат особенно злокачествен. Собираю сведения, и если они будут благоприятны, то это совершенно обезопасит нашу операцию. — За одно нынешнее лето я вывезу на этих волах из Глебовского все сено, нужное на их продовольствие в течение пяти лет. Ты знаешь, что волы летом не требуют никакого содержания и довольствуются подножным кормом. — Очень рад, что кончил письмо и дал тебе отчет, который давно хотел тебе дать во всех моих соображениях и действиях. Желаю, чтобы ты был доволен. Ты видишь по крайней мере, что я усердно занялся хозяйством. — Что ваше путешествие в чужие край? Напишите пообстоятельнее. По первому летнему пути нам бы хотелось перебраться в Петербург. Мы тем бы вас избавили от поездки в Москву и взяли бы у вас детей из рук в руки. Ты знаешь, что мы давно желаем основаться в П-бурге. От этого я не выпущу из виду моей операции и один раз зимой, один раз летом непременно буду ездить в Мураново, что для меня теперь даже будет и приятно. Дилижансы так облегчают сообщение с Москвою. Обнимаю вас обоих и малюток. — Е. Боратынский. — Еще одна подробность: мурановские крестьяне мне пособляют только подвозом бревен к машине, работа, впрочем, самая дорогая, потому что требует вместе и человека и лошадь; но деревья валятся и пилятся в дрова наймом. Десятина до сих пор

обходилась около 100+ за свод; далее будет, Бог даст, и дороже. На свод 25 десятин каждый год нужно около 3000 оборотного капитала. Надобно это тебе знать и к этому приготовиться. Покуда я дам свои деньги. Вероятно, наступающей осенью и позже зимою я их выручу при продаже досок или дров (летом этому всему должно только сохнуть), но матерьял может и застояться; нам должно общими силами выдержать год неблагоприятный, нельзя без этого в торговых делах. Скуратовские квитанции посланы особо страховым письмом».

274. Н. В. Путяте

1842, март, 8, Артемово

«Вчера, 7-го марта, в день моих имянин, я распилил первое бревно на моей пильной мельнице. Доски отличные своей чистотой и правильностию. Пилы ломаться почти не могут, так удовлетворительны предосторожности новейшего изобретения. Машина идет вместо 8-ми лошадей на 4-х. — Сведено 20 десятин лесу. Десятина в сложности, за всеми издержками, даст более 1000+, кроме сучьев и оставшегося на корню молодого леса, из коего более чем половина, года через два, будет хорошим дровяным, так что по окончании операции с каждой уже сведенной десятины можно будет выручить еще рублей до 300. — На днях пошлю вам 3000+ из скуратовских доходов. Остальное надобно будет получать по частям в течение всего года, ибо яровой свой хлеб мы почти весь продаем крестьянам, а деньги за него удерживаем каждые три месяца из суммы, выдаваемой казной за почтовую гоньбу. — Обнимаю вас обоих и малюток. — Е. Боратынский».

275. Н. В. Путяте

1842, март — апрель, Артемово

«Посылаю тебе, любезный друг, форму доверенности на перезалог Скуратова. Нужна тоже другая на управление Мурановом и на свод и продажу леса. Последнее следующего содержания: Правительствующим Сенатом разрешена продажа имеющегося при оном имении рощи, почему и доверяю вам продать оную на сруб всю, или частями, или, если вы найдете полезнее, свести оную хозяйственно и продавать в пользу опекаемого заготовленные дрова, бревна, тес и доски. В обоих случаях можете заключать все условия, контракты, которые заблагорассудите, и везде, где потребуется, за меня рукоприкладствовать, равно и передать права сей доверенности частию или вполне кому найдете нужным, в чем я вам верю и проч. Прощайте. Спешу печатать. Обе доверенности можно написать на том же листе. — Дорога у нас прескверная. Если Соничка решится ехать, то в Братовщине она найдет тарантас, в котором немножко беспокойней, но безопаснее может до нас доехать. Дорога до того времени может поправиться; но на всякий случай мы берем эту предосторожность».

276. Н. В. и С. Л. Путятам

1842, апрель, до 20, Артемово

«Христос воскресе! Желаю вам веселого праздника, который мы, со своей стороны, начали удовлетворительно. В 3 часа утром были у обедни в соседней деревне разговелись, выспались. Пишу вам в самый день Светлого воскресенья. — После минуты нерешимости, мы положили остаться на месте, имея в случае (который, право, мудрено предвидеть) всегда убежище в Москве, а еще ближе в Троице, где между прочим находится и наш стан, следственно наше местное правление, которому, без сомнения, даны нужные пособия в теперешних обстоятельствах. Редакция бесподобна. Нельзя было приступить к делу умнее, осторожнее! Благословен грядый во имя Господне! У меня солнце в сердце, когда я думаю о будущем. Вижу, осязаю возможность исполнения великого дела и скоро и спокойно. Прощайте, обнимаю вас и малюток ваших от всей души. — Е. Боратынский».

277. Н. А. Боратынской

1842, апрель, до 25, Артемово

Перевод: «Из письма Софи я узнал, любезная Натали, что ты нездорова, но поскольку она писала о болезнях вообще, то и не предполагал что-то серьезное. Вижу, что ты разболелась не на шутку, поэтому очень рад узнать о том, что поправляешься и что у тебя уже появился аппетит. Спасибо за все сообщенные подробности. Я очень доволен, что Лиза наконец приняла решение. Уже давно было пора, и она еще легко отделалась. — Вы получаете московскую газету и, следовательно, знаете о замечательном указе, превосходном своей сдержанностью и предусмотрительностью и разрешающем самые трудные проблемы, хотя с первого взгляда это и не очевидно. <Нрзб. > Все мои молитвы — за того, кто не побоялся взяться за труднейшее и прекраснейшее дело. Взаимные права помещиков и крестьян до некоторой степе ни уже определены, а это — пробный камень. У меня выходит небольшой томик стихов, и хотя вы почти все их знаете, я пришлю экземпляр. Прощай, любезная Натали, нежно обнимаю тебя и желаю счастливого праздника. — Е. Боратынский. — Настинька обнимает и поздравляет, но не пишет, оттого что очень устала»

278. Н. В. Путяте

1842, май, первая половина, Артемово

«Не успеваю тебе доставить, любезный друг, наш общий годовой счет, потому что еще не все деньги в получении, следует еще получить из Скуратова, также из Каймар. Тысячи три, кажется, еще придется на вашу долю. Я распоряжусь так, чтоб будущие доходы из деревень посылались вам прямо на ваш заграничный адрес. Вы у меня останетесь в долгу за свод леса. Я себе заплачу из продажи. До сих пор употреблено 4.000. За исключением издержек по общей верной плате десятина даст больше 1000. Обнимаю вас обоих от всей души. Малютки ваши здоровы. — Е. Боратынский. — Не забудьте до отъезда за границу прислать мне квитанцию заемного банка по имению Петра Львовича».

279. П. А. Плетневу

1842, май, до 26, Москва

«Посылаю тебе, любезный друг Петр Александрович, экземпляр моих «Сумерек» и при нем более десятка других для доставления разным лицам. Знаю, что даю тебе очень скучное поручение, но ради нашей давней связи позволю себе не слишком совеститься. Тут есть экземпляры, адресованные старым товарищам, которые, может быть, с тобою не в сношении. Отдай их Льву Пушкину: это знакомцы нам общие. Не откажись написать мне в нескольких строках твое мнение о моей книжонке, хотя почти все пьесы были уже напечатаны; собранные вместе, они должны живее выражать общее направление, общий тон поэта. Обнимаю тебя с чувством теперь уже более 20-летней дружбы. — Е. Боратынский. — Адрес мой: в Москве на Спиридоньевской улице в соб. доме. Сообщи мне и свой: ты, говорят, купил дом на В. О.».

280. Н. В. и С. Л. Путятам

1842, май, конец месяца, Артемово или Москва

«Дети ваши слава Богу здоровы. По письму твоему, любезный друг, все будет исполнено в точности. Доходы по мере получения будут вноситься в Опекун<ский> Сов<ет>. Скажи:

хлеб оставлен в Козн<ачействе> для продажи в дорогое время или в запас для крестьян? Тогда я буду знать, как распорядиться. Письма твои, милая Соничка, сделали нам много добра. Мы читали их с сердечною благодарностию, с полною нежностию к тебе за старание твое нас ободрить и рассеять болезненные сны нашего воображения, которые однакож оказались не вовсе снами. Наши предположения ныне странно оправдываются. Теперь уже не мы одни подозреваем существование организированной коттерии. На нее вопят в Москве новые ее жертвы. Настинька, которая сегодня не успевает вам писать, все это расскажет вам подробно. Аннета Блахина вместо Кавказа отправляется в Старую Руссу на ловлю женихов, в чем ни перед кем не запирается. Очень жаль бедных ее дочерей. Мы видели ее, приехав еще раз в Москву по нашим бесконечным делам или данным нам поручениям. < Нрзб. > наконец нашли немку, себе нашли рисовального учителя за 100 р. в год, настоящего артиста и в такой бедности, что прежде чем взять его в дом, надобно было помочь ему прилично одеться. Замечательно то, что он немец. Все мы с<лава> б<огу> здоровы. Я на хозяйстве. Дом подымается; дрова торгуют. Осенью буду садить деревья. На возвратном пути поезжайте в Москву и навестите наше и свое новоселье. Мне весело будет похвастаться плодами моей деятельности, если Бог благословит ее. Прощайте, обнимаю вас за себя, за Настю, за ваших и моих детей. Пейте здоровие в водах Мариенбадских и пользуйтесь весело Европейским воздухом. — Е. Б.».

281. П. А. Вяземскому

1842, май, конец месяца — июль (?), Москва

«Это небольшое собрание стихотворений предано тиснению почти, если не единственно, для того, чтобы воспользоваться позволением вашим напечатать посвящение. Примите то и другое с обычным вашим благоволением к автору. Прошу вас доставить прилагаемый экземпляр княгине Вере Федоровне. Почту себя счастливым, если мое приношение будет ей хотя мало приятным. — Е. Боратынский».

282. Маменьке

1842, июль (?), Артемово

Перевод: «Ваши похвалы моей книге, любезная и милая маменька, — самые приятные и лестные из всех, какие я когда бы то ни было получал. Поэтому я наслаждался ими со всем простодушием и чистосердечным удовольствием, на какие способен. Нынче я вовсе не во власти вдохновения литературного, но заранее провижу времена, когда строительство мое будет закончено, у меня будет меньше практических забот (что же до покоя, то он, наверное, возможен только в воображении) и радуюсь при мысли, что могу продолжить прежние мои занятия. Вы понимаете, что я обосновался в деревне весьма надолго. Моя энергическая деятельность — по сути не что иное, как следствие глубокой потребности в покое и тишине. Дом наш в настоящее время напоминает маленький университет. У нас живут пять иностранцев, среди которых судьба подарила нам превосходного учителя рисования. Скромное существование, которое мы ведем, и доходы, которые, мы надеемся, даст нам продажа леса, позволяют много тратить на обучение детей, так что они и их учителя оживляют наше уединение. Этой осенью я испытаю наслаждение, прежде мне неизвестное, — буду сажать деревья. У нас есть хороший старик-садовник, любящий свое дело, и я рассчитываю на его добрые советы. Прощайте, любезная маменька. Нежно целую ваши ручки, к чему присоединяются и ваши внуки. — Е. Боратынский».

283. Н. В. Путяте

1842, июль, конец месяца (?), Москва

«Вот тебе, любезный друг, краткой счет приходов и расходов нынешнего года: получено из Каймар и Скуратова 33.898. Общие расходы:

Процентов за Каймары	5600
За Мураново	
За Атамышь	
Неелову с 10/т	1000
За совершение закладной	
Процентов за Скуратове впредь до перезалога	
Саблеру	
На платье П. Л. <Энгельгардту>	
Человеку его	
Кичееву	
В О. С. и Г. П. < Опекунский Совет и Гражданскую палату>	
Гербовых издержек по мурановскому лесу	
	11768
Останется 22.131. Половина:	11065
Вами получено	7400
Следует получить	3665

Посылаются с нынешней же почтой Аполлону Григорьевичу для пересылки к вам. — Проценты за Атамышь я поставил наобум, не имея перед собой документа: их немножко меньше; зато не внесены некоторые мелкие издержки, которые предоставляю Настиньке. Одно, вероятно, вполне уравновесит другое. — Пишу вам из Москвы; взял с собою все бумаги, нужные для расчета, кроме квитанции, надеясь на свою память, и ошибся. — Петровские оброки еще не получены. Как пришлются, тотчас отправлю к вам следуемые вам деньги. Дети ваши, слава богу, здоровы. Катинька приметно хорошеет и днями просто прехорошенькая. Олиньку не хвалю, потому что я с нею в ссоре. Ужасная кокетка: тянется ко мне на руки, а только я подойду, отвернется с презрением. — Со сведенными 22 десятинами мур<ановского> леса я сижу у моря и жду погоды. Настоящие купцы являются по окончании Макарьевской ярмарки, т. е. к 15-му августа. Досок и тесу продал рублей на 500 соседу, по хорошим ценам. — Торф начинает несколько заменять дрова, отчего они несколько дешевеют. Доски и тес, напротив, возвышаются. — Мурановский дом под крышей и снутри ощекотурен глиною, способ, вывезенный мною из Тамбовской губернии, где он в общем употреблении. Под краской нет никакой разницы с настоящей щекотуркой, и прочность совершенно та же. Теперь кладут печи, стелют полы и проч. Дело прескучное. Из всех хозяйственных дел нет сложнее и заботливее стройки. — Я был бы очень доволен моей деревенской жизнию, если б не частые поездки в Москву. Дома дни текут незаметно. Старшие дети начинают уже жить заодно с нами. Учителя добрые ребята и более просвещенные, чем большая часть русских помещиков. Каждое утро я езжу один в Мураново, и вечером после чаю мы отправляемся туда пешком с детьми и возвращаемся прямо к ужину. Много мешают нам особенно частые дожди. Зато все обещает, как здесь, так и в других имениях, обильный урожай. Прощайте, обнимаю обоих вас от всей души. — Е. Б.».

284. Маменьке

1842, август, первая половина (?), Артемово или Москва

Перевод: «Я не писал вам, любезная и милая маменька, бесконечно долго; проводя это лето в суете и заботах, я то и дело откладывал письмо до спокойной минуты, которая никак не наступала. Я взялся за предприятие, доставившее мне больше волнений, чем можно было ожидать, особенно много забот доставили формальности с опекой, о которых я не подозревал и которые заставили меня потрудиться сверх меры. Слава Богу, все потихоньку улеглось, и теперь остались повседневные, хотя и не вовсе легкие заботы. За год, что я провел здесь, я построил пильную мельницу, превратил в доски и дрова 25 арпанов леса и почти построил дом. Новый дом в Мураново уже под крышей и оштукатурен внутри. Осталось настлать полы, навесить двери и вставить оконные рамы. Получилось славно: миниатюрная импровизация Любичей. Надеюсь, к концу августа в доме уже можно будет жить. У меня было много неудач: среди шестерых крестьян, которых я взял из разных деревень для работы на пильной мельнице и которые должны были летом помогать в строительстве дома, трое все время болели и по сей день находятся в больнице. Тем не менее в целом мои дела идут неплохо. Просо, доставленное из Вяжли, я продал более чем по 50 рублей за четверть, а хлеб из Скуратова — по 28. Все это время мне приходилось кормить по пятьдесят рабочих, сейчас их осталось тридцать. Цена 25ти арпанов леса по нынешним ценам доказывает, что я не ошибся в своих расчетах. Жду сентября, когда обычно появляются покупатели на этот товар, и если мне немного повезет, я смогу поздравить себя с ненапрасными трудами. Вот вам Бальзак. Зимой я попробую написать роман в его роде. Нежно целую ваши ручки и обещаю впредь не предпринимать ничего, что может помешать мне взяться за перо. — Е. Боратынский».

285. П. А. Плетневу

1842, август, 10, Москва или Артемово

«Поздно отвечаю тебе, старый и добрый друг, но не упрекай меня в неблагодарности. Письмо твое застало меня средь материальных забот, тем более поглощавших все мое время и мысли, что по привычке моей к жизни отвлеченной и мечтательной, я менее способен к трудам, требуемым действительностью. Чтоб в самом деле вести тихую жизнь мудреца, нужно глубокое и покорное внутреннее согласие на некоторые суеты житейские. Этого у меня нет, но надеюсь, что будет. Как мы мало с тобой виделись в Петербурге! Как бы мне хотелось уже не повстречаться с тобой на минуту, а пожить вместе, поделиться, как прежде, поэтическими мечтами, разнообразными открытиями зрелой жизни! Между нами 16 лет расстояния, пройденного порознь; но краткое наше свидание доказало, что мы прошли его односмысленно. Физиогномия наших душ не изменилась, а если мысли приняли строгую краску строгих лет, сердце сохранило почти всю свою молодую веселость, сокровище, сбереженное верностью к первым привязанностям и постоянною чистотою стремлений. Обстоятельства удерживают меня теперь в небольшой деревне, где я строю, сажу деревья, сею, не без удовольствия, не без любви к этим мирным занятиям и к прекрасной окружающей меня природе; но лучшая, хотя отдаленная, моя надежда: Петербург, где я найду тебя и наши общие воспоминания. Теперешняя моя деятельность имеет целью приобрести способы для постоянного пребывания в Петербурге, и я почти не сомневаюсь ее достигнуть. С нынешней осени у меня будет много досуга, и если Бог даст, я снова примусь за рифмы. У меня много готовых мыслей и форм, и хотя полное равнодушие к моим трудам гг. журналистов и не поощряет к литературной деятельности, но я, Божиею милостию, еще более равнодушен к ним, чем они ко мне. Прощай, нежно тебя обнимаю. Дружеский поклон мой Гроту. — P.S. Рассылка в разных местах моих «Сумерек» была соединена с некоторыми издержками. Позволь, сделай одолжение, с тобой рассчитаться. Распечатай пакет ко Льву Пушкину: там есть экз. для Натальи Николаевны. Я полагал его непременно в Пбурге и хотел уменьшить твои хлопоты, препоручив ему экз. для его родства и круга знакомых».

286. Н. В. и С. Л. Путятам

1842, август, до 27, Москва

«Вам бы следовало получить сегодня письмо от Настиньки. Я должен был его сам отдать в Москве, где теперь нахожусь по некоторым хлопотам, но новонаемный мой камердинер забыл взять с собою мою шкатулку, в которой уложены были все мои бумаги, и я пишу вам несколько строк, чтоб не оставить вас без вестей о Муранове. Дети ваши, слава Богу, здоровы. Олиньку обметала золотуха; но, кажется, это неважно и может даже послужить ей в пользу. Собираемся отымать Катиньку от груди. Кстати, у ней на днях вышло два зуба, и другие пойдут не так скоро. Этим промежутком хорошо воспользоваться. Лесной матерьял начинает сходить с рук. Дом отстраивается. Недели через три мы перейдем в верхний этаж. Я получил очень милое письмо от Карамзиной в ответ на мои стихи. Нежно обнимаю вас и Настиньку. — Е. Боратынский».

287. Маменьке

1842, декабрь, конец 10-х — начало 20-х чисел, Мураново

Перевод: «Если и есть оправдание тому, что я так долго вам не писал, любезная маменька, то искать его следует лишь в крайней усталости и нервном переутомлении, вызванном нашим переездом в новый мурановский дом, который, в сущности, только сейчас завершился. Всякий день необходимо что-то доделывать, а молоток в доме стучит до сих пор. Дом красивый, удобный, но я к нему еще не привык и еще весьма далек от того, чтобы наслаждаться обладанием плодами своих трудов, от удовлетворения завершенным делом — словом, ото всего, что следовало бы мне теперь испытывать. Неделя потраченных трудов — это одно дело, но полгода — совсем иное, и цели достигаешь уже несколько пресыщенным. — Жизнь наша течет по-прежнему, уроки у детей сменяются точно по расписанию и в некотором роде помогают нам распределять свое время. Старшие нас радуют своими успехами. Младшие еще не достигли возраста, когда учение может нравиться, но и они потихоньку продвигаются вперед. Моя торговля лесом идет хорошо. Этот род деятельности для меня нов и потому до некоторой степени увлекателен. Судя по полученным мною известиям, у нас хороший урожай, но полагаю, цены на все, кроме ржи, будут очень низкими. Моя жизнь в деревне и некоторые успехи в хозяйстве позволяют мне не продавать те семена, цены на которые будут слишком дешевы, и тем самым можно образовать хлебный запас, о чем я уже давно мечтал. С Божьей помощью это даст мне в будущем большие выгоды и принесет доход постоянный и достаточный. Вот уже скоро Рождество. Желаю хороших праздников, любезная маменька, вам, тетушке, сестрам и братьям. Да хранит вас и их Господь в добром здравии. Целую вам ручки от всего сердца. — Е. Боратынский».

288. Н. В. Путяте

1842, декабрь, конец месяца, Мураново

«Благодарю тебя, любезный друг, за твои подробные и занимательные письма. Рад, что вы так полно наслаждаетесь Италией и что воображение, предупрежденное столькими описаниями, нашло на ее древней почве впечатления новые и свежие. Все можно передать довольно точно, кроме местной физиономии и вообще природы, и слава Богу. Не все уловляет печать, и что-нибудь еще возможно чувствовать по-своему. Теперь вести из отечества: дети ваши здоровы. Олинька всякой день милее. Катинька эти последние дни чрезвычайно похорошела. Начинает стоять на ногах, но еще не ходит. Все мы также живем подобрупоздорову. Наше уединение очень полезно детским урокам. Саша сделала большие успехи в рисованьи и обещает настоящий талант. Музыка тоже идет успешно. Несмотря на довольно невыгодную репутацию, мы взяли m-me Fild. Она будет жить во флигеле и давать только уроки. Что-то Бог даст, а делать нечего: в Москве нет ни одного порядочного учителя, который бы

согласился ехать в деревню за доступную цену. Доходы нынешний год будут средние, хотя урожай хорош. Цены очень низки. Ваши Вознесенские мужики плохо платят оброк. Прошлого году петровского оброку получил я только 4300, которые и внес по залогу ваших имений в опекунский совет. Правда, что прошлый год был тяжелее для крестьян, хотя от высоких цен мы получили хороший доход. Из январского оброку я получил 3300+, внесенные атамышенскими вашими крестьянами. Вознесенские еще не внесли. Дьяков обещает собрать к маслянице. Ваши 3300 положены мною в ломбард, равно как и часть денег, которая, вероятно, вам достанется из каймарских доходов (около 5 т.). — Прощайте, мои милые и добрые друзья. Поздравляю вас с новым годом, желаю всякого счастия, в особенности продолжения отпуска, чтоб вы могли вместе долечиться в Мариенбаде. Крепко вас обнимаю. — Е. Боратынский».

289. Н. В. и С. Л. Путятам

1843, январь, Мураново

«Поздравляю вас, любезные друзья мои, с наступившим новым годом. Долго не писал за хлопотами всякого рода, сверх того хотелось дождаться положительных результатов от свода рощи и постройки дома. Слава Богу, дом хорош, очень тепел. Были и большие морозы и сильные ветры: мы не чувствовали ни тех ни других, и что в особенности редко в деревенских домах никогда не знали, с которой стороны непогода. Продажа леса идет успешно: более 2/3 заготовленного материала уже сбыто по хорошим ценам. Десятина за издержками даст, как я писал вам и прежде, до 1000+. На следующий год есть надежда на повышение цен, а сбыт несомнителен. Наша роща остается единственной в околодке. Купцы, имевшие в запасе доски и дрова, сбыли все, что имели, и лесной торг остается совершенно в наших руках. Как нарочно, в соседстве у нас строится несколько господских домов и огромная фабрика. Машина оказалась неудобной и убыточной. Приходится ее совсем оставить. Она приносит потери тысяч на 5-ть, но она в общем счете может вознаградиться распространением кирпичного завода, на который будут употреблены и призванные мною люди и купленные волы. Строящаяся фабрика в 8-ми верстах от нас представляет верный сбыт, а требование огромно: до миллиона в год. У нас пропасть гнилого лесу, не имеющего никакой цены в продаже: он пойдет на обжиг кирпича. До сих пор сведено 22 десятины. Нынешнюю зиму сведется еще 28. Выручкою должен вознаградиться убыток, понесенный машиной, постройкой дома, кирпичных сараев, покупка волов, словом, все издержки, и 20 тысяч должно быть внесено в уплату Пьерова долга. Теперь свод леса будет стоить дешевле, от лучшей кладки и пилки дрова и доски в лучшей цене. Не забудьте тоже, что молодой лес остается на корню. Думаю, можно быть довольными общим итогом. Дом отделан вполне: в два полных этажа, стены общекатурены, полы выкрашены, крыт железом. В числе издержек полагается еще 8 тысяч постоянного оборотного капитала, нужного на ежегодный свод 25 десятин леса. Нас посетила в Муранове Анна Васильевна; вероятно, она вам об нас кое-что писала. Наш быт против артемовского изменился тем, что мы пореже ездим в Москву. Прошлого года столько было дел, что из 52 недель мы, верно, 25 провели в городе. Теперь, слава Богу, мы постояннее бываем дома. Малютки ваши здоровы. Олинька обещает быть красавицей, но и Катя днями очень хороша. Она в поре невыгодной для наружности детей. Когда вы думаете возвратиться на родину? И есть ли у вас какие-либо планы для будущего? Каково житье за границей в отношении денежном? — Обнимаю вас обоих и Настиньку. — Дом стоил дороже, нежели я предполагал, потому что весь матерьял куплен. Мне не хотелось употреблять полусухого леса в постройке, которая окупается единственно своею прочностью. К тому же, что бы я употребил из собственного лесу на постройку дома, то было бы исключено из продажи, а мы, благодаря возвысившимся ценам, продаем свой матерьял дороже, чем купили посторонний: я покупал доски по 1.20 к., а продаю по 1.40, по 1.50 к.»

290. Маменьке

1843, январь-март, Мураново

Перевод: «Любезная маменька, я слишком задержался с ответом на одно из ласковейших ваших писем. Приезд Натали и Софи приятнейше рассеял меня, и оттого, по закону вечной несправедливости, правящей миром, пострадала кирсановская почта. Письмо мое, должно быть, опередит на несколько дней Софи. Она передаст вам некоторые литературные новинки. В этом году мало что вышло. Самое замечательное «Консуэло» и «Занони». Европейские умы поворачиваются к мистицизму. Материальная революция завершена. Да будет угодно Господу, чтобы нынешний период усталости оказался сном, предшествующим новому рождению поэзии, чье существование одно лишь и свидетельствует о счастье народов и их подлинной жизни. Аннета посетила нас в деревне, а нынче у нас господа из Ярославля, которые передали нам вести о ней и о Ираклии. Говорят, что их в городе очень любят. Рассказывают о снисходительности и такте моего брата и о приветливости Аннеты, благотворно на всех влияющей. О Полторацких никто не сожалеет. Я возразил, что состояние моего брата не позволяет ему делать для развлечения общества столько, сколько делал его предшественник. Мне отвечали: манеры Ираклия и жены его таковы, что ярославское общество только нынче начинает жить. Во всем, что я слышал, ощутимо искреннее одушевление. Спешу сообщить вам эти подробности, ибо знаю, сколько удовольствия они вам доставят. Целую ваши ручки, любезная маменька, и возвращаюсь к своим гостям. — Е. Боратынский».

291. Маменьке

1843, апрель, около 11, Мураново

Перевод: «Вот и наступил великий праздник, любезная маменька. Примите мои поздравления и всевозможные пожелания. Поздравляю также милую тетушку, сестер, братьев и расцветающую детвору из следующего поколения. Близятся ваши именины, и я желаю вам яркого солнца, которое оживит деревья и цветы в вашем саду и позволит вволю резвиться вашим внукам. У нас погода сносная, небо голубое, но еще холодно. Еще лежит много снега, а ночами морозит. Дети получают наслаждение от верховых прогулок, днем между 3 и 4 часами. Пешие прогулки пока невозможны. Весна принесет мне развлечения, состоящие из новых трудов. Надо закончить несколько построек и произвести много земляных работ. Затем последуют работы полевые, в которых я тоже участвую, ибо как только я выхожу из дома, сразу вижу трудящихся крестьян: наше маленькое поместье можно окинуть одним взглядом. Я забавляюсь тем, что отдаю приказания с ошибками, чем доставляю старосте удовольствие указать мне на них. Знаете ли, что это единственный способ добиться у этих людей того, что им известно? Наш общий доход здесь так невелик, что даже если ошибаешься — теряешь немного. Что же до торговли лесом, то рубка в этом году дала результаты еще более благоприятные, чем в прошлом. Теперь я почти уверен в успехе. Опасаться мне следует только понижения цен, что вряд ли возможно. Дети учатся прекрасно. Они много извлекли полезного из постоянных уроков, которые получают во время нашей деревенской жизни. Музыке их учит сейчас госпожа Фильд, играет она не так хорошо, как ее супруг, но супружеская любовь открыла ей его методу и его музыкальные секреты, собственно и являющиеся основой ее преподавания. Целую нежно ваши ручки, любезная маменька, и прошу для всех нас вашего благословения. — Е. Боратынский».

292. Н. А. Боратынской

1843, апрель, до 17, Мураново

Перевод: «Я был очень рад получить твое письмо, любезная Натали, и рад, что ты доехала целая и невредимая, несмотря на ужасную дорогу. Софья Михайловна, должно быть, дала тебе отчет о злоключениях своего путешествия: как она была вынуждена отдать свой возок и ехать в телеге. Вот и Пасха наступила. Желаю вам провести ее весело. Благодарю Вариньку за строки, которые она прибавила к твоему письму, желаю ей вместе с Александром и детьми хорошего праздника. Через несколько дней я вновь начну страдать семейной болезнью — манией строительства, а пока лишь слежу взором за неспешным таянием снега. Настинька обнимает и поздравляет вас обеих».

293. Маменьке

1843, июнь (?), Мураново

Перевод: «Наша неподвижная и, слава Богу, текущая без происшествий жизнь была причиной тому, что я редко вам писал, любезная маменька, но с некоторых пор все стало наоборот. Вот уже месяц, как я все время на ногах. Съездил в Тульскую губернию — на межевание, затем и за тем же во Владимирскую. Мне посчастливилось договориться с соседями, не идя на большие уступки. Но мне не повезло в другом: я принужден был разъезжать по городам и весям именно в то время, когда Варенька и Натали находились в Москве, и поэтому не сумел уделить им достаточно времени. Я слышал Листа и остался не так доволен, как ожидал. Стремительность его игры превышает все доступное воображению, но превышает и возможности фортепьяно. Звуки следуют один за другим так скоро, что сливаются в смутный шум, не приносящий особенного удовольствия. От этой быстроты рояль задыхается. К тому же я не нашел у него подлинно музыкального чувства. Прекраснейшие мелодии он портит украшениями, не имеющими ни смысла, ни цели. Его форте и пиано-пианиссимо, великолепные сами по себе, не производят впечатления, ибо не выражают подлинного музыкального замысла. Он претендует на импровизации, а исполняет одни гаммы. Поминутно кажется, что он пробует рояль перед его покупкой. Я решительно предпочитаю ему Тальберга. Здесь ему устроили овацию, смешную по двум причинам: во-первых, потому что это был заемный энтузиазм, главная цель которого — не отстать от берлинцев, а во-вторых, будь даже этот восторг неподдельным, он превышал всякую меру, большего не могли сделать даже для спасителя отечества. Есть отчего разочароваться в славе. Прощайте, любезная и милая маменька. Ваши внуки здоровы и нежно целуют ваши ручки. — Е. Боратынский».

294. П. А. Вяземскому

1843, сентябрь, 10, Петербург

«Очень мне совестно, что я не догадался вам оставить адреса новой квартиры Путята, чем и лишил себя удовольствия видеть вас сегодня. Завтра я целое утро в хлопотах и потому прибегаю к вам вместе с моими хозяевами с покорнейшею просьбою: не откажите у нас обедать. Вы увидите, между прочим, Одоевских. Сбираются в 5 часов. Во всяком случае я не оставлю Петербурга, с вами еще раз не повидавшись и не получив вашего благословения на мое европейское пилигримство. — Е. Боратынский».

295. Маменьке

1843, октябрь, около 10 (22), Дрезден

Перевод: «Вот уже около восемнадцати дней, как мы в дороге, любезная маменька; шестиместный дилижанс, о котором мы уговорились в Петербурге, доставил нас до границы, или, точнее, до первого прусского почтового дома. — С тех пор мы путешествуем, нанимая купе, в которых наше семейство помещается особо, хотя еще остается четыре места в дилижансе, почти всегда занятые. Этого рода путешествие очень оживлено: видишься на станциях, и в часы обедов и ужинов обмениваешь несколько слов. — Дороги великолепны, и почтовая часть в удивительном порядке. Мы провели два дня в Кенигсберге и одиннадцать дней в Берлине. Со мною было рекомендательное письмо к секретарю нашего посольства, которым я воспользовался. Я представился нашему посланнику барону Мейндорфу, человеку весьма вежливому и весьма любезному. Я обедал у него с графом Блудовым, с которым уже прежде был знаком. Он путешествует с дочерью и возвращается теперь в Петербург. Я провел у них один вечер. Мы в первый раз испытали впечатление железной дороги, съездивши в Потсдам; видели там дом, где жил Вольтер, и небольшие покои Великого Фридриха, без сомнения великого, если принять в соображение, что он, почти один, создал Пруссию и положил первые основания ее теперешней администрации. — Берлин — прекрасный город; он не так хорош, как Петербург, но лучше в отношении размеров. — Жизнь в нем отличается крайней правильностью. Всевозможные отношения здесь предвидены и установлены навсегда; торговые — давностью, общественные — обычаями, никогда не нарушаемыми. Здесь гражданин, сам того не подозревая, подчиняется такой же дисциплине, как солдат. В несколько дней применяешься к заведенному порядку и наслаждаешься чувством чрезвычайного спокойствия, доставляемым этим совершенным отсутствием всего непредвиденного. Теперь мы в Дрездене. — Само собою разумеется, что мы видели знаменитую галерею. Мадонна Рафаэля — это торжество идеи христианства: восторг, ею возбуждаемый, никогда не истощится. Лучше не говорить о ней, и пусть поколение за поколением преклоняются перед этим божественным произведением. Не могу не упомянуть о произведении менее знаменитом, но, может быть, столь же великом по выражению возвышенной скорби — это Христос с динарием Тициана. Мы ездили осматривать одну из прелестнейших местностей в окрестностях Дрездена — Тарентскую долину. Несмотря на позднее время года, там еще восхитительно. Я очень наслаждаюсь и собственными путевыми впечатлениями, и не менее впечатлениями детей, которые, принимая их со всею живостию и свежестью, свойственными их возрасту, дополняют и украшают наши. Отсюда мы возвращаемся в Лейпциг, там возьмем дилижанс до Франкфурта, из Франкфурта отправимся в Майнц, спустимся по Рейну до Кёльна, потом по железной дороге в Брюссель, а оттуда в Париж. Я говорил вам до сих пор об одном приятном заграничного путешествия, — сообщу вам ужасное впечатление. Это туннель между Лейпцигом и Дрезденом. Представьте себе подземелье, которым едешь более трех минут, где совершенный мрак заставляет как-то опасаться, что не достанет воздуха. Я так беспокоился о жене, которая склонна к удушьям, что был совершенно бледен, когда мы возвратились к свету. Жена моя целует ваши ручки, а внуки просят вашего благословения на понимание проявлений искусства, со всех сторон их окружающего, и тех остатков природы, которые новейшая цивилизация тщательно отстаивает, надеясь сберечь их, как египтяне свои мумии; но она не в силах сохранить их».

296. Н. В. и С. Л. Путятам

1843, октябрь, середина месяца (?), Лейпциг

«Настинька писала вам в Дрездене, и я приписываю в Лейпциге, куда мы по вашему совету воротились. Переночевали, а теперь едем в Франкфурт, на немецких длинных, т. е. с лонкучером. Будем останавливаться на ночь и в пятый день должны быть на месте. Я очень

наслаждаюсь путешествием и быстрой сменой впечатлений. Железные дороги чудная вещь. Это апофеоза рассеяния. Когда они обогнут всю землю, на свете не будет меланхолии. Обнимаю тебя, Соничку и детей ваших и наших. Когда буду на месте, может, передам вам несколько впечатлений и замечаний, доставленных мне путешествием. Прощайте, до Франкфурта».

297. Н. В. и С. Л. Путятам

1843, ноябрь, вторая половина, Париж

«Друзья, сестрицы, я в Париже! и благодаря Соболевскому, которому я вскоре буду писать особо, благодаря его за полезную его дружбу, вижу в нем не одни здания и бульвары, хотя первый материальный взгляд на Париж вознаграждает с избытком труды дальнего путешествия. Я уже заглянул в faubourg St. Germain < Сен-Жерменское предместье > и видел некоторых литераторов, но, по-моему, всего замечательнее во Франции сам народ, приветливый, умный, веселый и полный покорности закону, которого он понимает всю важность, всю общественную пользу. Я удивлялся в Берлине городскому порядку, точности и бесспорности отношений. Как же я изумился найти то же самое, но в высшей степени, в многолюдном Париже, в его тесных улицах, в его бесчисленных сделках. В Германии чувствителен еще некоторый ропот на законы общественного устройства, которым повинуются: здесь ими гордятся люди, принадлежащие последней черни. Несколько ясных мыслей общежития сделались достоянием каждого и составляют такую массу здравого смысла, что мудрено подумать, чтобы можно было совратить народ с пути истинного его благосостояния. Между тем партии волнуются. Я много слушаю и много читаю. Люди, вышедшие из рядов и наполняющие газеты и салоны, не тверды в своих мнениях. Здесь переметчики менее подлы, чем кажется с первого взгляда, и многие из них принимают мнение, противоположное прежде выраженному, с совершенно искреннею ветреностью. Теперь всех занимает вопрос воспитания: кто должен им заведовать, духовенство или университет? Вопрос отменно важный, слитый с видами легитимизма... Ламартин напечатал вздорную диатрибу, которую я принужден хвалить в обществе, с которым начал знакомство. Ответы противоположной партии, почтительные к таланту поэта, очень забавны. Профессоры начали свои курсы, и о чем бы ни говорили, об анатомии или химии, умеют коснуться всех занимающего вопроса. Мы живем в самом центре города. Вот наш адрес: Rue Duphot, pres le boulevard de la Madeleine, № 8. Сегодня я буду у m-me Aguesseau, завтра у Nodier, послезавтра у Thierry. Всеми этими знакомствами я обязан Сиркурам. Прощайте, обнимаю вас и детей. Кланяюсь очень Соболевскому, Плетневу. Я вижу почти всякий день А. И. Тургенева, который теперь несколько нездоров. Он пеняет Вяземскому за то, что он к нему не пишет. Напомните ему обо мне. Вижусь с Балабиным, человеком очень умным, очень сведущим, с которым всякая встреча меня более и более сближает».

298. Маменьке

1843, декабрь, первая половина, Париж

Перевод: «Милая маменька, я писал к вам тотчас по приезде моем в Париж, но письмо из Петербурга, в котором говорят мне о письме, от вас отправленном ко мне и мною не полученном, заставляет меня предполагать, что и мое письмо до вас не дошло. В нем заключались одни первые впечатления великого города, повторения, может быть, того, что испытали другие путешественники, но от которых невозможно воздержаться, как от восклицаний при виде поразительного предмета, несмотря на то, что они общие. Мы теперь совершенно устроились, и я начинаю с того, что посылаю вам наш адрес: Paris, rue Duphot, pres le boulevard de la Madeleine, № 8. Мы сперва привели наш дом в порядок, нашли нужных детям учителей, — а там я пустил в ход мои рекомендательные письма. Я теперь в сношениях с некоторыми литераторами,

в особенности с Сен-Жерменским предместьем. Меня адресовали к лицам различных партий, так что я, мало-помалу, завожу знакомства в местностях Парижа самых разнородных. Сен-Жерменское предместье, вообще бедно материальными средствами, но оно стоит чрезвычайно высоко в мнении счастливцев мира, сего, и всякий стучится у дверей его, которые редко отворяются настежь, как ворота. Жители предместья уже не имеют собственных отелей, все живут в маленьких комнатах, подобных, может быть, тем, в которых г-жа Скаррон принимала некогда все лучшее общество. У герцогини Р... лакей без ливреи, в помочах, отворил наполовину дверь и доложил обо мне посреди аристократов старинного века. Весь этот мир, щепетильный до крайности, превозносит предания и вежливость прежнего времени, как бы обряды некоего священнослужения, коего тайны ему одному доступны. За неимением первенства в политике, он бросился в пуританизм не нравов, а форм. Он не стеснителен для русского, живущего в Петербурге или Москве, почти при тех же общественных условиях, но он раздражает и возбуждает против себя ненависть француза нового времени. Дамы Сен-Жерменского предместья не читают ни Гюго, ни Сю, ни Бальзака, но они, заодно с аббатами, подвизаются на пользу ультрамонтанизма. Эта слабая партия вступила в союз с последними усилиями папского Рима. Великий вопрос дня состоит в том, чтобы добиться для духовенства исключительного права воспитания юношества, в ущерб университету. Предместье содействует духовенству, почитая принцип легитимизма нераздельным с принципом владычества церкви, и все в большом движении. Я вижу здесь графиню Т., маркизу А., внучку известного Президента, находящуюся в свойстве с родом Мортемар, который с нею пересекается; герцогиню Р..., которую я вам уже называл, графиню Ф..., дочь Академика, графиню Б., жену наполеоновского посланника в Швеции, а потом в Испании. Последняя принимает у себя дворянство времен империи, и я имел удовольствие видеть у ней маршала Сульта. Наконец, бываю у одной русской: г-жи Свечиной, о которой говорят здесь, что ее салон первый в Европе, потому что он первый в Париже. Правда, что нет личности, сколько-нибудь замечательной, которой бы нельзя было встретить у нее, даже теперь, когда, сделавшись чересчур набожной она подвергает гостей своих слишком строгому выбору. — Затем следуют литераторы: Альфред де Виньи, Мериме, двое Тьерри, Мишель Шевалье, Ламартин, Шарль Нодье, которого я только что успел застать в живых, так как он теперь находится при последнем издыхании; мне, однако, удалось уловить несколько минут приятной беседы с ним накануне того самого дня, когда он так опасно занемог. Я посещаю здесь также некоторых русских. — Но что вынести из всего этого, что сказать вам о Париже и о его жителях? Начнем с самого города, с Парижа. Не хочу повторять уже сказанного мною о впечатлении на первый взгляд, об уличном движении, тем более, что вы, может быть, получили мое письмо; но я обозначу замеченные мною неточности в рассказах большей части путешественников. Во-первых, движение на улицах — преимущественно дело пешеходов, не причиняющих ни малейшей тесноты, и, приноровившись, заметно менее толпятся здесь, чем даже на наших бульварах в день какого-нибудь гулянья. Кареты, весьма немногочисленные, едут самой маленькой рысью и состоят большей частью из экипажей извощиков и омнибусов. Изредка увидишь экипаж богатого человека, заложенный парой чалого цвета лошадей, с кучером в ярко-пунцовых штанах, и все, что едет, очень почтительно к пешему обладателю улиц, — а он, этот властелин, как бы новый Протей, топчет тротуары в тысяче разнообразных видов: в блузе, сюртуке и т. п. Вы не въезжаете в ворота домов и не выезжаете из них в карете; остановившись у ворот, вы звоните и входите в отменно чистый двор, через который отправляетесь пешком куда вам нужно. Этого обычая не всегда придерживаются в Сен-Жерменском предместьи; но предместье довольно безлюдная часть города, и потому такого рода мера, принимаемая для предупреждения несчастных случаев, там не так настоятельно требуется. — Весь Париж — лавка: все первые этажи домов в магазинах. Где бы вы ни поселились, у вас везде почти все под рукою, не только наобходимое, но даже предметы роскоши; но все довольно посредственного качества. — Париж, в целом, великолепен, в частностях это изукрашенные безделушки. Рассматривая его с этой точки зрения, я припоминал эти два стиха Вольтера:

И благо общее, в хаосе роковом, Из бедствий каждого составите вы в нем.

Впрочем, для того, чтобы почувствовать неточность применения, надо знать, что более ровное распределение земных благ в значительной мере содействовало благополучию Франции, наделив ее большим числом людей умеренно-счастливых и умеренно-довольных. Общая физиономия народа, как она представляется свежему взгляду путешественника, не обманчива. Во всех французах есть что-то довольное своей судьбой, чего я не замечал в народонаселениях других стран. Учтивость, благорасположение, приветливость даже в низших слоях народа, доказывающие, что в ежедневном расположении духа он чужд той ожесточенной раздражительности, которую я встречал везде, кроме Франции, — в этом явный признак лучших учреждений в стране. Возвращаюсь к материальному; вы найдете все, что угодно, в Пале-Ройяле — это Парижский Гостиный двор; но он гораздо великолепнее Петербургского и даже Московского; он освещен всякий вечер газом и освещен так, как наши города были освещены только раз, в тот день, когда праздновали вшествие наших войск в тот город, из которого я пишу к вам; со всем тем, владелец каждой лавки не имеет и двадцати тысяч франков капитала; предметы истинной роскоши рассыпаны там и сям; богатый принужден отыскивать, что хочет купить, в двадцати различных местах. Жизнь в Париже подчинена такому порядку, что можно бы предположить здесь строгую нравственность; ее еще нет, но ей решительно уже положены первые основания. Вы должны предуведомить привратника, когда намерены возвратиться домой после полуночи, и вообще, в этот час никого не встретишь на улицах Парижа, и там водворяется тишина, как бы в деревне».

299. Н. В. и С. Л. Путятам

1843, декабрь, первая половина, Париж

«Хорошо, что я проведу в Париже одну только зиму, а то из человека с некоторым смыслом я бы сделался совершенным зевакой, а что хуже — светским человеком. Не я один, все парижане с одиннадцати часов утра до 12 вечера на ногах и проводят часы в визитах. Для настоящих парижан, имеющих свои виды, то деловые, то политические, посещающих каждое лицо с известною целию, эта жизнь не совсем убийственна; но для заезжего, несмотря на любопытство, она утомительна до крайности. Несмотря на приветливость лиц, на новость явлений, чувствуешь недостаток прямых отношений, и, если бы я был в Париже без семейства, не знаю, вынес ли бы я подобное существование. Первые мои знакомые вовлекли меня в faubourg St.-Germain, к m-me Fantone, к m-me d'Aguesseau, К<нягине> Голицыной, старой пассии нашего Д. Давыдова, когда она была Золотницкой. Тут собираются академики и католические прозелиты обоих полов. Все это работает вертограду господню в смысле аббатов. По довольно уединенным улицам славного предместья бегают с озабоченным видом латинские попы в таком множестве, что если б по русскому обычаю от всех отплевываться, можно получить чахотку. Circourt познакомил меня с Виньи, двумя Тьери, Нодье, St.-Beuve, Соболевский с Merimee и m-me Ancelot, случай — с прежним издателем одного из крайних республиканских журналов, через которого я надеюсь добраться до Ж. Занд. Познакомился или возобновил знакомство с некоторыми земляками. Русские ищут русских в Париже и вообще в чужих краях. Самые ветреные из них догадываются, что у нас есть на сердце, и готовы на сантиментальность. Общества с точки зрения политической представляют самый печальный факт. Легитимисты, умные без надежды, безрассудные по неисправимой привычке, преследуют идеи своей партии и отслужили ей в Лондоне вместе смешную и трогательную панихиду. Республиканцы теряются в теориях без единого практического понятия. Партия сохранительная почти ненавидит ее настоящего представителя, избранного ею короля. Всюду элементы раздоров. Движение попов, воскресших для надежд бедственных, ибо под личиною мистицизма они преследуют мысль возврата прежнего своего владычества. Вот Франция! А в парижских салонах конституция французской учтивости мирно собирает умных, сильных, страстных представителей всех этих разнородных стремлений. Обнимаю вас обоих и всех ваших и наших ребятишек. В следующем письме сообщу вам подробности о всех названных мною лицах».

300. Н. М. Сатину или Н. П. Огареву

1843, декабрь март 1844 года, Париж

«К крайнему моему сожалению, я не могу располагать сегодняшним днем. Увижу Вас в самом скором времени, тем более, что на будущей неделе еду суток на двое в Версаль. Примите уверения в искреннем дружеском чувстве — преданного Вам Е. Боратынского».

301. Н. В. и С. Л. Путятам

1843, декабрь, конец месяца, Париж

«Поздравляю вас, любезные друзья, с новым годом, обнимаю вас, ваших и наших ребятишек; желаю вам его лучше парижского, который не что иное, как привидение прошлого, в морщинах и праздничном платье. Поздравляю вас с будущим, ибо у нас его больше, чем гделибо; поздравляю вас с нашими степями, ибо это простор, который ничем не заменят здешние науки; поздравляю вас с нашей зимой, ибо она бодра и блистательна и красноречием мороза зовет нас к движению лучше здешних ораторов; поздравляю вас с тем, что мы в самом деле моложе 12-ю днями других народов и посему переживем их, может быть, 12-ю столетьями. Каждую из этих фраз я могу доказать ученым образом; но теперь не время, оставим это до дня свидания, ибо из русских писателей нет ни одного, который менее бы любил писать того, который вас так нежно любит. Поклон мой Соболевскому и Плетневу, которым собираюсь писать, не знаю о чем от многосложности предметов; но постараюсь что-нибудь выразить со всею правдой, которая от меня зависит. — Е. Боратынский».

302. Н. В. и С. Л. Путятам

1844, январь, Париж

«Последнее письмо Сонички принесло нам весть о вашей общей великой потере. Ты не можешь сомневаться в полноте участия, которое мы в ней принимаем. Память твоего почтенного отца принадлежит не одной твоей сыновней скорби, но всем, которые его знали и ценили; она принадлежит истории в гражданской истории 12-го года. Ты проводишь тяжелую зиму: столько сердечных потрясений и столько забот положительных. Моя здешняя жизнь тоже не восхитительна. Буду доволен Парижем, когда его оставлю. Для чужеземца, не принимающего ни в чем страстного участия, холодного наблюдателя, светские обязанности, дающие пищу одному любопытству, часто обманутому в своих ожиданиях, отменно тяжелы. Бываю везде, где требуется, как ученик в своих классах. Масса сведений и впечатлений, конечно, вознаградит меня за труд, но все-таки это труд, а редко-редко наслаждение. В одном из писем Вяземского к Тургеневу помещено несколько строк, для меня особенно благоволительных. Скажи ему при случае, что я был ими очень тронут и что они сохраняются в том чувстве, которое так хорошо назвали сердечною памятью. Бедный Тургенев болен почти с моего приезда в Париж: это сиятика в руке и рюматизмы в боках. По словам его, этими недугами он обязан тому, что где-то в Германии, отыскивая Жуковского, упал в ручей, продрог и с тех пор не может оправиться. Он не оставляет кресел, а для человека такого деятельного, как он, это хуже самой болезни. Мы разъезжаем по вечерам fb. St.-Germain, верные покуда что православной греко-российской

церкви. Католический прозелитизм здесь несносен. Меня заставили прочесть кучу скучных книг, и теперь у меня лежит на столе: «Institut des Jesuits» отца Равиньяна. Как ты думаешь, что это такое? Изложение статутов ордена, писанное с простотою младенца или невинностью старика, потерявшего память, человеком лет сорока, замечательным своею ученостью и дарованиями. Вот мое определение этого произведения: livre niais, ecrit pour les niais par un homme qui n'est pas niais <приглуповатая книга для приглуповатых читателей, написанная отнюдь не дурачком>. Вижу здесь почти всех авторов. Завтра буду у Ламартина. Тьери обещал представить меня Гизоту. С тех пор как он министр, доступ к нему довольно труден. У меня начаты письма к Плетневу и Соболевскому и не окончены за парижской суматохой. Кланяюсь им обоим. Вчера с Настинькой были мы на бале de l'ancienne liste civile <старинной знати> и видели в полном блеске всю французскую аристократию. Будьте здоровы, обнимаю вас и детей».

303. Н. В. и С. Л. Путятам

1844, апрель, до 5-6 (март, до 24-25), Париж

«Благодарю тебя за желание моего портрета. Жаль, что получил твое письмо перед самым нашим отъездом в Италию, однако ж постараюсь удовлетворить твоей дружеской прихоти в Париже, где, по твоему совету, можно литографировать несколько экземпляров. Если не успею (ибо время нудит), то оставлю это до Рима. Мы едем из Парижа с впечатлениями самыми приятными. Наши здешние знакомые нам показали столько благоволительности, столько дружбы, что залечили старые раны. Здесь нам дали рекомендательные письма в Неаполь, Рим и Флоренцию. Там, как здесь, мы можем, если захотим, познакомиться с обществом; но, кажется, мы на это не найдем досуга. Есть лица в Париже, которые мы покидаем даже с грустию. Путешественник должен быть путешественником: ему не следует нигде заживаться, если хочет в самом деле пользоваться своим мизантропическим счастием. Мы едем на Марсель; оттуда, морем, прямо в Неаполь, а потом сухим путем в Рим и проч. и воротимся в Россию через Вену. Я с вами увижусь, богатый воспоминаниями всякого рода. Я уставал от парижской жизни, но теперь, прощаясь с нею, доволен прошедшим. Перестал к вам писать собственно о Париже, потому что всякий день мнение мое изменялось. К тому ж надобно родиться в Париже, чтоб посреди его требований и рассеяний находить досуг для мысли и для письменного выражения. Русский видит и не верит, что эту самую жизнь ведут здешние ученые, беспрестанно усовершенствуясь в науке и каждый год печатая какую-нибудь книгу. Обнимаю вас, мои милые, равно ваших и наших детей. Хотя хорошо за границей, я жажду возвращения на родину. Хочется вас видеть и по-русски поболтать о чужеземцах. Балабин вам кланяется. Умный, добрый, просвещенный и любезный».

304. Маменьке

1844, апрель, около 10 (март, около 29), Марсель

Перевод: «Из Марселя пишу к вам, любезная маменька, после путешествия в дилижансе в продолжение четырех дней и пяти ночей. Мы собираемся отправиться в Неаполь морем, оттуда проедем по Италии через Рим, Флоренцию и вернемся в Россию через Вену. Пробыв пять месяцев в Париже, мы заметили две вещи: что мы видели там почти все занимательное, достаточно часто бывали в обществе, чтобы вполне ясно представлять его отличия от нашего, и что, наконец, мы издержались менее, чем предполагали. И вот мы у берегов Средиземного моря, после того как пересекли радующую взор живописную страну, сейчас всю в зелени и цветах. Впрочем, я оставил Париж с сожалением, несмотря на утомительную жизнь, которую вел. Прекрасный прием я нашел там везде, а вместе мы — у некоторых (истинно любезных) лиц. Дети всю зиму были прилежны и весьма развились во многих отношениях. Теперь мы

устремлены в прекрасную и классическую Италию, но замечу: жизнь в чужих краях тем особенно прекрасна, что начинаешь больше любить свое отечество. Благоприятства более теплого климата не столь велики, как думают, достижения цивилизации не столь блестящи, как полагают. Жители, коих я видел доселе, не стоят русских ни сердцем, ни умом. Они тупы в Германии, без стыда и совести во Франции, прибавьте к тому, что французы большие мастера только лишь в дурачествах. Я вернусь в свое отечество исцеленным от многих предубеждений и полным снисходительности к некоторым действительным недостаткам, которые у нас есть и которые мы с удовольствием преувеличиваем. Прощайте, любезная и милая маменька, до Неаполя, обнимаю сестер и братьев и целую ручки любезной тетушке. Надеюсь где-нибудь в Италии привести в порядок свои воспоминания о Париже: там этого невозможно было сделать из-за умножающихся впечатлений и неупорядоченной жизни».

305. Н. В. и С. Л. Путятам

1844, апрель, конец месяца — май, начало месяца, Неаполь «Пятнадцать дней, как мы в Неаполе, а кажется, живем там давно от полноты однообразных и вечно новых впечатлений. В три дня, как на крыльях, перенеслись мы из сложной общественной жизни Европы в роскошно-вегетативную жизнь Италии — Италии, которую за все ее заслуги должно бы на карте означать особой частью света, ибо она в самом деле ни Африка, ни Азия, ни Европа. Наше трехдневное мореплавание останется мне одним из моих приятнейших воспоминаний. Морская болезнь меня миновала. В досуге здоровья я не сходил с палубы, глядел днем и ночью на волны. Не было бури, но как это называли наши французские матросы: tres gros temps < крепкая погода >, следственно, живость без опасности. В нашем отделении было нестраждущих один очень любезный англичанин, двое или трое незначущих лиц, неаполитанский maestro музыки, Николинька и я. Мы коротали время с непринужденностью военного товарищества. На море страх чего-то грозного, хотя не вседневного, взаимные страдания или их присутствие на минуту связывают людей, как будто бы не было не только московского, но и парижского света. На корабле, ночью, я написал несколько стихов, которые, немного переправив, вам пришлю, а вас попрошу передать Плетневу для его журнала. — Вот Неаполь! Я встаю рано. Спешу открыть окно и упиваюсь живительным воздухом. Мы поселились в Villa Reale, над заливом, между двух садов. Вы знаете, что Италия не богата деревьями: но где они есть, так они чудно прекрасны. Как наши северные леса, в своей романтической красоте, в своих задумчивых зыбях выражают все оттенки меланхолии, так яркозеленый, резко отделяющийся лист здешних деревьев живописует все степени счастья. Вот проснулся город: на осле, в свежей зелени итальянского сена, испещренного малиновыми цветами, шажком едет неаполитанец полуголый, но в красной шапке; это не всадник, а блаженный. Лицо его весело и гордо. Он верует в свое солнце, которое никогда его не оставит без призрения. — Қаждый день, два раза, утром и поздно вечером, мы ходим на чудный залив, глядим и не наглядимся. На бульваре Chiaja, которого подражание мы видим в нашем московском, несколько статуй, которые освещает для нас то итальянская луна, то итальянское солнце. Понимаю художников, которым нужна Италия. Это освещение, которое без резкости лампы выдает все оттенки, весь рисунок человеческого образа во всей точности и мягкости, мечтаемой артистом, находится только здесь под этим дивным небом. Здесь, только здесь, может образоваться и рисовальщик и живописец. — Мы осмотрели некоторые из здешних окрестностей. Видели, что можно видеть, в Геркулануме; были в Пуцоле, видели храм Серапийский; но что здесь упоительно, это то внутреннее существование, которое дарует небо и воздух. Если небо, под которым Филемон и Бавкида превратились в деревья, не уступает здешнему, Юпитер был щедро благ, а они присноблаженны. — Мы останемся здесь на два или три месяца. В продолжение нашего морского путешествия у Настиньки воротились ее нервические рюматизмы с постоянною болью в желудке. Один из лучших здешних докторов, которого нам

рекомендовала княгиня Волконская, настоятельно ей предписал морские ванны и здешнюю железную воду. Все это у нас через улицу и нипочем. С Хлюстиным, которого внезапная болезнь удержала в Кенигсберге, я полагал получить от тебя хозяйственное письмо. Повтори свои подробности, дабы я мог распорядиться моими делами. В моем кредитиве нет Неаполя. Пришли мне, сделай одолжение, еще кредитив тысяч в пять на Неаполь и другие города, которые нам придется проезжать, предполагая, что мы в Россию воротимся через Вену. Нежно вас обнимаю, равно как всех ваших и наших ребятишек».

306. Н. В. и С. Л. Путятам

1844, май-июнь, Неаполь

«С нетерпением ждем от вас письма еще более успокоительного насчет Насти и вас самих. Несмотря на то, что горькое время для вас миновалось, мы не могли прочесть последнего вашего письма без содрогания, думая о том, что вы претерпели. Отдыхаем с вами вместе, полагаясь на милость Божию, уже так явную. Мы живем в Неаполе как в деревне: дни наши монотонны, но небо, но воздух, но море, но юг вообще не дают времени ни скучать, ни задумываться. Каждый день наслаждаюсь одним и тем же и всегда с новым упоением. Жары не несносны, в России иногда бывает удушнее. Веселый нрав неаполитанцев, их необыкновенная живость, беспрестанные катанья, процессии, приходские праздники с феерверками, все это так ярмарочно, так безусловно весело, что нельзя не увлечься, не отдаться детски преглупому и пресчастливому рассеянию. Мне эта жизнь отменно по сердцу: гуляем, купаемся, потеем и ни о чем не думаем, по крайней мере, не останавливаемся долго на одной мысли: это не в здешнем климате. Обнимаю вас, милую Настю и остальных ваших и наших ребятишек. В другой раз буду писать подробнее, а теперь спешу, чтобы не упустить почты. Бог вас береги всех!»

307. Н. В. и С. Л. Путятам

1844, май-июнь, Неаполь

«Мы получили разом несколько ваших писем, потому что догадались написать в Рим и Флоренцию, чтобы нам их переслали в Неаполь. Обстоятельства принуждают нас пробыть здесь гораздо долее, чем мы предполагали, и вместо конца августа насилу к концу ноября мы можем возвратиться в Россию. Прошу за меня похозяйничать. Сроки платежей в Опекунский совет по моему тамбовскому имению в июне и в июле, сколько мне помнится, и две прошлогодние квитанции я оставил тебе, друг Путята. Надобно внести по ним половину. Квитанции по имению Насти находятся у Дмитрия: всем им срок в октябре; по ним надобно внести треть, что, по моему счету, он может сделать из доходов дома; но я не знаю, как идут наймы, почему нужно тебе взять на себя хлопоты распоряжения. Последнее и главное. Отъезжая за границу, я занял у одной московской барыни, которой даже имени не помню, но ее и ее собственный дом знает Бекер, 32 т. по 9 процентов, которые она взяла вперед. Мне необходимо уплатить этот частный долг, на что и надо употребить все наши доходы нынешнего года, за исключением того, что мы вам должны, и пяти тысяч, которые я просил тебя переслать нам в Неаполь. Недостающую сумму взять из лесной кассы: она пойдет в уплату долга вашего мне за мурановский дом и лесную операцию. Если, как вероятно, это все вместе еще не составит 32 т., то уплатить ей, что возможно, для этого надо употребить Бекера. Посылаю вам два стихотворения. Отдайте их Плетневу для его журнала. На днях я вам адресую письма к нему, Соболевскому и Вяземскому. Пожалуйста, перешлите. Мы ведем в Неаполе самую сладкую жизнь. Мы уже видели все здешние чудесные окрестности: Пуцоли, Баию, Кастеламаре, Соренту, Амальфи, Салерну, Пестум, Геркуланум, Помпею. Теперь неделя наша проходит для детей в уроках, а каждое воскресенье мы делаем une partie de plaisir, осматривая здешние церкви, дворцы и замки, или просто едем за город в какую-нибудь деревушку. Нежно обнимаю вас обоих, ваших и наших детей. — Е. Боратынский».

III. ДЕЛОВЫЕ ПИСЬМА

1. Императору Николаю Павловичу

1825, декабрь, 27, Москва

«Всепресветлейший Державный Великий Государь Император Николай Павлович Самодержец Всероссийский Государь Всемилостивейший. — Просит Нейшлотского полка прапорщик Евгений Абрамов сын Баратынский, а о чем, тому следуют пункты:

- 1. В службу Вашего Императорского Величества определен я из пажей за проступки Лейб-Гвардии в Егерский полк 1819-го года февраля 8 числа, из оного переведен в Нейшлотский пехотный полк с произведением в унтер-офицеры 820 Генваря 4. Прапорщиком 825 года Апреля 21 числа; в походах и штрафах по суду и без суда не бывал, в домовом отпуску находился с 11 Декабря 1820 по 1-е Марта 1821 и 1822 Сентября с 21 по 1-е Февраля 823 года и на срок явился, холост, состоял при полку в комплекте, к повышению чином аттестован достойным. Ныне же хотя и имею ревностное желание продолжать военную Вашего Императорского Величества службу, но с давнего времени одержимая меня болезнь лишила к тому способов, а потому представляя у сего об оной лекарское Свидетельство и два Реверса всеподданнейше прошу по сему. Дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом поведено было сие мое прошение с приложениями принять и меня, именованного, за болезнию от службы уволить по прошению. — Всемилостивейший Государь, прошу Вашего Императорского Величества о сем моем прошении решение учинить. — Москва. Декабря 27-го дня 1825 года. — К подаянию надлежит по команде. Прошение с сочинения просителя набело переписывал Московского Ордонанс-Гауза писарь Александр Васильев сын Любимов. Нейшлотского пехотного полка прапорщик Евгений Аврамов сын Боратынский руку приложил.
- 2. *Реверс*. Я, нижеподписавшийся, дал сей реверс в том, что по увольнении меня от службы Его Императорского Величества о казенном содержании просить не буду. Декабря 27 дня 1825 года. Нейшлотского пехотного полка прапорщик Боратынский.
- 3. *Реверс*. Я, нижеподписавшийся, дал сей реверс в том, что по увольнении меня от воинской Его Императорского Величества службы до получения указа об оной буду иметь жительство в столице Москве. Декабря 27-го дня 1825-го года. Нейшлотского пехотного полка прапорщик Боратынский.
- 4. Свидетельство. Дано сие Нейшлотского пехотного полка прапорщику Баратынскому в том, что он был мною свидетельствован в болезни и оказался действительно одержим сильным ревматизмом левой ноги, продолжавшимся с давнего времени, и болью груди, каковые болезни препятствуют продолжать ему военную службу, в чем свидетельствую. Москва. Декабря 27 дня 1825 года. Московского Ордонанс-гауза штаб-лекарь».

2. Б. А. Гермесу

1831, июль, 10

«Его Превосходительству Господину Главному Директору Межевой Канцелярии Тайному Советнику и Кавалеру Богдану Андреевичу Гермесу Губернского Секретаря Евгения Аврамова сына Баратынского — ПРОШЕНИЕ: Продолжая я служение в Канцелярии Вашего Превосходительства, по домашним своим обстоятельствам имею я намерение продолжать оное по какому-нибудь другому присудственному месту, а потому всепокорнейше прошу Ваше превосходительство меня из ведомства Канцелярии для определения к другим делам уволить, выдав мне о службе Аттестат и для проживания Пашпорт. — К сему прошению Губернский секретарь Евгений Аврамов сын Боратынский руку приложил. — 1831-го года. — Июля 10-го дня».